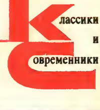
А. Серафимович



ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК
РАССКАЗЫ



А. Серафимович

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК

•

РАССКАЗЫ



Москва
«Художественная литература»
1983

Р2
С32

Классики и современники

Советская литература



Текст печатается по изданию:
А. С. Серафимович. Собрание сочинений в семи томах. М., Гослитиздат, 1959—1960.

Художник
Ю. ИГНАТЬЕВ

С $\frac{4702010200-374}{028(01)-83}$ без объявл.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК

I

В неоглядно знойных облаках пыли, задыхаясь, потонули станичные сады, улицы, хаты, плетни, и лишь остро выглядывают верхушки пирамидальных тополей.

Отовсюду многоголосо несется говор, гул, собачий лай, лошадиное ржанье, лязг железа, детский плач, густая матерная брань, бабьи переклики, охриплые забубенные песни под пьяную гармонику. Как будто громадный невиданный улей, потерявший матку, разноголосо-растерянно гудит нестройным больным гудом.

Эта безграничная горячая муть поглотила и степь до самых ветряков на кургане, — и там несмолкаемо-тысячеголосое царство.

Только пенисто-клокочущую реку холодной горной воды, что кипуче несется за станицей, не в силах покрыть удушливые облака. Вдали за рекой синеющими громадами загораживают полнеба горы.

Удивленно плавают в сверкающем зное, прислушиваясь, рыжие степные разбойники-коршуны, поворачивая кривые носы, и ничего не могут разобрать — не было еще такого.

Не то это ярмарка. Но отчего же нигде ни палаток, ни торговцев, ни наваленных товаров?

Не то — табор переселенцев. Но откуда же тут орудия, зарядные ящики, двуколки, составленные винтовки?

Не то — армия. Но почему же со всех сторон плачут дети; на винтовках сохнут пеленки; к орудиям подвешены люльки; молодайки кормят грудью; вместе с артиллерийскими лошадьми жуют сено коровы, и загорелые бабы, девки подвешивают котелки с пшеном и салом над пахуче-дымящимися кизяками?

Смутно, неясно, запыленно, нестройно; перепутано гамом, шумом, невероятной разноголосицей.

В станице только казáчки, старухи, дети. Казаков ни одного, как провалились. Казáчки поглядывают в хатах в оконца на содом и гоморру, разлившиеся по широким, закутанным облаками пыли улицам и переулкам:

— Щоб вам повылазило!

II

Выделяясь из коровьего мычанья, горластого петушиного крика, людского говора, разносятся то обветренные, хриплые, то крепкие степные звонкие голоса:

— Товарищи, на митинг!..

— На собрание!..

— Гей, собирайся, ребята!..

— До громады!

— До витряков!

Вместе с медленно остывающим солнцем медленно садится горячая пыль, и во всю громадную вышину открываются пирамидальные тополя.

Сколько глаз хватает, проступили сады, белеют хаты, и все улицы и все переулки от края до края заставлены повозками, арбами, двуколками, ло-

шадьми, коровами, — и в садах и за садами, до самых ветряков, что на степном кургане растопыривают во все стороны длинные перепончатые пальцы.

А вокруг ветряков с возрастающим гомоном все шире растекается людское море, неохватимо теряясь пятнами бронзовых лиц. Седобородые старики, бабы с измученными лицами, веселые глаза дивчат; ребятишки шныряют между ногами; собаки, торопливо дыша, дергают высунутыми языками, — и все это тонет в громадной, все заливающей массе солдат. Лохмато-воинственные папахи, измызганные фуражки, войлочные горские шляпы с обвисшими краями. В рваных гимнастерках, в вылинявших ситцевых рубахах, в черкесках, а иные до пояса голые, и по бронзово-мускулистому телу накрест пулеметные ленты. Нестройно, как попало, глядят во все стороны над головами темновороненые штыки. Потемнелые от старости ветряки с удивлением смотрят: никогда не было такого.

На кургане возле ветряков собрались полковники, батальонные, ротные, начальники штаба. Кто же эти полковники, батальонные, ротные? Есть дослужившиеся до офицера солдаты царской армии, есть парикмахеры, бондари, столяры, матросы, рыбаки из городов и станиц. Все это начальники маленьких красных отрядов, которые они организовали на своей улице, в своей станице, в своем хуторе, в своем поселке. Есть и кадровые офицеры, примкнувшие к революции.

Командир полка Воробьев, с аршинными усами, косая сажень, взобрался на заскрипевший под ним поворотный брус с колесом на конце, и его голос зычно прозвучал толпе:

— Товарищи!

Какой же он крохотный, этот голос, перед тысячами бронзовых лиц, перед тысячами устремленных глаз. Около столпился весь остальной командный состав.

— Товарищи!..

— Пошел к черту!..

— Долой!..

— К бисовой матери!

— Ня ннадо...

— Начальник, мать вашу!..

— Али в погонах не ходил?!

— Та вин давно сризав их...

— Чего гавкаешь?..

— Бей его, разэтак их!

Неохватимое человеческое море взмыло лесом рук. Да разве можно разобрать, кто что кричал!

У ветряка стоит низкий, весь тяжело сбитый, точно из свинца, со сцепленными четырехугольными челюстями. Из-под низко срезанных бровей, как два шила, посверкивают маленькие, ничего не упускающие глазки, серые глазки. Тень от него лежит короткая — голову ей оттаптывают кругом ногами.

А с бруса с большими усами, надсаживаясь, зычно кричит:

— Да подождите, выслушайте!.. Надо же обсудить положение...

— Пошел к такой матери!

Шум, ругань потопили его одинокий голос.

Среди моря рук, среди моря голосов поднялась исхудалая, длинная, сожженная солнцем и работой, горем, костлявая бабья рука, и замученный бабий голос заметался:

— И слухать не будемо, и не вякай, стерьво ты конячее... А-а! Корова була, та дви пары бykив, та хата, та самовар — де воно всэ?

И опять исступленно забушевало над толпой, — каждый кричал свое, не слушая:

— Да я б теперь с хлебом был, коли б убрал.

— Сказывали, на Ростов надо пробиваться.

— А почему гимнастерок не выдали? Ни портянок, ни сапог?

А с бруса:

— Так зачем же вы все потянулись, ежели...

Толпу взорвало:

— Через вас же. Вы жс, сволочи, завели, вы сманули! Вси дома сидели, хозяйство було, а теперь як неприкаянные по степу шаландаем.

— Знамо, завели, — густо отдались солдатские голоса, темно колыхнувшись штыками.

— Куды жа мы теперь?!

— До Екатеринодара.

— Та там кадеты.

— Никуды податься...

У ветряка стоит с железными челюстями и тоненько смотрит острыми, как шило, серыми глазками.

Тогда над толпой непоправимо проносится:

— Прода-али!

Этот голос услышался во всех концах, а которые и не расслышали, так догадались, среди повозок, колыбелей, лошадей, костров, зарядных ящиков. Судорога побежала по толпе, и стало тесно дышать. Высоко метнулся истерический бабий голос, но кричала не баба, а маленький солдатик с птичьим носом, голый до пояса, в огромных, не по нем, сапогах.

— Торгуют нашим братом, як дохлою скотиною!..

Из толпы, на целую голову выше ее, расталкивая локтями, молча к ветрякам пробирается с неот-

разимо красивым лицом, с едва пробивающимися черненькими усиками, в матросской шапочке, и две ленточки бьются сзади по длинной загорелой шее. Он продирается, не спуская глаз с кучки командиров, зажимая в руках злобно сверкающую винтовку.

«Ну... шабаш!»

Человек с железными челюстями еще больше их стянул. С тоской оглядел бушевавшее человеческое море до самых краев: черно-кричащие рты, темно-красные лица, и из-под бровей искрятся злобно-кричащие глаза.

«Где жена?..»

В матросской шапочке с прыгающими ленточками был уже недалеко, все так же сжимая винтовку, не спуская глаз, как будто боялся потерять из виду, упустить, и так же расталкивая густо зажимавшую его толпу, в шуме и криках шатавшуюся в разные стороны.

Человеку с стянутыми челюстями особенно горько: ведь с ними плечо в плечо дрался пулеметчиком на турецком фронте. Моря крови... Тысячи смертей над головой... Последние месяцы вместе дрались против кадетов, казаков, генералов: Ейск, Темрюк, Тамань, кубанские станицы...

Он разжал челюсти и сказал железно-мягким голосом, но в шуме и гуле было всюду слышно:

— Меня, товарищи, вы знаете. Вмистях кровь проливали. Сами выбрали в командиры. А теперь, колы так будэ, все ведь пропадем. Козачье с кадетами со всих сторон навалилось. Одного часа упускать нельзя.

Он говорил с украинским говором, и это подкупало.

— Та хиба ж ты погонов не носил?! — пронзительно закричал голый до пояса, маленький.

— Чи я их искал, погоны? Сами знаете, дрался на фронте, начальство и привесило. Разве ж я не ваш? Разве ж однаково не нес хребтом бедность та работу, як вол?.. Не пахал с вами, не сиял?..

— Що правда, то правда, — загудело в мечущемся шуме, — наш!

Высокий, в матроске, наконец выдрался из толпы, в два скачка очутился около и, все так же молча, не спуская глаз, изо всей силы размахнулся штыком, задев кого-то сзади прикладом. Человек с железными челюстями не сделал ни малейшей попытки отклониться, лишь судорога, похожая на улыбку, дернула мгновенно пожелтевшие, как кожа, черты.

Сбоку, нагнув, как бычок, голову, изо всей силы поддал плечом низенький, голый под локоть матросу:

— Та цю тебе!

И размахнувшийся штык, сбитый в сторону, вместо человека с стянутыми челюстями по самую шейку вбежал в живот стоявшему рядом молоденькому батальонному. Тот шумно, точно вырвавшийся пар, выдыхнул и повалился на спину. Высокий остервенело старался выдернуть застрявшее в позвоночнике острие.

Ротный, с безусым, девичьим лицом, ухватился за крыло ветряка и покарабкался вверх. Крыло со скрипом опустилось, и он опять очутился на земле. Остальные, кроме человека с четырехугольными челюстями, вынули револьверы, — и на изуродованных бледных лицах тоска.

Из толпы к ветряку выдиралось еще несколько человек с безумно разинутыми глазами, судорожно зажимая винтовки.

— Собакам собачья смерть!

— Бей их! Не оставляй для приплоду!..

Внезапно все смолкло. Все головы повернулись, все глаза потянулись в одну сторону.

По степи, стелясь к самому жнивью, вытягиваясь в нитку, скакал вороной, а на нем седок в красно-пестрой рубахе навалился грудью и головой на лошадиную гриву, спустив по обеим сторонам руки. Ближе, ближе... Видно, как изо всех сил рвется обезумевшая лошадь. Бешено отстает пыль. Хлопьями пены белоснежно занесена грудь. Потные бока взмылились. А седок, все так же уронив на гриву голову, шатается в такт скоку.

В степи опять зачернелось.

По толпе побежало:

— Другий скаче!

— Бачьте, як поспишае...

Вороной доскакал, храпя и роняя белые клочья, и сразу перед толпой осел, покатившись на задние ноги; всадник в полосато-красной рубахе, как куль, перевернулся через лошадиную голову и глухо плюхнулся о землю, раскинув руки и неестественно подогнув голову.

Одни кинулись к упавшему, другие к вздыбившейся лошади, черные бока которой были липко-красны.

— Та це Охрим! — закричали подбежавшие, бережно расправляя стынущего. На плече и груди кроваво разинулась сеченая рана, а на спине черное запекшееся пятнышко.

А уж по всей толпе, за ветряками и между повозками, по улицам и переулкам бежало непотухающей тревогой:

— Охрима порубали козаки!..

— Ой, лишенько мени!..

— Якого Охрима?

— Тю, сказывся, не знаешь! Та с Павловской. По-над балкою хата.

Подскакал второй. Лицо, потная рубаха, руки, босые ноги, порты — все было в пятнах крови, — своей или чужой? А глаза круглые. Он спрыгнул с шатающейся лошади и бросился к лежащему, по лицу которого неотвратимо потекла прозрачная восковая желтизна и по глазам ползали мухи.

— Охрим!

Потом быстро стал на четвереньки, приложил ухо к залитой кровью груди, и сейчас же поднялся, и стоял над ним, опустив голову:

— Сы̀нку... сыне мий!..

— Вмер, — сдержанным гулом отозвалось вокруг.

Тот опять постоял и вдруг хрипуче закричал навек простуженным голосом, который отдался у самых крайних хат, среди повозок:

— Славянская станица пиднялась, и Полтавская, и Петровская, и Стиблиевская. И за́раз перед церкви на площади в кажной станице виселицу громадят, всих вишают подряд, тилько б до рук попался. В Стиблиевскую пришли кадеты, шашками рубают, вишают, стреляют, конями в Кубань загоняют. До иногородних нэма жалости, — стариков, старух — всих под одно. Воны кажуть: вси болшевики. Старик Опанас, бахчевник, хата его противу Явдохи Перепеczyцы...

— Знаемо! — загудело коротким гулом.

— ...просил, в ногах валялся, — повисили. Оружия у них тьма. Бабы, ребятишки день и ночь копают на огородах, в садах из земли винтовки, пулеметы, тягают из скирдов цилии ящики со снарядами, с патронами, — всего наволокли с турецкого фронту, нэма ни коньца, ни краю. Орудия мают. Чисто сказылись. Як пожар. Вся Кубань пылае. Нашего брата з армии дуже мучуть, так и висять по деревьях. Которые отряды отдельно в

разных мистах пробиваются, хто на Екатеринодар, хто до моря, хто на Ростов, да вси ложатся пид шашками.

Опять постоял над мертвецом, сронив голову.

И в недвижимой тишине все глаза глядели на него.

Он пошатнулся, хватаясь впустую руками, потом схватил уздечку и стал садиться на все так же носившую потными боками лошадь, судорожно выворачивавшую в торопливом дыхании кровавые ноздри.

— Куды? Чи с глузду зъихав?! Павло!..

— Стой!.. Куды?! Назад!..

— Держить ёго!..

А уже топот пошел по степи, удаляясь. Во все плечо ударил плетью, и лошадь, покорно вытянув мокрую шею, прижав уши, пошла карьером. Тени ветряков косо и длинно погнались за ним через всю степь.

— Пропадэ ни за грош.

— Та у него семейства там осталась. А тут сын, вишь, лежить.

С железными челюстями разжал их и, тяжело ворочая, медлительно заговорил:

— Видали?

И толпа мрачно:

— Не слепые.

— Слыхали?

Мрачно:

— Слыхали.

А железные челюсти неумолимо перемалывали:

— Нам, товарищи, теперь нэма куды податься: спереду, сзаду — всэ смерть. Энти вон, — он кивнул на порозовевшие казачьи хаты, на бесчисленные сады, на громадные тополя, от которых

длинно легли косые тени, — може, сегодняшнюю ночь кинутся нас ризать, а у нас ни одного часового, ни одного дозора, некому распорядиться. Надо отступать. Куда? Прежде надо перестроить армию. Выберите начальников, но только раз, а потом они будут над жизнью и смертью вольны — дисциплина шоб железная, тогда спасение. Пробьемось к нашим главным силам, а там и из России руку подадут. Согласны?

— Согласны! — дружным взрывом охнула степь, и между повозками по улицам и переулкам, и между садов, и по всей станице до самого до края, до самой до реки.

— Так дóбре. Зáраз выбирать. А потом сейчас переформировать части. Обоз отделить от строевых частей. Командиров распределить по частям.

— Согласны! — опять дружно отдалось в бескрайной, узко-желтеющей степи.

В передних рядах стояла благообразная борода. Без особенных усилий густым, слегка хриповатым голосом он покрыл всех:

— Та куды мы идэмо? Чого шукаты?.. Это ж разорение: всэ бросилы — и скотину и хозяйство.

Будто камень кто кинул — расступилась, зашаталась, зашумела толпа, и пошло кругами:

— А тебе куды? назад? шоб перебилы всих?..

А благообразная борода:

— Зачем бить, як сами придэмо, оружие сдадим — не звери ж воны. Вон моркушинские сдались, пятьдесят чоловик, и оружие выдалы, винтовки, патроны, козаки волоса не тронулы, и посейчас пашуть.

— Та це кулачье ж и сдалось.

Загудело, замелькало над головами, над разгоряченными лицами:

— Та ты понюхай черного кобеля пид хвост.

— Нас без слов вишать начнуть.

— Кому пахать-то пийдемо?! — закричали тонкими голосами бабы. — Опять же козакам та ахвицерам.

— Чи опять в хомут?

— Пид козачий кнут?.. пид ахвицеров та генералов!..

— Уходи, бисова душа, поки цел.

— Бей его! Свои продают...

А борода:

— Та вы послухайте... що ж лаетесь, як кобели?..

— Та и слухать нэма чого. Одно слово — хферт!

Возбужденные, красные лица оборачивались друг к другу, злобно блестели глаза, над головами мотались кулаки. Кого-то били. Кого-то гнали по шее в станицу.

— Помолчите, граждане!

— Та постойте... куды вы меня!.. Що я вам дался, чи сноп, чи що?

С железными челюстями разжал их.

— Товарищи, бросьте, — треба делом заниматься. Выбрать командующего, а уж он остальных сам назначит. Кого выбираете?

Секунду неподвижное молчание: степь, и станица, и бесчисленная толпа — все замерло. Потом поднялся лес мозолистых, заскорузлых рук, и по степи до самых краев, и в станице вдоль бесконечных садов, и за рекой грянуло одно имя:

— Кожу-ха-а-а!

И покатилось, и долго еще под самыми под синеющими горами стояло:

— ...а-а-а-а!..

Кожух сомкнул каменные челюсти, сделал под

козырек, и видно было, как под скулами играли желваки. Подошел к мертвецам, снял грязную соломенную шляпу. И, как ветром, поднялись все шапки, обнажились все головы, сколько их тут ни было, а бабы всхлипнули. Кожух, опустив голову, постоял над мертвыми:

— Похороним наших товарищей со всеми почестями. Подымайте.

Разостлали две шинели. К батальонному, у которого на груди по гимнастерке кровавилось широкое застывшее пятно, подошел высокий красавец в матросской шапочке, — по шее спускались ленточки, — молча нагнулся, осторожно, точно боясь сделать больно, поднял. Подняли и Охрима. Понесли.

Толпа расступалась, потом свертывалась и текла бесконечным потоком с обнаженными головами. И за каждым неотступно шла длинная косая тень, и идущие ее топтали.

Молодой голос запел мягко, печально:

Вы жер-тво-ю па-а-ли в борь-бе-е ро-ко-вой...

Стали присоединяться другие голо́са, грубые и неумелые, невпопад, розня и перевирая слова, и нестройно и разноголосо, кто куда попало, но все шире расплывалось:

...люб-ви без-за-ве-е-етной к на-ро-о-ду...

Разноголосо, невпопад, но отчего же впивается тонкая печаль, которая странно вяжется в одно и с одинокой смутно задумчивой степью, и с старыми почернелыми ветряками, и с высокими, чуть тронутыми позолотой тополями, и с белыми хатами, мимо которых идут, и с бесконечными садами,

мимо которых несут, — как будто здесь все родное, близкое, будто здесь родились, тут и умирать.

И засинели густою вечерней синевой горы.

Баба Горпина, та самая, которая подняла среди леса рук и свою костлявую руку, вытирает захлюстанным подолом красные глаза, мокрые, набитые пылью морщинки и шепчет, всхлипывая и неустанно крестясь:

— Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас... святый боже, святый крепкий... — и горько сморкается в тот же подол.

Дружно идут солдаты, размашистым шагом, с замкнутыми лицами, насунутыми бровями, и стройно колыхаются рядами темные штыки.

...вы от-да-а-ли все, что мог-ли, за не-е-го...

Задремавшая на ночь пыль опять вечерне подымается ленивыми клубами, все заволакивая.

И ничего не видно, только слышен густой гул шагов, да —

...святый крепкий, святый бессмертный...
...из-ны-ва-ли... в тюрь-мах сы-рых...

Потемневшие на покой ночи траурные громады гор загораживают первые робкие звезды.

Вот и кресты. Одни упали, другие покосились. Тянутся пустыри, поросшие кустами. Мягко пролетела сова. Беззвучно запорхали нетопыри. Иногда смутно забелеет мрамор, пробьется сквозь вечернюю мглу золото надписей, — памятники над богатеями казаками, торговцами, памятники над крепкой хозяйской жизнью, над нерушимым укладом, — а над ними идут и поют:

...па-дет про-из-вол, и вос-ста-нет народ...

Вырыли рядом две могилы. Тут же торопливо сколачивали смутно белевшие свежим пахучим тесом гробы. Положили покойников.

Кожух встал на свеженасыпанную землю с обнаженной головой:

— Товарищи! Я хочу сказать... погибли наши товарищи. Да... мы должны отдать им честь... они погибли за нас... Да, я хочу сказать... С чого ж воны погибли?.. Товарищи, я хочу сказать, Советская Россия не погибла, она будэ стоять до скончания вика. Мы тут, товарищи, я хочу сказать, зажаты, а там — Россия, Москва, Россия возьмет свое. Товарищи, в России, я хочу сказать, рабоче-крестьянская власть... От этого всё образуется. На нас идут кадеты, то есть, я хочу сказать, генералы, помещики и всякие капиталисты, одним словом, я хочу сказать, живодеры, сволочь! Но мы им не дадимся, мать их так, да! Мы им покажем. Товарищи, э-э... мм... я хочу сказать, засыпем наших товарищей и поклянемся на их могилах, постоим за советску власть...

Стали опускать. Баба Горпина, зажимая рот, начала всхлипывать, тихонько, по-щенячьи повизгивая, потом заголосила; за ней другая, третья. Все кладбище заметалось бабьими голосами. И каждая старалась протолкнуться, нагнуться, черпнуть рукой земли и кинуть в могилу. Земля глухо сыпалась.

Кожуха на ухо спросили:

— Сколько патронов дать?

— Штук двенадцать.

— Жидко будет.

— Знаешь, патронов нет. Каждую штуку приходится беречь.

Рванул негустой залп, другой, третий. Мгновенно, раз за разом ярко выхватывались лица, кресты, быстро работавшие лопаты.

И когда смолкло, все вдруг почувствовали: стоит ночь, тишина, пахнет теплой пылью, и немолчный шум воды нагоняет дрему, не то смутные воспоминания, — не вспомнишь о чем, а за рекой, на краю, далеко протянувшись, лежит тяжелыми изломами густая чернота гор.

III

Ночные оконца черно смотрят в темноту, и в их неподвижности зловещая затаенность.

От жестяной, без стекла, лампочки на табурете бежит к потолку, торопливо колеблясь, черный траур. Густо накурено. На полу фантастический ковер с бесчисленными знаками, линиями, зелеными, синими пятнами, черными извивами — громадная карта Кавказа.

В распоясанных рубахах, босые, осторожно ползают по ней на четвереньках — командный состав. Одни курят, стараясь не уронить на карту пепел; другие, не отрываясь, все лазят по ней. Кожух с сжатыми челюстями сидит на корточках, смотрит мимо крохотными светло-колючими глазками, а на лице — свое. Все тонет в сизом табачном дыму.

В черноту окошечек, ни на секунду не смолкая, накатывается полный угрозы шум реки, который днем забывается.

Осторожно, полушепотом, хотя из этой и из соседних хат все выселены, перекидываются:

— Мы все тут пропадем: ни один боевой приказ не выполняется. Разве не видите?..

— С солдатами ничего не поделаешь.

— Так и они все подло пропадут — всех казаки изрубят.

— Гром не грянет, мужик не перекрестится.

— Какой черт — не грянет, коли кругом пожаром все пылает.

— Ну, пойди расскажи им.

— А я говорю — Новороссийск надо занять и там отсиживаться.

— О Новороссийске не может быть и речи, — сказал в чисто вымытой подпоясанной рубахе, гладко выбритый, — у меня донесение товарища Скорняка. Там невылазная каша: там и немцы, и турки, и меньшевики, и эсеры, и кадеты, и наш ревком. И все митингуют, без конца обсуждают, толкаются с собрания на собрание, вырабатывают тысячи планов спасения, — и все это переливание из пустого в порожнее. Ввести армию туда — значит окончательно ее разложить.

В непотухающем шуме реки явственно отпечатался выстрел. Он был далекий, но сразу ночные оконца своей тающей неподвижностью и чернотой сказали: «Вот... начинается...»

Все внутренне напряженно вслушивались, а внешне, не выпуская папирос и отчаянно дымя, продолжали ездить пальцами по изученной до последней черточки карте.

Но, сколько ни езди, было все то же: налево, не пуская, синеет синей краской море; направо и кверху пестреет множество враждебных надписей станиц и хуторов; книзу, на юге, рыже-желтой краской загораживают дорогу непроходимые горы, — как в западне.

Огромным табором стоят вот у этой черной извивающейся по карте реки, шум которой все время вкатывается в черные окошечки. А в помеченных всюду на карте балках, в камышах, лесах, степях, в хуторах и станицах собираются казаки. До сих пор еще кое-как подавляли порознь вос-

ставшие станицы, хутора, а теперь пылает в восстании вся громада Кубани. Советская власть всюду сметена; представители ее по хуторам, по станицам изрублены, и, как кресты на кладбище, всюду густо стоят виселицы: вешают большевиков, а их больше всего среди иногородних, но есть и казаки-большевики; те и другие болтаются на виселицах. Куда же отступать? Где спасение?

— Ясно дело, на Тихорецкую пробираться, а там — на Святой Крест; а там — в Россию уйдем...

— Умная голова — Святой Крест! Как же ты до него доберешься через всю восставшую Кубань, без патронов, без снарядов?

— А я говорю, к главным силам пробиваться...

— Да где они, главные-то силы? Ты эстафету получил, что ли? Так скажи нам.

— Я говорю, Новороссийск занять и отсиживаться, пока из России не подойдет помощь.

Они говорят, а за словами у каждого стоит:

«Если б мне поручили все дело, я бы отличный план составил и всех бы спас...»

Снова зловеще, покрывая ночной шум реки, раздался далекий выстрел; немного погодя сдвоило, потом еще раз, да вдруг посыпало из решета — и смолкло.

Все повернули головы к неподвижно черным оконцам.

Не то за стенкой очень близко, не то на чердаке заорал петух.

— Товарищ Приходько, — разжал челюсти Кожух, — пойдите узнайте там.

Молодой невысокий кубанский казак, с красивым, слегка прихваченным оспой лицом, в тонко перетянутом бешмете, вышел, осторожно ступая босыми ногами.

— А я говорю...

— Извините, товарищ, совершенно недопустимо... — перебивает гладко выбритый, спокойно стоя и глядя на них сверху: все это — выбившиеся на войне в офицеры солдаты из крестьян, либо бондари, столяры, парикмахеры, а он — с военным образованием и давнишний революционер, — совершенно недопустимо вести армию в таком состоянии, это значит — погубить ее: не армия, а митингующий сброд. Необходимо реорганизовать. Кроме того, десятки тысяч беженских повозок совершенно связывают по рукам и ногам. Их необходимо оторвать от армии — пусть идут куда хотят или возвращаются домой; армия должна быть совершенно свободна и не связана. Пишите приказ: «Остаемся в станице на два дня для реорганизации...»

Он говорил, и слова заслоняли ход и язык мысли:

«У меня широкие знания, соединение теории с практикой, глубоко историческое изучение военного дела, — почему же он, а не я? Толпа слепа, и всегда толпа...»

— Чого ж вы захотели? — голосом ржавого железа заговорил Кожух. — У кажного солдата в обозе мать, отец, невеста, семейство, — та разве ж он покинет их? Коли будемо сидеть тут, дождемся — вырежут до одного. Идтить надо, идтить и идтить! На ходу переформируемся. Надо скорее мимо города, не останавливаться, а идтить берегом моря. Дойдем до Туапсе, там по шоссе перевалим через главный хребет и соединимся с главными силами. Они далеко не ушли. А тут кажный день смерть обступает.

Тогда все разом заговорили, и у каждого был

отличный для него и никуда не годный для других проект.

Кожух поднялся, заиграл железными желваками и, тоненько покалывая крохотными глазками отлива серой стали, сказал:

— Завтра выступать... с рассветом.

И думал: «Не выполнят, сволочи!..»

Все нехотя замолчали, и за этим молчанием стояло: «Дураку закон не писан».

IV

Когда Приходько вышел, шум воды вырос, наполняя всю темноту. У дверей на черной земле темный и низкий пулемет. Возле две темные фигуры с темными штыками.

Приходько идет, присматриваясь. Небо сплошь загорожено теплыми невидимыми тучами. Далеко собаки лают в разных концах, упорно, без устали, на разные голоса. Замолчат, послушают: шумит река, и опять — упорно, надоедливо.

Смутно белеющими пятнами проступают неугадываемые хаты. На улице черно наворочено; присмотришься — повозки; густо несется храп и заливистое сонное дыхание и из-под повозок и с повозок — везде навалены люди. Высоко чернеет посреди улицы: тополь не тополь и не колокольня; присмотришься — оглобля поднята. Мерно и звучно жуют лошади, вздыхают коровы.

Алексей осторожно шагает через людей, освещая на секунду папиросой. Мирно и тихо, а чего-то ждешь, далекого выстрела, что ли, и чтоб опять сдвоило?

— Хто идет?

— Свой.

— Хто идет... тудды тебе!

Слабо различимые, легли на руки два штыка.

— Командир роты, — и, нагнувшись, шепотом: — «Лафет».

— Верно.

— Отзыв?

Солдат, щекотно влезая жесткими усами в ухо, хриповато шепчет:

— «Коновязь», — и из-под усов густо расплывается винный дух.

Он идет, и опять черно-неразличимые повозки, звучно жующие лошади, сонное дыхание, ни на минуту не прерывающийся шум воды, упорный, надсадистый собачий лай. Осторожно переступает через руки, ноги. Кое-где под повозками незаснувший говорок — солдаты с женами; а под плетнями — тайный смех, задавленные взвизги — с любезными.

«Спохватились-таки, да и то пьяные, канальи. Все вино у казаков небось вылакали. Да это что ж: пей, да ума не пропивай... Как это казаки не вырезали нас до сих пор? Дурачье!»

Забелелось... не то узкая хата, не то блеснул в темноте белизной холст.

«Да и сейчас не поздно: на брата с десяток патронов наберется, нет ли, на орудие десятка полтора снарядов, а у них всего...»

Белое шевельнулось.

— Ты, Анка?

— А ты чего по ночам блукаешь?

Темная, должно быть, вороная, лошадь жует наваленное в оглоблях сено... Он стал свертывать другую папиросу. Она, держась за повозку, почесала босую ногу о ногу. Под ɔвозкой разостланная полсть, и слышится здоровенный храп — отец спит.

— Долго мы будем прохлаждаться?

— Скоро, — и пыхнул папиросой.

Озаренно проступил кусок его носа, коричнево-табачные концы пальцев, искорки в глазах девушки, крепко выбегающая из белой рубахи шея, монисто, потом опять — мгновенная тьма, уродливые очертания повозок; коровы вздыхают, жуют лошади, и шумит река. Отчего не слыхать выстрела?

«Взять да жениться на ней...»

И сейчас же, как это всегда бывало, проступает тоненькая, как стебелек, шейка незнаемой девушки, голубые глаза, нежное голубовато-сквозное платье... Гимназию кончила... И даже не жена, а невеста... девушка, которую он никогда не видал, но которая где-то есть.

— Я, если козаки до нас приступят, заколюсь.

Она полезла за пазуху, вытащила оттуда тускло поблескивавшее.

— Во — острый... попробуй.

Ти-ли-ли-ли...

Странный ночной удаляющийся голос, тонко хватающий за душу, только не детский плач; должно быть, филин.

— Ну, надо уходить, нечего тут валандаться...

И никак не отдерет ног, приросли. И чтобы отодрать их, думает:

«Как корова, почесалась ногой за ухом...»

Но это не помогает, и он стоит, затягивается, — и, опять мгновенно из тьмы кусок носа, пальцы, крепкая девичья шея с ямочкой, монисто и молодая грудь, облитая белой, с вышивкой рубахой... снова тьма, шум реки, людское дыхание.

Лицо близко около ее глаз. Иглы, кольнув, разбежались, он берет за локоть.

— Анка!

От него пахнет табаком, молодым, здоровым телом.

— Анка, пойдем до садов, посидим...

Она уперлась обеими руками ему в грудь, рванулась так, что он пошатнулся, наступая сзади кому-то на ноги, на руки. Белое торопливо мелькнуло в заскрипевшую повозку, покатился подмывающий смешок, и угомонилось; а баба Горпина подняла голову с подушки, села в повозке и отчаянно заскреблась.

— У-у, полуношница!.. И коли тоби угомон возьме? Хтось такий?

— Я, бабо.

— А-а, Алешенька. Це ты? Не спизнала. Що таке буде, солодкий мий? Ой, горя-несчастя выпьемо. Чуе мое сердце. Як выизжалы, перше кошка дорогу перебигла, така здорова та брюхата, а писля того — заяц як стрикане, боже ж ты мий милосердный! Що ж таке балшавики думають: усе добро оставилы. Як замуж мене за старика отдавалы, мамо и каже: от тоби самовар, береги ёго, як свой глаз; будешь помирать, шоб дитям твоим и внукам. Як Анку буду выдавать, ей отдам. А теперь усе бросилы, худобу усю бросилы. Що балшавики думають? И що буде совитска власть робиты? Та нэхай ция власть подохне, як пропадэ мий самовар! На три дня, казалы, выизжайте, через три дня усе на место стане, а от уж цилу недилю блукаем, як неприкаянные. Яка ж вона совитска власть, як не може ничого для нас робиты? Кобелю власть. Геть козаки пиднялись, як оглашенни. Жалко наших, Охрима тай того... молоденький такий. О боже ж мий милий!..

Баба Горпина все скребет себя, и, когда замолчала, забывшаяся река напомнила о себе: шумит, наполняя всю громаду ночи.

— Э-э, бабо, що скулить, — с тогодобра нэ будэ.

Опять пыхнул папиросой, думая о своем: не то с ротой остаться, не то при штабе. Где же и когда встретит голубые глаза, тоненькую шейку?

Но баба уж не угомонится. Как тень, за нею долгая жизнь, — трудно. Два сына на турецком фронте легли; два тут в армии под ружьем. Старик под повозкой храпит, а эта сорока тыхесенько притулилась, должно, спит, да разве ее узнаешь? Ой, трудно! Жилы все повытягала за свою долгую жизнь, — шестой десяток пошел. И старик и сыновья — хребтина трещала от работы. А на кого работали? На козаков та на ихних генералов, ахвицеров. У них вся земля, а иногородний, как собака... Ой, лишенько! Так и работали, глядя в землю, як быки. Утром, вечером, каждый день царя в молитвах поминала, — родителей, потом царя, потом детей, потом всех православных христиан. А он — не царь, а кобель серый, его и спихнули. Ой, лишенько, аж поджилки затряслись, страшно стало, как услыхала, что царя спихнули. А потом так и надо — кобель и кобель.

— Блох нонче сила.

И баба опять зачухалась. Потом глянула в темноту, — шумит река, — покрестилась.

— Должно, утро скоро.

Прилегла, да не спится, вся жизнь стоит, как тень над человеком, и никуда не уйдешь, — стоит, молчит, как нету ее, а сама вся тут...

— Балшавики в бога не верють. Шо ж, мабуть, знають, свое делають: пришлы, усе сразу як повалялы. Ахвицера, помещики утеклы швидко. От козаки и озверинились... Дай им, господи, здоровья, даром шо в бога не верють. Опять же свои, не басурманы... Як бы пораньше объявилысь, не було б цией проклятой войны, живы були б мои сыноч-

ки. У Туретчине сплять... И откуда ции балшавики взялысь? Кажуть, у Москви народились, а которы кажуть, у Германии, — германьский царь породил та на Россию наслав. А воны, як приихалы, в одно горло: землю и землю людям, щоб над той землей робилы на себе, а не на козаков. Хорошии чоловики, тильки чого воны мий само... спл... сплять... сы... сыно... доб... добра... кошка... ди... ты...

Задремала старая, уронила голову, — должно быть, заря скоро.

У каждого свое. Под повозкой, придвинутой к самому плетню, как будто горлинка воркует. И откуда бы горлинке ночью ворковать под повозкой у плетня, ворковать и делать гулюшки и пускать пузыри маленьким ротиком? «Вввв-ва» и «уа-ввава...» Но, должно быть, кому-то это сладко, и милый грудной материнский молодой голос тоже воркует:

— Та що ж ты, мое квиточко, мий цвиточек? Та покушай ще. Ну, нá, нá! Та що ж ты нэ берэшь? От як мы умием — головой верть та языком геть мамкину сиську.

И она смеется таким заразительно счастливым смехом, что кругом посветлело. Не видать, но, наверное, черные брови и мутные серебряные серьги в маленьких ушах.

— Не хочешь? Що ж ты, мое шишечко? Ой, який сердитый! Як мамкину сиську тискае рученятками. А ноготки як бумага папироса... Дай поцелую кажный пальчик: раз! та ще два! та три!.. О-о, яки велики пузыри пускае! Великий чоловик будэ. А мамка будэ старéнька тай беззуба, а сын скаже: «Ну, старá, садись до стола, буду тебе кашей тай саламатой годуваты». Степан, Степан, та що ж ты спишь? Та проснись, сын гуляе...

— Постой!.. фу-у... не трожь, пусти... спать хочу...

— Та, Степане, проснись же, сын гуляе. Який же ты неповоротливый! От я тоби сына кладу. Таскай ёго, сынку, за нос та за губу, — от так! От так!.. Батько твий не нагуляв ще бороды соби и усив, так ты ёго за губу, за губу таскай.

А в темноте сначала заспанный, а потом такой же радостно улыбающийся голос:

— Ну, ложись, ложись, сынку, до мене, нечего тоби с бабой возиться, будемо мужыковаты. Зараз на войну пидемо, а там работать с тобой у паре будемо, землю годуваты... Э-э, та що ж ты пид мене моря пущаешь?

А мать смеется неизъяснимо радостным, звенящим смехом.

Приходько идет, осторожно шагая через ноги, дышла, хомуты, мешки, временами освещая папиросой.

Уже все замолкло. Всюду темно. И даже под повозкой у плетня тихо. Собаки молчат. Только река шумит, но и ее шум присмирел, куда-то отодвинулся, и громадный сон мерным дыханием покрывает десятки тысяч людей.

Приходько шагает, уже не ждет вздваивающихся выстрелов; слипаются глаза; чуть начинают угадываться неровные края гор.

«А ведь на самой на заре и нападают...»

Пошел, доложил Кожуху, потом разыскал в темноте повозку, влез, и она заскрипела и закачалась. Хотел думать... о чем, бишь?! Завел слипающиеся глаза и стал сладко засыпать.

V

Звон железа, лязг, треск, крики... Та-та-та-та...

— Куды?! куды?! постой!..

Что это пылает во все небо: пожар или заря?

— Первая рота, бего-ом!

Черные полчища грачей без конца мелькают по красному небу с оглушительным криком.

Всюду в предрассветной серости надеваемые хомуты, вскидываются дуги. Беженцы, обозные, роняя оглобли, задевают друг друга, неистово ругаются...

...бумм! бумм!..

...лихорадочно запрягают, цепляются осями, секут лошадей и с треском, с гибелью, с отлетающими колесами безумно несутся по мосту, поминутно закупоривая.

...тра-та-та-та... бумм... бумм!..

Утки несутся в степь на кормежку. Отчаянно голосят бабы...

...та-та-та-та...

Артиллеристы лихорадочно прихватывают к валькам постромки.

С выпученными глазами, в одной коротенькой гимнастерке, без штанов, мелькает волосатыми ногами солдатик, волоча две винтовки, и кричит:

— Иде наша рота?.. иде наша рота?..

А за ним, истошно голося, простоволосая, расхристанная баба:

— Василь!.. та Василь!.. та Василь!..

Та-та-тррра-та-та!.. бумм!.. бумм!..

Вон уже началось: в конце станицы над хатами, над деревьями быстро поднимаются клубящимися громадами столбы дыма. Ревет скотина.

Да разве кончилась ночь? Разве только что не была разлита темнота, и сонное дыхание десятков

тысяч, и неумирающий шум реки, и разве не лежали на краю невидимой чернотой горы?

А теперь они не черные и не голубые, а розовые. И, заслоняя их, заслоняя померкший шум реки, грохот, треск, скрип подымающихся обозов, раскатывается, наполняя холодком сжимающееся сердце: ррр... трра-та-та-та...

Но все это кажется маленьким, ничтожным, когда из расколотого воздуха вываливается сотрясающий грохот: бба-бах!!

...Кожух сидит перед хатой. Лицо спокойно-желтое, — как будто кто-то собирается уезжать по железной дороге, и все суетятся, спешат; а вот уйдет поезд, и опять все будет тихо, спокойно, обыкновенно. Поминутно к нему прибегают или скачут на взмыленной лошади с донесениями. Около наготове адъютант и ординарцы.

Выше подымается солнце, нестерпимо раскатывается ружейная и пулеметная трескотня.

А у него на все донесения одно:

— Берегти патроны, берегти, як свой глаз; расходовать только в самом крайнем случае. Подпускать близко, и в атаку. Не допускать до садов, до садов не допускать! Возьмите две роты из первого полка, отбейте ветряки, поставьте пулеметы.

К нему со всех сторон бегут с тревожными донесениями, а он все такой же спокойно-желтый, лишь желваки перекатываются на щеках и кто-то, сидя внутри, весело приговаривает: «До́бре, хлопьята, до́бре...» Может быть, через час, через полчаса казаки ворвутся и будут всех наповал рубить! Да, он это знает, но он и видит, как послушно и гибко рота за ротой, батальон за батальоном выполняют приказания, как яростно дерутся те батальоны и роты, которые еще вчера анархически орали песни, в грош не ставили и

командиров и его и лишь пили да возились с бабами; видит, как точно приводят в исполнение все его распоряжения командиры, те самые командиры, которые еще этой ночью так дружно презрительно помыкали им.

Привели солдата, захваченного и отпущенного казаками. У него отрезаны нос, уши, язык, обрублены пальцы, и на груди его же кровью написано: «С вами со всеми то же будет, мать вашу...»

«Добре, хлопьята, дóбре...»

Яростно наседают казаки.

Но когда прибежали из тыла и, задыхаясь, сказали: «Там, перед мостом, идет бой...» — он пожелтел, как лимон, — идет бой промеж обозных и беженцев... — Кожух бросился туда.

Перед мостом — свалка: рубят топорами друг у друга колеса, возят друг дружку кнутами, кольями... Рев, крик, бабий смертный вой, детский визг... На мосту громадный затор, сцепившиеся осями повозки, запутавшиеся в постромках, храпящие лошади, зажатые люди, в ужасе орущие дети. Тра-та-та... — из-за садов... Ни взад, ни вперед.

— Сто-ой!.. стой!.. — хрипучим, с железным лязгом, голосом ревел Кожух, но и сам себя не слышал. Выстрелил в ухо ближайшей лошади.

На него кинулись с кольями.

— Га-а, бисова душа! Животину портить!.. Бей его!!

Кожух с адъютантом, с двумя солдатами отступал, прижатый к реке, а над ними гудели колья.

— Пулемет... — прохрипел Кожух.

Адъютант, как вьюн, скользнул под повозки, под лошадиные пуза. Через минуту подкатили пулемет и прибежал взвод солдат.

Мужики заревели, как раненые быки:

— Бей их, христопродавцев! — и стали кольями выбивать винтовки из рук.

Солдаты отбивались прикладами — не стрелять же в отцов, матерей и жен.

Кожух прыгнул, как дикий кот, к пулемету, заложил ленту и: та-та-та... веером поверх голов, и ветер смерти с пением зашевелил волосы. Мужики отхлынули. А по-за садами по-прежнему: та-та-та...

Кожух перестал стрелять и, надсаживаясь, стал выкрикивать трехэтажные матерные ругательства. Это сразу успокоило. Приказал повозки на мосту, которые нельзя было расцепить, скинуть в реку. Мужики повиновались. Мост расчистили. Перед мостом стал взвод с винтовками на руку, а адъютант стал пропускать по очереди.

Повозки неслись вскачь через мост по три в ряд; бежали, мотая рогами, привязанные коровы; отчаянно визжа и натягивая веревки, карьером неслись свиньи, и грохотал настил моста, прыгали доски, как клавиши, и в грохоте тонул шум реки.

Солнце все выше. Расплавленным блеском нестерпимо играет вода.

За рекой широчайшей полосой несутся обозы, теряясь в облаках пыли, все больше и больше пустеют площади, улицы, переулки, вся станица.

Огромной, поминутно вспыхивающей выстрелами дугой охватили казаки станицу, упираясь концами в реку. Все у́же дуга; все теснее в ней станице, садам, обозам, которые непрерывно сыплются через мост. Бьются солдаты, отстаивают каждую пядь, бьются за своих детей, отцов, матерей, берегут каждый патрон, редко стреляют, но каждый выстрел родит казачьих сирот, слезы и плач в казачьих семьях.

Остервенело наваливаются казаки, близко, со-

всем близко мелькает их цепь, уже заняли окраину садов, мелькают из-за деревьев, из-за плетней, из-за кустов. Залегли, шагов с десяток, между цепями. Стихло — берегут солдаты патроны: караулят друг друга. Крутят носами: чуют — несет из казачьей цепи густым сивушным перегаром. Завистливо тянут раздувшиеся ноздри:

— Нажрались, собаки... Эх, кабы достать!..

И вдруг не то возбужденно-радостный, не то по-звериному злобный голос из казачьей цепи:

— Бачь! Та це ж ты, Хвомка!! Ах ты, ммать ттвою крый, боже!..

И сейчас же из-за дерева воззрился говяжьими глазами молодой гололицый казачишка, весь вылез, хоть стреляй в него.

А из солдатской цепи также весь вылез такой же гололицый Хвомка:

— Це ты, Ванька?! Ах ты, ммать ттвою, байстрюк скаженний!..

Из одной станицы, с одной улицы, и хаты рядом под громадными вербами. А утром, как скотину гнать, матери сойдутся у плетня и калякают. Давно ли мальчишками носились вместе верхами на хворостинках, ловили раков в сверкающей Кубани, без конца купались. Давно ли вместе спивалы с дивчатами ридны украински писни, вместе шли на службу, вместе, окруженные рвущимися в дыму осколками, смертельно бились с турками.

А теперь?

А теперь казачишка закричал:

— Шо ж ты тут робишь, лахудра вонюча?! Спизнался с проклятущими балшевиками, бандит голопузый?!

— Хто?! Я бандит?! А ты що ж, куркуль поганый... Батько твий мало драл с народу шкуру с живово и с мертвово... И ты такий же павук!..

— Хто?! Я — павук?! Ось тоби!! — откинул винтовку, размахнулся — рраз!

Сразу у Хвомки нос стал с здоровую грушу. Размахнулся Хвомка — рраз!

— На, собака!

Окривел казак.

Ухватили друг дружку за душу — и ну молотить!

Заревели быками казаки, кинулись с говяжьими глазами в кулаки, и весь сад задохся сивушным духом. Точно охваченные заразой, выскочили солдаты и пошли работать кулаками, о винтовках помину нет, — как не было их.

Ох, и дрались же!.. В морду, в переносье, в кадык, в челюсть, с выдохом, с хрустом, с гаком — и нестерпимый, не слыханный дотоле матерный рев над ворочавшейся живой кучей.

Казачьи офицеры, командиры солдат, надрываясь от хриплого мата, бегали с револьверами, тщетно стараясь разделить и заставить взяться за оружие, не смея стрелять, — на громадном расстоянии ворочался невиданный человеческий клубок своих и чужих и несло нестерпимым сивушным перегаром.

— А-а, с...сволочи!.. — кричали солдаты. — Нажрались, так вам море по колено... мать, мать, мать!..

— Хиба ж вам, свиньям, цию святую воду травить... мать, мать, мать!.. — кричали казаки.

И опять кидались. Исступленно зажимали в горячих объятиях — носы раздавливали, и опять без конца били кулаками, куда и как попало. Дикая, остервенелая ненависть не позволяла ничего иметь между собой и врагом, хотелось мять, душить, жать, чувствовать непосредственно под ударом своего кулака хлюпающую кровью морду врага, и все покрывала густая — не продых-

нешь — матерная ругань и такой же густой, непереносный водочный дух.

Час, другой... все — исступленный мордобой, все — исступленный матерный рев. Никто не заметил — стало темно.

Два солдата долго в темноте старательно лупили друг друга, кряхтя, матюкая, да на минутку оторвались, всмотрелись друг в друга.

— Це ты, Опанас?! Та що ж ты, мать твою в душу, лупишь мене, як сноп на току!

— Ты, Миколка? А я думав — казак. Що ж ты, утроба поганая, усю морду мени расковыряв, що я тоби сдався, чи казенный, чи шо?

Отирая кровавые лица, переругиваясь, медленно отходят в цепь и в темноте ищут свои винтовки.

А рядом два казака, долго крякая, возили друг друга кулаками, по очереди сидели друг на друге верхом, потом вгляделись:

— Та що ж ты на мени ездишь, туды и растуды тебе, як на старом мерине?!

— Це ты, ты, Гараська?! Та що ж ты не кричав? Тильки матюкается, як скаженный, а я думав — солдат.

И, вытирая кровь, пошли в казачий тыл. Смолкла наконец подлая матерная ругань, и стало слышно: шумит река да бесконечно барабанит досками мост — нескончаемо катятся обозы, да чуть багрово шевелятся края черных туч от догорающего пожара. Вдоль садов залегла цепь солдат, а кругом в степи — казачья цепь. Молчали, перевязывая вспухшие, в фонарях, рожи. Все тарахтит мост, шумит река. Перед самым утром станицу очистили. Последний эскадрон перешел, стуча по настилу, и мост запылал, а вслед уходящим со всей станицы посыпались залпы, затрещали пулеметы.

VI

По станичным улицам идут с песнями, мотая длиннополыми перетянутыми черкесками, казаки, пластунские батальоны; на лохматых черных папахах белеют ленточки. А лица изукрашены: у одного глаз сине-багрово заплыл; у другого вместо носа кровавый бугор; вздулась щека; как подушки, губошлепые губы, — ни одного казака, чтоб у него не глядели с лица самые густые фонари.

Но идут весело, густо, и над вздымающейся взрывами из-под ног пылью — рубленым железом марш в такт дружно отдающемуся в земле шагу:

Як не всхо-ти-лы,
за-бун-то-ва-лы... —

густо, сильно, отдаваясь в садах, за садами, в степи, над станицей:

...тай у-те-ря-лы Вкра-и-ину!

Казáчки встречают, высматривают каждая своего, — бросается радостно или вдруг заломит руки, заголосит, покрывая песни, а старая мать забьется, вырывая седые волосы, и понесут ее дюжие руки в хату.

...за-бун-то-ва-лы...

Бегут казачата... Сколько их! И откуда только они повылезли, ведь не видать было все время: бегут и кричат:

— Батько!.. батько!..

— Дядько Микола!.. дядько Микола!..

— А у нас красные бычка зъилы.

— А я одному с самострела глаз вышиб, — он пьяный в саду спал.

На месте прежнего по улицам, по переулкам раскинулся другой, и, видно, свой лагерь. Уже задымились по всем дворам летние кухоньки. Суетятся казачки. Пригнали откуда-то из степи спрятанных коров; привезли птицу; идет и варево и жарево.

А на реке жаркая своя работа — в обгонку стучат топоры, заглушая даже шум реки, летит во все стороны, сверкая на солнце, белая щепа, — рвутся казаки, наводят мост вместо сгоревшего, чтоб поспеть нагнать врага.

А в станице — свое. Идет формирование новых казачьих частей. Офицеры с записными книжками. Прямо на улице за столами писаря составляют списки. Идет перекличка.

Казаки поглядывают на похаживающих офицеров, — поблескивают на солнце погоны. А давно ли, каких-нибудь шесть-семь месяцев назад, было совсем другое: на площадях, на станичных улицах, по переулкам кровавым мясом валялись вот такие же офицеры с сорванными погонами. А по хуторам, в степях, по балкам ловили прятавшихся, привозили в станицу, беспощадно били, вешали, и они висели по нескольку дней, чтоб воронье растаскивало.

И началось это около году назад, когда на турецкий фронт докатился пожар, полыхавший в России.

Кто такое?! Что такое?..

Ничего не известно. Только объявились неведомые большевики, и — точно у всех с глаз бельма слизнуло — вдруг все увидали то, что века не видали, но века чувствовали: офицерье, генералитет, заседателей, атаманов, великую чинов-

ную рать и нестерпимую военную службу, дотла разорявшую. Каждый казак должен был на свой счет справлять сыновей на службу: а три, четыре сына — каждому купить лошадь, седло, обмундирование, оружие, — вот и разорился двор. Мужик же приходит на призыв голый: все дадут, оденут с головы до ног. И казацкая масса постепенно беднела, разорялась и расслоялась; слой богатого казачества всплывал, креп, обрастал, остальные понемногу тонули.

Нестерпимо, ослепительно глядит крохотное солнце на весь развернувшийся под ним край. Марево трепещет знойным трепетанием.

А люди говорят:

— Та нэма ж края найкращего, як наш край...

Слепящий блеск играет в плоскодонном море. Чуть приметно набегают стекловидные зеленые морщины, лениво моют прибрежные пески. Рыба кишмя кишит.

Рядом другое море — бездонно-голубое, и до дна, до самого дна отражается опрокинутая синева. Бесчисленно дробится нестерпимое сверкание — больно смотреть. Далеко по голубому дымят пароходы, черно протянув тающие хвосты, — за хлебом идут, гроши везут.

А от моря густо-синею громадой громоздятся горы; верхи завалены первозданными снегами, глубоко залегли в них голубые морщины.

В бесконечных горных лесах, в ущельях, в низинах и долинах, на плоскогорьях и по хребтам — всякой птицы, всякого зверя, даже такого, которого уже нигде не сыщешь во всем свете, — зубр.

В утробе диких громад, размытых, загромо-

жденных, навороченных — и медь, и серебро, и цинк, и свинец, и ртуть, и графит, и цемент, и чего-чего только нет, — а нефть, как черная кровь, сочится по всем трещинам, и в ручьях, в реках тонко играют радугой расплывающиеся маслянистые пленки и пахнут керосином...

«Найкращий край...»

А от гор, а от морей потянулись степи, потянулись степи и потеряли границу и пределы.

«Та нэма ж им конца и краю нэма!..»

Безгранично лоснится пшеница, зеленеют покосы, либо без конца шуршат камыши над болотами. Белыми пятнами белеют станицы, хутора, села в неоглядной густоте садов, и остро вознеслись над ними в горячее небо пирамидальные тополя, а на знойно трепещущих курганах растопырили крылья серые ветряки.

По степи сереют отары неподвижно уткнувшихся друг в друга овец; густо колышется над ними с гудением миллионно-кишащее царство оводов, мошкары, комаров.

Лениво по колено отражается в зеркале степных вод красный скот. Тянутся к балкам, мотая головами, лошадиные косяки.

А над всем — изнеможенно звенящий, неумирающий зной.

На бегущих по дороге в запряжке лошадях соломенные шляпы — иначе падают от смертельно-пристального взгляда крохотного солнца. И люди, неосторожно обнажившие голову, пораженные, с внезапно побагровевшим лицом, валятся на обжигающую пыль дороги, стеклеют глаза... Тонко звенящий, всюду трепещущий зной.

Когда запряженный тремя, четырьмя парами круторогих быков тяжелый плуг режет в бескрайной степи борозду, отбеленный лемех отваливает

такую жирную, маслянистую землю, что не земля, а намазал бы, как черное масло, да ел. И сколько вглубь ни забирай тяжелым плугом, как ни взрезывай отбеленным лемехом, — все равно до мертвой глины не доберешься, все равно сияющая сталь отворачивает нетронутые, девственные, единственные в мире пласты — чернозем — местами до сажени.

И какая же сила, как же нечеловечески родящая сила! Заткнет в землю, балуясь, мальчишка валяющуюся жердь — глядь, побеги выбросила, глядь, уж дерево шатром ветки раскинуло. А виноград, арбузы, дыни, груши, абрикосы, помидоры, баклажаны, — да разве перечесть! И все — громадное, невиданное, противоестественное.

Заклубятся облака в горах, поползут над степями, польют дожди, напьется жадная земля, а потом начинает работать безумное солнце — и засыпается страна невиданным урожаем:

— Та нэма ж края найкращего, як цей край!

Кто же хозяева этого чудесного края?

Кубанские казаки — хозяева этого чудесного края. И есть у них работники, народ-работник, и столько же его, сколько самих казаков; и так же поют украинские песни и говорят родным украинским языком.

Братья родные два народа, — и те и другие пришли с милой Украины.

Не пришли казаки — пригнала их царица Катька полтораста лет назад; разрушила вольную Запорожскую Сечь и пригнала сюда; пожаловала им этот дикий тогда, страшный край. От ее пожалования плакали запорожцы кровавыми слезами, тоскуя по Украине. Повылезали из болот, из камышей скрюченные пожелтевшие лихорадки, впились в казаков, не щадили ни старого, ни мало-

го, много выпили народу. В острые кинжалы да в меткие пули приняли невольных пришельцев черкесы, — кровавыми слезами плакали запорожские казаки, поминали родную Сечь и день и ночь бились с желтыми лихорадками, с черкесами, с дикой землей, — нечем было поднять ее вековых, не тронутых человеком залежей.

А теперь... теперь:

— Та нэма ж края найкращего, як наш край!

А теперь все зарятся на этот край, как чаша переполненный невиданными богатствами. Потянулись гонимые нуждой из Харьковской губернии, из Полтавской, из Екатеринославской, с Киевщины, потянулись голь и беднота со скарбом, с детьми, расселились по станицам и щелкают, как голодные волки, зубами на чудесную землю.

— На-кось! съешь фигу, — землю захотели!

И стали батраками переселенцы у казаков, дали им имя — «иногородние». Всячески теснили их казаки, не пускали их детей в казацкие народные школы, драли с них по две шкуры за каждую пядь земли под их хатами, садами, за аренду земли, взвалили на них все станичные расходы и с глубоким презрением называли их: «бисовы души», «чига гостропуза», «хамсел» (то есть хамом сел на казацкую землю).

А иногородние, упорные, как железо, без своей земли поневоле бросающиеся на всякие ремесла, на промышленную деятельность, изворотливые, тянущиеся к знанию, к культуре, к школе, — платят казакам тою же монетой: «куркуль» (кулак), «каклук», «пугач»... Так горит взаимная ненависть и презрение, а царское правительство, генералы, офицеры, помещики радостно раздувают эту звериную вражду.

Прекрасный край, дымящийся, как горькой

желчью, едкой злобой, ненавистью и презрением.

Но не все казаки, не все иногородние так относятся друг к другу. Выбившиеся из нищеты, выбившиеся из нужды сметкой, упорством, железным трудом иногородние в почете у богатых казаков. Держат они мельницы на откупу, много держат казацкой земли в аренде, держат батраков из своей же иногородней бедноты, и лежат у них в банках деньги, ведут торговлю хлебом. Уважают их те казаки, у которых дома под железными крышами и амбары ломятся от хлеба, — ворон ворону глаз не выклюет.

Отчего это с гиком и посвистом скачут по улицам казаки в черкесках, заломив папахи, скачут взад и вперед, раскидывая лошадиными копытами глубокую мартовскую грязь, и блестят выстрелы в весеннее синее небо? Праздник, что ли? И колокола, надрываясь, мечут веселый синий звон по станицам, по хуторам, по селам. А люди в праздничной одежде, и казаки, и иногородние, и дивчата, и подростки, и седые старики, и старухи с завалившимся ртом — все, все на весенних праздничных улицах.

Уж не пасха ли? Да нет же, не поповский праздник! Человечий праздник, первый праздник за века. За века, сколько земля стоит, первый праздник.

Долой войну!..

Казаки обнимают друг друга, обнимают иногородних, иногородние — казаков. Уже нет казаков, нет иногородних — есть только *граждане.* Нет «куркулей», нет «бисовых душ» — есть граждане.

Долой войну!..

В феврале согнали царя, в октябре что-то произошло в далекой России; никто толком не знал, что произошло, одно только врезалось в сердце:

Долой войну!..

Врезалось и было безумно понятно.

И повалили полки за полками с турецкого фронта. Повалила казацкая конница, шли плотно батальоны пластунов-кубанцев, шли иногородние пехотные полки, погромыхивала конная артиллерия — и все это непрерывающимся потоком к себе на Кубань, в родные станицы, со всем оружием, с припасами, с военным снаряжением, с обозами. А по дороге разбивали водочные заводы, склады, опивались, тонули, горели живьем в выпущенном море спирта, уцелевшие валили к себе в станицы и хутора.

А на Кубани уж советская власть. А на Кубань уж налетели рабочие из городов, матросы с потопленных кораблей, и от них все вдруг стало ясно, отчетливо: помещики, буржуи, атаманы, царское разжигание ненависти между казаками и иногородними, между всеми народами Кавказа. И пошли лететь головы с офицеров, и полезли они в мешки и в воду.

А пахать надо, а сеять надо, а солнце, чудесное южное солнце, разгоралось на урожай все больше и больше.

— Ну, як же ж нам пахаты? Треба землю делить, а то время упустишь, — сказали иногородние казакам.

— Землю вам?! — сказали казаки и потемнели.

Стала меркнуть радость революции.

— Землю вам, злыдни?!

И перестали бить своих офицеров, генералов, и поползли они изо всех щелей, и на тайных

казацких сборищах стучали себе в грудь и говорили зажигательно:

— У большевиков постановлено: отобрать у козаков всю землю и отдать иногородним, а козаков повернуть в батраки. Несогласных — высылать в Сибирь, а все имущество отбирать и передавать иногородним.

Потемнела Кубань, тайно низом пополз загорающийся пожар по степям, по оврагам, по камышам, по задворкам станиц и хуторов.

— Та нэма найкращего края, як наш край!

И опять стали казаки «куркули», «каклуки», «пугачи».

— Та нэма ж найкращего края, як цей край!

И опять стали иногородние «бисовы души», «хамселы», «чига гостропуза».

Заварилась каша веселая в марте восемнадцатого года; стали расхлебывать ее, до слез горячую, в августе, когда в этом крае еще знойно солнце и видимо-невидимо ходят облака горячей пыли.

Не потечь Кубани вспять в гору, не воротить старого; не козыряют казаки офицерам, а когда и в зубы им заглядывают, помнят, как ездили те на них, и они делали из офицерья кровавое мясо. Но к речам офицерским теперь прислушиваются и приказания их исполняют.

Звенят топоры, летит белая щепа, приткнулся мост в другой берег. Быстро и гулко переходит его конница, пластуны; спешат нагнать уходящего красного врага казаки.

VII

Скрипят обозы, идут солдаты, поматывают руками. У этого — заплыли глаза. У этого нос здоровенной сливой. У этого запеклись скулы, — ни

одного нет, чтобы не синели фонари. Идут, помахивают руками и весело рассказывают:

— Я его у самую у сапатку я-ак кокну, — он так ноги и задрав.

— А я сгреб, зажал голову промеж ног и давай молотить по ж... а он сволочь, ка-ак тяпнет за...

— Го-го-го!.. ха-ха-ха!.. — зареготали ряды.

— Як же ж ты до жинки теперь?

Весело рассказывают, и никак никто не вспомнит, как же это случилось, что вместо того, чтоб колоть и убивать, они в диком восторге упоения лупили по морде один другого кулаками.

Ведут четырех захваченных в станице казаков и допрашивают их на ходу. У них померкшие глаза, лица в синяках, кровоподтеках, и это сближает с солдатами.

— Що ж вы, кобылятины вам у зад, вздумали по морде? Чи у вас оружия нэма?

— Та що ж, як выпилы, — виновато ссутулились казаки.

У солдат заблестели глаза.

— Дэ ж вы узялы?

— Та ахвицеры, як прийшлы до блищей станицы, найшлы у земли закопани в саду двадцать пять бочонкив, мабуть, с Армавиру привезлы наши, як завод с горилкою громилы, тай закопалы. Ахвицеры построили нас тай кажуть: «Колы возьмете станицу, то горилки дадим». А мы кажем: «Та вы дайте зараз, тоди мы их разнесем, як кур». Ну, воны дали кажному по дви бутылки, мы выпилы, — а йисты не позволилы, щоб дущей забрало. Мы и кинулысь, а винтовки мешають.

— Э-э, ссволочи!!! — подскочил солдат. — Як свыньи, — и со всего плеча размахнулся, чтоб в зубы.

Его удержали:

— Постой-ой! Ахвицеры стравилы, а его бьешь?

За поворотом остановились, и казаки стали рыть себе общую могилу.

А бесконечные обозы, вздымая все закрывающие клубы пыли, двигались, скрипя, извиваясь на десятки верст по проселку, и синели впереди горы. В повозках краснели накиданные подушки, торчали грабли, лопаты, кадушки, блестели ослепительно зеркала, самовары, а между подушками, между ворохами одежи, полстей, тряпья виднелись детские головенки, уши кошек, кудахтали в плетеных корзинках куры, на привязи шли сзади коровы, и, высунув языки и торопливо дыша, тащились, держась в тени повозок, лохматые, в репьях, собаки. Скрипели обозы с наваленным на них скарбом — бабы и мужики жадно и впопыхах кидали на телеги все, что попадалось под руки, когда пришлось бежать из своей хаты от восставших казаков.

Не в первый раз так подымались иногородние. Вспышки отдельных казачьих восстаний против советской власти за последнее время уже не раз выгоняли их из насиженных гнезд, но это продолжалось два-три дня; приходили красные войска, водворяли порядок, — и все возвращались назад.

А теперь это тянется слишком долго — вторую неделю. А хлеба захватили всего на несколько дней. И каждый день, каждый день ждут — вотвот скажут: «Ну, теперь можно возвращаться», — а оно все дальше, все запутаннее; все злее подымаются казаки; отовсюду вести: по станицам стоят виселицы, вешают иногородних. И когда этому будет конец? И что теперь с оставленным хозяйством?

Скрипят телеги, повозки, фургоны; поблескивают на солнце зеркала; качаются между подушек

детские головенки; и разношерстными толпами идут солдаты по дороге, по пашням вдоль дороги, по бахчам, с которых начисто, как саранча, снесли все арбузы, дыни, тыквы, подсолнухи. Нет рот, батальонов, полков, — все перемешалось, перепуталось. Идет каждый где и как попало. Одни поют песни, другие спорят, кричат, матюкаются, третьи забрались на повозки и сонно мотают головами во все стороны.

Об опасности, о враге никто не думает. И о командирах никто не думает. Когда пробуют этот текучий поток хоть как-нибудь организовать, — командиров посылают к такой матери и, закинув на плечи винтовки, как дубины, прикладами кверху, раскуривают люльки либо орут срамные песни — «это вам не старый прижим».

Кожух тонет в этом непрерывно льющемся потоке, и как сжатая пружина теснит грудь: если навалится казачье, все лягут под шашками. Одна надежда — глянет смерть, и все, как вчера, дружно и послушно встанут в ряды, только не будет ли поздно? И ему хочется, чтоб скорей тревога.

А в дико шумящем потоке идут и идут демобилизованные из царской армии и мобилизованные советской властью; идут добровольно вступившие в красные войска, в большинстве мелкие ремесленники — бондари, слесаря, лудильщики, столяры, сапожники, парикмахеры, и особенно много рыбаков. Все это перебивавшиеся с хлеба на квас иногородние, все это трудовой люд, для которого приход советской власти внезапно приоткрыл краешек над жизнью, — вдруг почуялось, что она может быть и не такой собачьей, как была. Подавляющая масса все-таки крестьянская. Эти поднялись со своих хозяйств почти сплошь. Остались

богатеи — офицерство и хозяйственные казаки их не трогали.

Странно поражая глаз, колыхаясь стройными, перетянутыми в черкесках фигурами, едут на добрых конях кубанские казаки, — нет, не враги, а революционные братья, казачья беднота, в большинстве — фронтовики, в сердца которых среди дыма, огня, тысяч смертей революция заронила непотухающую искру.

Эскадрон за эскадроном в мохнатых папахах, на которых красные ленточки. И винтовки за плечами, и сияют черные с серебром кинжалы, шашки, — стройно, в порядке, среди текучего разброда.

Мотают головами добрые кони.

Будут биться с отцами и братьями. Дома бросили все: хаты, скотину, домашность, — хозяйство разорено. Едут стройные, ловкие, ало краснеют алые банты, завязанные милой рукой на папахе, и поют молодыми, сильными голосами украинские песни.

Любовно смотрит на них Кожух: «Добре, хлопцы! на вас вся надия». Любовно смотрит, но еще любовнее — на эту бредущую в облаках пыли, как попало, отрепанную, босую иногороднюю орду, — ведь он — кость от кости, плоть от плоти ее.

И неотступно тянется за ним его жизнь длинной косой тенью, которую можно забыть, но от которой нельзя уйти. Самая обыкновенная степная, трудовая, голодная, серая, безграмотная, темная-темная, косая тень. Мать еще молодая, а сама с изрезанным морщинами лицом, как замученная кляча, — куча ребятишек на руках, за подол цепляются. Отец — вековечный казачий батрак, жилы вытянул: да сколько ни бейся, все равно — ни кола ни двора.

Кожух с шести лет — общественный пастушонок. Степь, балки, овцы, лес, коровы, облака бегут, а понизу бегут тени — вот его учеба.

Потом сметливым, расторопным мальчишкой у станичного кулака в лавке, — потихоньку и грамоте выучился; потом в солдаты, война, турецкий фронт... Он — великолепный пулеметчик. В горах забрался с пулеметной командой в тыл туркам, в долину, — турецкий фронт тянулся по хребту. Когда турецкая дивизия, отступая, стала спускаться на него, он заработал пулеметом, стал косить; люди, как трава, — рядами, и побежала на него, дымясь, горячая кровь, и никогда он прежде не думал, что человечья кровь может бежать в полколена, — но это была турецкая кровь и забывалась.

За невиданную храбрость его послали в школу прапорщиков. Как трудно было! Голова лопалась. Но он с бычьим упорством одолевал учебу, и... срезался. Офицеры хохотали над ним, офицеры-воспитатели, офицеры-преподаватели, юнкера: мужик захотел в офицеры! Экая сволочь... мужик... тупая скотина! Ха-ха-ха... в офицеры!

Он их ненавидел молча, стиснув зубы, глядя исподлобья. Его возвратили в полк как неспособного.

Опять шрапнели, тысячи смертей, кровь, стоны, и опять его пулеметы (у него изумительный глаз) режут, и ложится рядами человечья трава. Среди нечеловеческого напряжения, среди смертей, поминутно летающих вокруг головы, не думалось, во имя чего кровь в полколена, — царь, отечество, православная вера? Может быть, но как в тумане. А близко, отчетливо — выбиться в офицеры, выбиться среди стонов, крови, смертей, выбиться, как он выбился из пастушонков в лавоч-

ные мальчики. И он — спокойно, с каменными челюстями в безумно рвущихся шрапнелями местах, как у себя в хозяйстве, за сенокосом, и ложится кругом покошенная трава.

Его во второй раз посылают в школу прапорщиков, — офицеров-то нехватка, в боях всегда офицеров нехватка, а он фактически исполняет обязанности офицера, иногда командуя довольно крупными отрядами, и еще не знал поражения. Ведь для солдат он свой, земляной, такой же хлебороб, как они, и они беззаветно идут за ним, за этим корявым, с каменными челюстями, идут в огонь и в воду. Во имя чего? Царя, отечества, православной веры? Может быть. Но это — как в кровавом тумане, а возле — идти-то надо, идти неизбежно: сзади — расстрел, так веселей идти за ним, за своим, за корявым, за мужиком.

Как трудно, как мучительно трудно! Голова лопается. Куда труднее усвоить десятичные дроби, чем спокойно идти на смерть под пулеметным огнем.

А офицеры покатываются, — офицеры, набившиеся в школу нужно и не нужно, а больше не нужно: тыл ведь всегда укромное местечко и загроможден спасающимися от фронта, и для спасающихся создаются тысячи ненужных тыловых должностей. Офицеры покатывались: мужик, растопыра, грязная сволочь!.. Как издевались, как резали на ответах, в конце концов вполне правильных, — овладел-таки.

И отослали, и отослали в полк за... неспособностью.

Огневые вспышки орудий, взрывы шрапнелей, бездушное татаканье, кроваво-огненный ураган, «и смерть и ад со всех сторон», а он как дома — хозяйственный мужичок.

Хозяйственный мужичок тяжело-упрям, как бык, на все наваливается каменной глыбой: недаром — украинец, и череп насунулся на самые глаза — маленькие колючие глаза.

За хозяйственность среди смертной работы его в третий раз, в третий раз посылают в школу.

А офицеры покатываются: опять? Мужик... сволочь... раскоряка!.. И... и отсылают в полк — за неспособностью.

Тогда из штаба раздраженно: выпустить прапорщиком — в офицерах громадная убыль.

Хе-хе! В офицерах громадная убыль, — и в боях, и в бегах в тыл.

Презрительно выпустили прапорщиком. Явился в роту, а на плечах поблескивает, — добился. И радостно и не радостно.

Радостно: добился-таки, добился своего страшной тяжестью, нечеловеческим напором. И не радостно: поблескивавшее на плечах отделило от своих, от близких, от хлеборобов, от солдат, — от солдат отделило, а к офицерам не приблизило: вокруг Кожуха замкнулся пустой круг.

Офицеры вслух не говорили: «мужик», «сволочь», «раскоряка», но на биваках, в столовой, в палатках, всюду, где сходились два-три человека в погонах, вокруг него — пустой круг. Они не говорили словами, но молча говорили глазами, лицом, каждым движением: «сволочь, мужик, вонючая растопыра...»

Он ненавидел их спокойно, каменно, глубоко запрятанно. Ненавидел. И презирал. И от этой ненависти, и от своей отделенности от солдат закрывался холодным бесстрашием среди тысяч смертей.

И вдруг все покачнулось: и горы Армении, и турецкие дивизии, и солдаты, и генералы с изу-

мленно-растерянными лицами, и смолкшие орудия, и мартовские снега на вершинах, точно треснуло пространство и разинулось невиданно-чудовищное — невиданное, но всегда жившее тайно в тайниках, в глубине; не называемое, но — когда сделалось явным — простое, ясное, неизбежное.

Приехали люди, обыкновенные, с худыми желтыми фабричными лицами, и стали раздирать эту треснувшую расщелину, все шире и шире раскрывая ее. Забила оттуда вековая ненависть, вековая угнетенность, возмутившееся вековое рабство.

Кожух в первый раз пожалел, что на плечах блестит то, чего так каменно добивался: он оказался в одних рядах с врагами рабочих, с врагами мужиков, с врагами солдат.

После докатившихся октябрьских дней с отвращением сорвал и закинул погоны и, подхваченный неудержимо шумящими потоками войск, устремившимися домой, запрятавшись в темный угол, стараясь не показываться, ехал в набитой тряской теплушке. Пьяные солдаты орали песни и охотились на скрывавшихся офицеров, — не доехать бы ему, если бы его заметили.

Когда приехал, все валялось кусками, весь старый строй, отношения, а новое было смутно и неясно. Казаки обнимались с иногородними, ловили офицеров и расправлялись.

Как зернышки дрожжей, упали в ликующее население приехавшие с заводов рабочие, привалившие с потопленных кораблей матросы, и Кубань революционно поднялась, как опара. В станицах, в хуторах, в селах — советская власть.

Кожух хотя словами не умел сказать: «Классы, классовая борьба, классовые отношения», — но

глубоко почуял это из уст рабочих, схватил ощущением, чувством. И то, что наполняло его каменной ненавистью, — офицерье, — теперь оказалось крохотным пустяком пред ощущением, пред этим чувством неизмеримой классовой борьбы: офицерье — только жалкие лакеи помещика и буржуя.

А следы добытых когда-то с таким нечеловеческим упорством погонов жгли плечи, — хоть и знали его за своего, а косились.

И так же каменно, с таким же украинским упорством он решил каленым железом, своей кровью, своей жизнью выжечь эти следы и так послужить, — нет, неизмеримо больше послужить громаде бедноты, кость от кости которой он был.

А тут как раз подошло. Беднота искореняла буржуев. А так как под это подходили все, у кого была лишняя пара штанов, то хлопцы ходили по дворам, разбивали у всех сундуки, вытаскивали и делили, тут же напяливая на себя: потому — надо сделать между всеми уравнение.

Заглянули и к Кожуху в его отсутствие, выбрали, какое оказалось, платье, и приехавший Кожух, как был — в рваной гимнастерке, в старой, обвислой соломенной шляпе, в опорках, так и остался, а жена его — в одной юбке. Махнул Кожух рукой, весь переполненный одним ощущением, одной упорной мыслью.

Стали уравнивать хлопцы и казаков, а когда добрались до уравнения земли, закипела Кубань — и советскую власть смахнуло.

И Кожух едет теперь среди скрипа, говора, шума, лошадиного фырканья и бесконечных облаков пыли.

VIII

На последней станции перед горами столпотворение вавилонское: шум, крики, плач, матерная отборная ругань, разрозненные воинские части, отдельные группы солдат, а за станцией выстрелы, крики, смятенье. От времени до времени бухают орудия.

Тут и Кожух со своей колонной и своими беженцами. Подошел и Смолокуров со своей колонной и беженцами. Непрерывно подходят и другие отряды, — тянулись отовсюду, теснимые и гонимые казаками. И на этом последнем клочке сбились десятки тысяч обреченных людей: кадеты и казаки никому не дадут пощады, ни старому, ни малому, — все лягут под шашками, под пулеметами или повиснут на деревьях, либо, сваленные в глубоких оврагах, будут живьем засыпаны камнями и землей.

И в отчаянии уже разносится неоднократно раздававшееся: «Продали... пропили нас командиры!» И когда усилилась орудийная пальба, вдруг вспыхнуло:

— Спасайся кто может!.. Разбегайся, ребята!

Хлопцы из колонны Кожуха кое-как сдерживали казаков и панику, но — чуялось — ненадолго.

Командиры поминутно совещались, но из пустого в порожнее, и никто не знал, что произойдет в следующую минуту.

Кожух заявил:

— Единственное спасение — перевалить горы и по берегу моря усиленными маршами идтить в обход на соединение с нашими главными силами. Я сейчас выступаю.

— Если попробуешь выступить, открою по

тебе огонь, — сказал Смолокуров, гигант с черной окладистой бородой, ослепительно сверкая зубами, — надо с честью защищаться, а не бежать.

Через полчаса колонна Кожуха выступила, никто не осмелился ее задержать. И как только выступила — десятки тысяч солдат, беженцев, повозок, животных в панике кинулись следом, теснясь, загромождая шоссе, стараясь обогнать друг друга, сбросить мешающих в канавы.

И поползла в горы бесконечная живая змея.

IX

Шли весь день, шли всю ночь. Пред зарей, не выпрягая, остановились, заняв много верст шоссе. Над перевалом, совсем близко, играли крупные звезды. Неумолчно звенела в ущелье говорливая вода. Всюду мгла и молчание, как будто ни гор, ни лесов, ни обрывов. Только лошади звучно жуют. Не успели завесть глаза — стали меркнуть звезды, проступили дальние лесистые отроги, в ущельях потянули молочные туманы. Опять зашевелились, и поползло на десятки верст шоссе.

Из-за далеких хребтов ослепительно брызнуло выплывающее солнце и длинно погнало по горам голубые тени. Голова колонны выбралась на перевал. Выбралась на перевал, и ахнуло у каждого: неизмеримым провалом обрывается хребет, и, как несбыточный намек, неясно белеет внизу город. А от города, поражая неожиданностью, неохватимой синей стеной подымается море, такой невиданно-огромной стеной, что от ее синей густоты поголубели у всех глаза.

— О, бачь, море!

— А чого ж воно стиной стоить?

— Це придеться лизти через стину.

— А чому, як на берегу стоишь, воно лежить ривно геть до самого краю?

— Хиба ж не чул, як Моисей выводив евреев с египетского рабства, от як мы теперь, море встало стиною, и воны прошли як по суху?

— А нам, мабуть, загородило, не пускае.

— Та це через Гараську, у ёго новые чоботы, так щоб не размочило.

— Треба попа, вин зараз усе смаракуе.

— Положи его, волосатого, соби в портки...

Размашистей идут под гору ряды, веселей мотаются руки, говор и смех разбегаются по рядам, ниже и ниже спускается колонна, и никто не думает о черном гигантском утюге, что зловеще неподвижен, угрюмо дымит, уродуя голубое лицо бухты, — немецкий броненосец. Вокруг него тоненькими черточками — турецкие миноносцы, и от них тоже черные дымки.

А из-за гребня вываливаются все новые и новые ряды весело шагающих солдат, и всех одинаково поражает густая синяя стена до неба, и голубеют глаза, и возбужденно мотаются руки в размашистом спуске по белому петлистому шоссе.

А там и обозы. Потряхивают лошади с насунутыми на уши хомутами. Грациозно рысцой бегут коровы. С визгом несутся на хворостинках ребятишки. Уторопленно поспешают взрослые, поддерживая накатывающиеся повозки. И все вместе, поминутно виляя по петлям направо-налево, весело торопятся навстречу неведомой судьбе.

Сзади поднялся гребень перевала, закрыл полнеба.

Спустившаяся голова, бесконечной змеей обогнув город между бухтой и цементными заводами, далеко втянулась в узкую полосу. С одной стороны

к самому берегу придвинулись каменные лысые горы, с другой — сердце ахнуло: такой голубоглазой нежностью пустынно лег морской простор.

Ни дымка, ни белеющего паруса. Только сквозные тающие кружева без конца и меры прозрачно всплывают и исчезают на влажных камнях. И в бездонном молчании, слышимая только сердцем, звучит первозданная песнь.

— Бачь, море опять легло.

— А ты думав, воно так и буде стиной стоять? То с горы воно обманывало. А то як же ж бы по йому йиздиты?

— Эй, Гараська, теперь пропали твои чоботы, наскрозь промокнуть, як побредешь через море.

А Гараська весело шагает под винтовкой босиком.

Дружный смех катится по рядам, и задние, ничего не слышавшие и не знающие, в чем дело, весело регочут.

А мрачный голос:

— Все одно нам теперича никуды не вывернуться: отцеда вода, оттеда горы, а сзади — козаки. И рад свернуть, да некуды. При вперед, больше никаких!

Голова потянулась далеко по узкому берегу, скрылась за морской извилиной, середина бесконечно огибала город, а хвост все еще весело извивался по шоссе, спускавшемуся белыми петлями с хребта.

Немецкий комендант, пребывавший на броненосце, заметил непредусмотренное движение в чужом, но под его кайзеровскими пушками, городе, а это уже беспорядок: отдал распоряжение, чтобы неизвестные люди, обозы, солдаты, дети, женщины — все это, торопливо уходившее мимо города, чтобы немедленно остановилось и чтобы

сдали оружие, запасы, фураж, хлеб и ждали дальнейших распоряжений.

Но пыльная серая змея все так же поспешно уползала; все так же торопливо, иноходью трусили озабоченные коровы; ухватившись за повозки, мелькая ножонками, семенили ребятишки; взрослые молча нахлестывали вытягивавшихся лошадей, и от рядов шел густой, размашистый, дружный гул, отдававшийся в глубине; клубами всплывала ослепительно-белая пыль.

В этот нескончаемый поток с треском, с матерной руганью просоленных морскими ветрами голосов, ломая чужие оси и колеса, стал вливаться из города другой поток груженых повозок. На этих нескончаемых повозках виднелись кряжистые, плотно сбитые, проспиртованные фигуры матросов; синели на белых матросках отложные воротники, полоскались свешивавшиеся с круглых шапочек черно-желтые — полосками — ленточки. Больше тысячи повозок, бричек, дрожек, фаэтонов, колясок влилось в проползавшие обозы, а на них крашеные бабы и тысяч пять матросов, ругающихся самыми солеными матерными ругательствами.

Немецкий комендант подождал и не дождался остановки.

Тогда, вдруг разорвавши голубое спокойствие, ахнуло с броненосца, и пошло ломаться и грохотать по горам, ущельям, будто валились гигантские обломки. А через секунду отдалось в тридесятом царстве, за недвижимо потерявшейся голубой далью.

Над уползающей змеей загадочно и мягко родился белый клубочек, лопнул с тяжелым треском и, медленно относимый, стал таять.

Гнедой мерин, казавшийся ночью вороным,

неожиданно вскинулся на дыбы и с размаху грохнулся, ломая оглобли. Человек двадцать бросились к нему, ухватили кто за гриву, кто за хвост, за ноги, за уши, за челку, сразу сволокли с шоссе в канаву, опрокинули туда же и повозку, и громада обоза, ни на секунду не запнувшись, во всю ширину шоссе, повозка в повозку, неудержимо катилась вперед. Горпина и Анка с плачем выхватили, что попалось под руку, с опрокинутой повозки, рассовали по чужим и пошли пешком, а старик торопливо срезал дрожащими руками шлею и стаскивал хомут с мертвой лошади.

Второй раз с броненосца ослепительно блеснуло громадным языком, опять грохнуло в городе, покатилось в горах, через секунду глухо отозвалось за морской гладью; опять родился в сверкающей голубой высоте снежный комочек, в разных местах со стоном попадали люди, а на повозке, на руках у молодки, с черными бровями и серьгами в ушах, торопливо сосавший грудь ребенок обмяк, отвалились ручонки, и губки, холодея, раскрылись, выпустив сосок.

Она закричала диким, звериным голосом. К ней кинулись, она не давалась, злобно вырываясь и суя в холодеющий ротик грудь, из которой белыми каплями капало молоко. Маленькое личико с полузаведенными глазками погасало, наливаясь желтизной.

А змея все ползла, все ползла, огибая город. Высоко на перевале, под самым солнцем, показались люди, лошади. Они были крохотны, едва различимы — меньше ноготка. Что-то делали, отчаянно суетились около лошадей, а потом вдруг замерли.

И тотчас же там ахнуло раз за разом четыре раза и пошло ломаться и перекатываться по горам,

а внизу, по сторонам шоссе, в разных местах в воздухе стали торопливо рождаться белые комочки и лопаться сначала высоко, потом все ниже и ниже, все ближе к шоссе, и то там, то тут стали падать со стоном люди, лошади, коровы. Людей, не слушая их стонов, быстро клали на повозки, лошадей и скотину сволакивали в сторону, и змея ползла и ползла, не размыкаясь, — повозка в повозку.

Кайзеровский комендант обиделся. Женщин, детей он мог расстреливать — этого требовал порядок, но другие этого не смели делать без его, коменданта, разрешения. Длинный хобот орудия на броненосце поднялся и ахнул огромным языком. Высоко над голубой бездной, над обозом, над горами полетело, торопливо удаляясь: клы-клы-клы... и грохнуло там, у перевала, где были крохотные, с ноготок, люди, лошади, орудия. Люди там опять засуетились. Четырехорудийная батарея очередь за очередью стала посылать коменданту, и уже над «Гебеном» стали рождаться в голубом воздухе белые комочки. «Гебен» сердито замолчал. Из трубы его густо повалили громадные черные клубы. Угрюмо двинулся, медленно вышел из голубой бухты в густую синеву моря, повернулся, и...

...потрясающе взорвало море и небо. Морская синева померкла. Под ногами с нечеловеческой силой содрогнулось; мучительно отдалось в груди, в мозгу; в домах распахнулись окна, двери, и все на минуту оглохли.

У перевала, не пробиваемая солнцем, подымалась нечеловеческая громада, траурно-зеленоватая, медленно клубясь. И в ядовитых парах ее кучки уцелевших казаков озверело секли плетьми смертельно рвавшихся карьером в гору лошадей с оставшимся орудием и через минуту пропали за

гребнем. И все стояла зеленовато-траурная громада, медленно-медленно расплываясь.

От нечеловеческого сотрясения расселась земля, раскрылись могилы: по всем улицам появились мертвецы. Восковые, с черно-провалившимися ямами вместо глаз, в рваном вонючем белье, они тащились, ползли, шкандыбали, и все в одном направлении — к шоссе. Одни молча, сосредоточенно, не спуская глаз, мучительно передвигали ноги, другие размашисто перекидывали за костылями безногое тело, обгоняя идущих, третьи бежали, крича непонятными, хриплыми, срывающимися голосами.

И тоненько, как подстреленная птица, где-то стояло:

— Пи-ить... пи-ить... пи-и-ить, — тонко, как раненая птица над сухим голодным лугом.

Совсем молоденький, в рваном белье, сквозь которое желтеет тело, равнодушно переставляет мертвые ноги, глядя и не видя перед собой горячечными глазами:

— Пи-и-ить... пи-и-ить...

Сестра, с мальчишеской, наголо остриженной головой, с полинялым крестом на драном рукаве, босая, бежит за ним:

— Постой, Митя... Куда ты?.. Сейчас дам воды, чаю, постой же... Пойдемте назад... не звери же они.

— Пи-и-ить... пи-и-ить...

В обывательских домах торопливо закрываются окна, двери. С чердаков, из-за заборов стреляют в спины. А из лазаретов, из госпиталей, из частных домов все вылезают, вываливаются из окон, падают из верхних этажей и тянутся и ползут за уходящим обозом.

Вот и цементные заводы и шоссе... А по шоссе

уторопленно проходят коровы, лошади, собаки, люди, повозки, арбы, — уползает змеиный хвост.

Безногие, безрукие, с раздробленными, грязно обмотанными челюстями, с накрученными из кровавых тряпок чалмами на головах, с забинтованными животами, спешат, не спуская горячечных глаз с шоссе, а повозки все уходят, и у людей, шагающих возле повозок, лица замкнутые, нахмуренные, смотрят только перед собой. И стоит, не падая, умоляющее:

— Братцы!.. братцы!.. товарищи!..

Несутся отовсюду то охриплые, то срывающиеся голоса, то пронзительно-звонко слышно у самых гор:

— Товарищи, я — не тифозный, я — не тифозный, я — раненый, товарищи!..

— И я — не тифозный... товарищи!

— И я — не тифозный...

— И я...

— И я...

Уползают повозки.

Один ухватился за нагруженную доверху скарбом и детьми арбу и, держась обеими руками, прыгает на одной ноге. Седоусый хозяин арбы, с почернелым, выдубленным солнцем и ветром лицом, нагибается, хватает его за единственную ногу и всовывает в арбу на голову отчаянно завизжавших детей...

— Та цю! Схаменыся, дитей передушив! — кричит баба с сбившимся платком.

У безногого лицо счастливейшего в мире человека. А вдоль шоссе все идут и идут, спотыкаясь, падая, подымаясь или оставаясь белеть неподвижно на обочине.

— Рóдные мои, та всих бы забралы, як бы можно, та куды ж? Скильки своих раненых, а

йисты нэма чого, пропадете вы з нами, и жалко вас... — Бабы сморкаются и вытирают упрямо набегающие слезы.

Громадного роста солдат, с нахмуренным лицом и одной ногой, сосредоточенно глядя перед собой, далеко закидывает вперед костыли, потом сильное тело, без отдыху широко отмеривая шоссе, и приговаривает:

— Матть вашу так и так... так вас, разэтак!..

А обоз уходит и уходит. Последние колеса уже далеко подымают пыль, и слабо доносится постукивание железных осей. Город, бухта — позади. Только пустынное шоссе, а по нему, далеко растянувшись, медленно двигаются за скрывшимся обозом восковые мертвецы. Мало-помалу бессильно останавливаются, садятся и ложатся по обочине. И все одинаково тянутся померкшими глазами в ту сторону, где скрылась последняя повозка. Тихо садится тронутая закатом пыль.

А высокий безногий солдат все так же перекидывает костылями сильное тело по безлюдному шоссе и бормочет:

— Матть вашу так!! Кровь за вас проливали... Так вас и так!..

С противоположной стороны в город входят казаки.

X

Тянется усталая ночь, и, ни на минуту не прерывая шумящего, неутихающего движения, льется черный человеческий поток.

Уже изнеможенно бледнеют звезды. Проступают бурые, пустынно-сожженные горы, промоины, ущелья.

Светлеет и светлеет небо. Неизмеримо открывается непрерывно меняющееся море, то нежно-

фиолетовое или дымчато-белесоватое, то подернутое голубизной потонувшего в нем неба.

Верхи гор осветились. Осветились темные, бесчисленно колыхающиеся штыки.

По скалистым обрывам, надвинувшимся к самому шоссе,— виноградники; белеют дачи, пустые виллы. Изредка там стоят люди с лопатами, с кирками, в соломенных самоделковых шляпах, стоят, смотрят: мимо без конца, мотая руками, идут солдаты, и бесчисленно остро колышутся штыки.

Кто они? Откуда они? Куда так безостановочно идут, устало мотая руками? Желтые, как дубленая кожа, лица. Запыленные, изодранные. Черные круги вокруг глаз. Скрипят повозки, глухо постукивают усталые копыта. Выглядывают из повозок дети. Должно быть, без отдыху, и лошади опустили морды.

Опять вскидывают землю лопаты. Какое им дело!.. Но когда от усталости разгибают спины, по шоссе, послушно изгибаясь по извилинам берега, все идут и идут, и бесчисленно колышутся штыки.

А уж солнце куда выше гор, и земля наливается зноем, и на блеск моря больно смотреть. Час, два, пять — всё идут и идут. Люди стали шататься, лошади останавливаться.

— Чи вин с глузду зъихав, цей Кожух!

Всплывает матерная брань.

Кожуху доложили, что от его колонны оторвались присоединившиеся две колонны Смолокурова со своими обозами и заночевали в селении на пути и теперь между ними верст на десять свободное шоссе. Он сузил маленькие глазки, пряча не к месту насмешливые огоньки, и ничего не сказал. И всё шли и шли.

— Он нас загоняет,— глухо стало всплывать по колонне.

— А чево гонит: отседа море, отседа горы, кто нас тронет? А так и без казаков все с натуги пропадем. Вон уже пять лошадей бросили, не идут. И люди ложатся по обочинам.

— Чего вы смотрите на него! — кричат матросы, обвешанные револьверами, бомбами, пулеметными лентами, обходя двигавшиеся повозки, вмешиваясь в идущие ряды, — не видите, свое гнет. Али не он был офицером? Золотопогонщик и есть. Вот попомните: заведет он вас. Будете локотки кусать, да поздно.

Когда солнце сделало тени страшно короткими, остановились на четверть часа, напоили лошадей, напились взмокшие от пота люди и опять двинулись по раскаленному шоссе, тяжело передвигая свинцовые ноги, и струился обжигающий воздух. Невыносимо ослепительно сверкает море. И всё идут, и глухой ропот уже явственно и грозно расстраивает ряды. Некоторые командиры рот и батальонов заявили Кожуху, что выделят свои части на остановку и пойдут самостоятельно.

Кожух потемнел, ничего не ответил. Колонна все идет и идет.

Ночью остановились. В темноте на десятки верст вдоль шоссе заблистали костры. Рубили корявое, низкорослое, сухое, цепкое держидерево — в этой пустыне нет лесов, — растаскивали заборы в попадающихся дачах, выламывали рамы, вытаскивали мебель, жгли. Над огоньком кипели котелки с варевом.

Казалось, от нечеловеческой усталости все должны свалиться пластом и спать как убитые. Но озаренная кострами темнота красно шевелилась, была странно оживлена. Слышался говор, смех, звуки гармошки. Солдаты баловались, пихали друг друга на огонь. Уходили в обоз, играли с дивчата

ми. В котелках кипела каша. Огонь больших костров лизал черные ротные котлы. Редко дымили военные кухни.

Этот бесконечный табор, похоже, расположился надолго.

XI

Ночь, пока шла со всеми, была едина. А как только остановились, распалась на кусочки, и каждый кусочек жил по-своему.

Около небольшого огонька с висевшим над ним котелком, который вместе с другими вещами и с провизией успели выхватить из брошенной повозки, на корточках сидела растрепанная, похожая при красноватом освещении на ведьму баба Горпина. Возле на разостланном по земле суконном архалуке, несмотря на теплую ночь, прикрыв лицо углом, спал старик. Баба, сидя у огня, причитала:

— Як нэма ни чашки, ни ложки... И кадушечка осталась; кому вона достанеться? Така славна та крепка, кленовая. Чи буде у нас коняка, як тый Гнедко? Який бегучий — кнута николи не просив. Старик, иди снидать.

Из-под свиты хрипло:

— Нэ хочу.

— Та що ж ты робишь! Нэ исты, занедужишь, — що ж, тебе на руках нести тоди?

Старик молча лежит на земле с закрытым в темноте лицом.

Недалеко возле повозки на шоссе стройно белеет в темноте девичья фигура. И девичий голос:

— Та лышечко мое, та серденько, та отдай же! Нельзя ж так...

Бабы смутно белеют вокруг повозки, в несколько голосов:

— Та отдай же, треба похороныты андельскую душку. Господь его приме...

Молча стоят мужики.

А бабы:

— Сиськи набрякли, не удавишь.

Суют руки и пробуют выпятившиеся, не поддающиеся под пальцами груди. Простоволосая голова с блестящими в темноте, как у кошки, глазами наклоняется над выпукло белеющей из разорванной рубахи грудью, и привычные пальцы, перехватив сосок, нежно вкладывают в неподвижно открытый холодный ротик.

— Як каменная.

— Та уж смердить, нельзя стоять.

Мужичьи голоса:

— Та шо з ей балакаты, — узять, тай квит.

— Зараза. Як же ж так можно! Треба похороныты.

И двое мужиков, здоровые, сильные, берут ребенка, разжимают материнские руки. Темноту пронизывает исступленно-звериный визг, — слышно у костров, уходящих цепочкой вдоль шоссе; пронеслось над смутно невидимым морем, и в пустынных услышали горах, если кто там затаился. Повозка скрипит и качается от остервенелой борьбы.

— Куса-аться!..

— Та чертяка з ей — уси зубы у руку загнала.

Мужики отступаются. Опять, пригорюнясь, стоят бабы. Понемногу расходятся. Подходят другие. Щупают набрякшие груди.

— И вона помре, спеклося молоко.

А на повозке все так же сидит расхристанная, поминутно поворачивает во все стороны простово-

лосую голову, сторожко блестит сухим звериным глазом, каждую секунду готовая остервенело защищаться. В промежутках нежно кормит грудью окостенелый, холодный ротик.

Дрожат огни, далеко пропадая в темноте.

— Та сéрденько, та отдай же ёго, отдай, бо вин мертвый. А мы похороним, а ты поплачь. Чого ты не плачешь?

Девушка прижимает к груди эту растрепанную ведьмину голову с горящими в темноте волчьими глазами. А та говорит, заботливо отстраняя, говорит хриплым голосом:

— Тыхесенько, Анка, шш... вин спить, не баламуть ёго. От всю ночь спить, а пид утро будэ гуляты, пиджидае Степана. Як Степан прийдэ, зараз зачне пузыри пускаты, та ноженятки раскоряче, та гулюшки пускае. Ой, така мила дитына та понятлива, така разумна!..

И она тихонечко смеется милым сдавленным смешком.

— Тссс...

— Анка! Анка!.. — доносится от костра, — що ж ты не идешь вечеряты... Старик не ийде, и ты погибла... От, коза востроглаза... Усе засухарилось.

Бабы всё приходят, пощупают, поболезнуют и уходят. Или стоят, подперев подбородок и поддерживая локоток, смотрят. Смутно раскуривают люльки мужики, на секунду красновато озаряя заросшие лица.

— Треба за Степаном послаты, а то вин сгние у нэи на руках, черви заведуться.

— Та вже ж послалы.

— Микитка хромый побиг.

XII

Эти огни особенные. И говор особенный, и смех, и женские игривые взвизги, и густая матерная брань, и звон бутылок. То вдруг разом ударят несколько мандолин, гитар, балалаек, — целый оркестр зазвучит струнно-упруго, совсем не похоже на тьму, на цепочку огней во тьме. Неподвижны черные горы; невидимое море молчаливо, чтоб не мешать своей громадой.

И люди — особенные, крупные, широкоплечие, с уверенными движениями. Когда попадают в красно-колебающийся круг костра, — отъевшиеся, бронзовые, в черноболтающихся штанах клеш, в белых матросках, с низко открытой бронзовой шеей и грудью, и на спине с круглых шапочек болтаются ленточки. Ни одного слова, ни одного движения без матерной ругани.

Женщины, выхваченные из темноты мигающим отсветом костра, мелькают крикливыми пятнами. Смех, взвизги — любезные балуются. Подобрав цветные юбки, на корточках готовят на огне костров, подпевая подозрительно хриплыми голосами, а на четырехугольно белеющих на земле скатертях — коробки с икрой, сардины, шемая, бутылки вина, варенье, пироги, конфеты, мед. Этот табор далеко тянется во тьме гомоном, звоном, разухабистым смехом, бранью, перекликами, неожиданно стройными, струнно-звенящими звуками мандолин и балалаек. Или вдруг мощно заполнит темноту пьяный, но спевшийся, дружный хор, да оборвут: вот видели, мол, нас? всё можем. И опять то же — звон, смех, говор, взвизги, шуточная, любя, матерщина.

— Товарищи!

— Есть.

— Отдавай концы!

— Играй, растак вашего отца, прадеда до седьмого колена!..

— Ой, Камбуз! Браслетку оборвал... да ну тебя!.. Браслетка поте...

Голос перехватился.

— Товарищи, на каком мы тут основании?.. Али офицерские времена ворочаются?.. Почему Кожух распоряжается?.. Кто его в генералы производил? Товарищи — это эксплуатация трудового народа. Враги и эксплуататоры...

— Бей их, так-растак...

И дружно и стройно:

Сме-ло, то-вари-щи, в но-огу,
Ду-ухом окре-е-пне-ем в борьб-бе-е...

XIII

Он сидит, озаренный костром, охватив колени, и неподвижен. Из темноты за спиной выставилась в красно озаренный круг лошадиная голова. Мягкие губы торопливо подбирают брошенное на землю сено; звучно жует; большой черный глаз поблескивает умно и внимательно фиолетовым отливом.

— Та так, — говорит он, все так же задумчиво охватывая колени, не мигая глядит в этот шевелящийся огонь, рассказывает, — пригнали полторы тыщи матросов, собрали всех, кого захватили. Та и они дураки: мы на воде, наше дело морское, нас не тронуть. А их пригнали, поставили та и кажуть: «Ройте». А кругом пулеметы, два орудия, козаки с винтовками. Ну, энти, небоги, роють, кидають лопатами. Молодые всё, здоровые. На полугорье народу набилось. Бабы плачуть. Ахвицеры ходють

с левольверами. Которые нешвыдко лопатами кидають, стреляють ему у животи, щоб довго мучився. Энти роють соби, а которые с пулями у животи — ползають у крови вси, стогнуть. Народ вздыхает. Ахвицеры: «Мовчать, вы, сукины диты!»

Он рассказывает это, а все молча прислушиваются к тому, чего он не рассказывает, но что все откуда-то знают.

Стоят вокруг, красно освещенные, без шапок, опираясь о штыки; иные лежат на животе, слушают, и из темноты выступают лохматые, внимательные головы, подпертые кулаками. Старики — уткнув бороды. И бабы белеют, пригорюнившись. А когда огонь замирает, сидит только один, охватив колени; лошадиная голова на минуту опускается за спиной, подымается и звучно жует, черно блестит умный слушающий глаз. И кажется, кроме одного — никого, беспредельная темь. И перед глазами: степь, ветряки, и по степи вороной стелется, карьером доскакал и плюхнулся, как мешок кроваво порубанный. А за ним другой, соскочил, ухо к груди: «Сынку мий... сынку...»

Кто-нибудь подбросит на тлеющие угли корявое, сухое, цапастое держидерево. Закорежится, вспыхнет, отодвинет темноту, — и опять стоят, опираясь о штыки; уткнулись в бороду старые; бабы пригорюнились; озаренно проступают подпертые кулаками внимательные головы.

— Дуже дивчину мучилы, ой як мурдовалы. Козаки, цила сотня... один за одним сгнушались над ней, так и умерла пид ими. Сестрой у наших у госпитали була, стрижена, як хлопец, босиком все бигала, работница с заводу; конопата та ризва така. Не схотила тикать от раненых: никому присмотреть, никому воды подать. У тифу богато

лижало. Всих порубилы — тысяч с двадцать. Со второго этажа кидалы на мостовую. Ахвицеры, козаки с шашками по всиму городу шукалы, всих до одного умертвилы. Богато залило увись город.

И уже нет звездной ночи, нет чернеющих гор, а стоит: «Товарищи! товарищи!.. я — не тифозный, я — раненый...» — немеркнуще стоит перед глазами.

Опять темь, и над тьмой звезды, и он спокойно рассказывает, и все опять чувствуют то, о чем молчит: двенадцатилетнему сыну прикладом размозжили голову; старуху мать засекли плетьми; жену насиловали, сколько хотели, потом вздернули петлей на колодезный журавель, а двое маленьких неведомо куда пропали, — молчит, но все это откуда-то знают.

В странной связи стоит великое молчание в таинственной черноте гор, в заслоненном темнотой морском просторе — ни звука, ни огонька.

Мигает красный отсвет, колебля сузившийся круг темноты. Сидит озаренный человек, охватив колени. Звучно жует лошадь.

Да вдруг засмеялся молодой, который опирался о штык, и белые зубы розовато блеснули на безусом лице.

— У нашей станицы, як прийшлы с фронта козаки, зараз похваталы своих ахвицеров, тай геть у город к морю. А у городи вывелы на пристань, привязалы каменюки до шеи тай сталы спихивать с пристани в море. От булькнуть у воду, тай все ниже, ниже, все дочиста видать — вода сы-ыня та чиста, як слеза, — ей-бо. Я там был. До-овго идуть ко дну, тай все руками, ногами дрыг-дрыг, дрыг-дрыг, як раки хвостом.

Он опять засмеялся, показал белые, чуть подернутые краснотой зубы. Перед костром сидел чело-

век, охватив колени. Стояла красно мигающая темнота, а в темноте нарастала слушающая толпа.

— А як до дна дойдуть, аж в судорогах ущемляются друг с дружкой тай замруть клубком. Все дочиста видать, — вот чудно.

Прислушались: далеко-далеко, и мягко, и говоря о чем-то сердцу, плыли стройные струнные звуки.

— Матросня! — сказал кто-то.

— А у нашей станицы козаки ахвицеров у мешок заховалы. Сховають у мешок, увяжуть та айда у море.

— Як же ж-то можно людэй у мешках топить... — печально проговорил заветренный, степной голос, помолчал, и не видно, кто потом невесело сказал: — Мешкив дэ теперь достанешь, нэма, без мешкив в хозяйстве хочь плачь, — з России не везуть.

Опять молчание. Может быть, потому, что сидит перед костром человек, недвижимо охватив колени.

— В России совитска власть.

— У Москви-и!

— Та дэ мужик, там и власть.

— А до нас рабочие приизжалы, волю привезлы, совитов наробылы по станицам, землю казалы отбирать.

— Совесть привезлы, а буржуев геть.

— Та хиба ж не мужик зробыв рабочего? Бачь, скильки наших на цементном работае, а на маслобойном, на машинном, та скризь по городам на заводах.

Откуда-то слабо доносилось:

— Ой, мамо...

Потом младенец заплакал. Бабий голос угова-

ривал. Должно быть, на шоссе, в смутно чернеющих повозках.

Человек рознял колени, поднялся, по-прежнему красновато освещенный с одной стороны, дернул за холку опустившуюся было лошадиную голову, взнуздал, подобрал с земли в приторочненный мешок остатки сена, вскинул за плечи винтовку, вскочил в седло и разом потонул. Долго, удаляясь и слабея, цокали копыта и тоже погасли.

И опять чудилось: будто нет темноты, а бескрайно степь и ветряки, и от ветряков пошел топот, и тени косо и длинно погнались, а вдогонку: «Куды? Чи с глузду зъихав?.. назад!..» — «Та у него семейства там, а тут сын лежить...»

— Эй, вторая рота!..

Сразу опять темь, и далекой цепочкой горят огни.

— Пойихав до Кожуха докладать, — все чисто у козаков знае.

— Ой, скильки вин их поризав, и дитэй и баб!

— Та у него ж все козацкое — и черкеска, и газыри, и папаха. Козаки за свово приймають. «Какого полка?» — «Такого-то», — и йиде дальше; баба попадеться, шашкой голову снесе, малая дитына — кинжалом ткнэ. Дэ мисто припадэ, с-за скирды або с-за угла козака з винтовки рушить. Все дочиста у них знае, яки части, дэ скильки, все Кожуху докладае.

— Диты чим провинились, несмыслени? — вздохнула баба, опираясь горько на ладонь и поддерживая локоть.

— Эй, вторая рота, чи вам уши позатыкало!..

Кто лежал, не спеша поднялись, потянулись, зевнули и пошли. Звезды над горой высыпали новые. Возле котлов расселись по земле, стали хлебать варево.

Торопливо носят ложками из ротного котла, жгутся, а каждый спешит, чтоб не отстать от других. Во рту все сварилось, тряпки на языке и с неба свесились, и горло обожжено, больно глотать, и спешит, торопливо ныряя в дымящийся котел. Да вдруг цап с ложки — мясо поймал и в карман, после съест, и опять торопливо ныряет под завистливые искоса взгляды ныряющих ложками солдат.

XIV

Даже в темноте чувствовалось — шли толпой, буйной, шумной, и смутно белели. И говор шел с ними, возбужденный, не то обветренных, не то похмельных голосов, пересыпаемый неимоверно завертывающейся руганью. Те, что носили ложками из котелков, на минуту повернули головы.

— Матросня.

— Угомону на них нэма.

Подошли, и разом отборно посыпалось:

— Расперетак вас!.. Сидите тут — кашу жрете, а что революция гинет, вам начхать... Сволочи!.. Буржуи!..

— Та вы що лаетесь!.. брехуны!..

На них косо глядят, но они с ног до головы обвешаны револьверами, пулеметными лентами, бомбами.

— Куды вас ведет Кожух?! подумали?.. Мы революцию подымали... Вон весь флот ко дну пустили, не посмотрели на Москву. Большевики там шуры-муры с Вильгельмом завели, а мы никогда не потерпим предательства интересов народных. Ежели интересы народа пренебрег — на месте! Кто такой Кожух? Офицер. А вы — бараны. Идете, уткнув лбами. Эх, безрогие!..

Из-за костра, на котором чернел ротный котел, голос:

— Та вы со шкурами до нас присталы. Цилый бардак везетэ!

— А вам чево?! Завидно?.. Не суй носа в чужую дверь: оттяпают. Мы свою жизнь заслужили. Кто подымал революцию? Матросы. Кого царь расстреливал, топил, привязывал к канатам? Матросов. Кто с заграницы привозил литературу? Матросы. Кто бил буржуев и попов? Матросы. Вы глаза только продираете, а матросы кровь свою лили в борьбе. А как мы свою революционную кровь лили, вы же нас пороли царскими штыками. Сволочи! Куда вы годитесь, туды вас растуды!

Несколько солдат отложили деревянные ложки, взяли винтовки, поднялись, и темнота разом налилась, а костры куда-то провалились.

— Хлопцы, бери их!..

Винтовки легли на изготовку.

Матросы вынули револьверы, другой рукой торопливо отстегивали бомбы.

Седоусый украинец, проведший всю империалистическую войну на западном фронте, бесстрашием и хладнокровием заслуживший унтера, в начале революции перебивший в своей роте офицеров, забрал губами горячую кашу, постучал ложкой, отряхая о край котелка, вытер усы.

— Як петухи: ко-ко-ко-ко! Що ж вы не кукарекаете?

Кругом засмеялись.

— Та що ж воны глумляються! — сердито повернулись к седоусому хлопцы.

Сразу стали видны далеко уходящие костры.

Матросы засовывали револьверы в кобуры, пристегивали бомбы.

— Да нам начхать на вас, так вас растак!..

И пошли такой же шумной, взбудораженной ватагой, смутно белея в темноте, потом потонули, и уходила цепочка огней.

Ушли, но что-то от них осталось.

— Бочонкив с вином у их дуже богато.

— У козаков награбилы.

— Як награбилы? За усэ платилы.

— Та у них грошей — хочь купайся.

— Вси корабли обобралы.

— Та, що ж, пропадать грошам треба, як корабли потопли? Кому от того прибыль?

— К нам у станицу як прийшлы, зараз буржуазов всих дочиста пид самый пид корень тай бедноти распределилы, а буржуазов разогналы, ково пристрелилы, ково на дерево вздернулы.

— У нас поп, — торопливо, чтобы не перебили, отозвался веселый голос, — тильки вин с паперти, а воны его трах! — и свалывся поп. Довго лижав коло церкви, аж смердить зачав, — нихто не убирае.

И веселый голос весело и поспешно засмеялся, точно и тут боялся, чтоб не перебили. И все засмеялись.

— О, бачь — звезда покатылась.

Все прислушались: оттуда, где никого не было, где была ночная неизмеримая пустыня, принесся звук, или всплеск, или далекий неведомый голос, принесся с невидимого моря.

Подержалось молчание.

— Та воны правду говорять, матросы. Ось хочь бы мы: чого мы блукаем? Жили соби, у кажного було и хлиб и скотина, а теперь...

— Та правду ж и я говорю: пийшлы за ахвицером неположенного шукаты...

— Який вин ахвицер? Такий же, як и мы с тобою.

— А почему совитска власть подмоги ниякой не дае? Сидять соби у Москви, грають, а нам хлебать, що воны заварылы.

Далеко где-то у слабо горевших костров слышались ослабленные расстоянием голоса, шум — матросы бушевали, — так и шли от костра к костру, от части к части.

XV

Ночь начала одолевать. В разных местах стали гаснуть костры, пока совсем не пропала золотая цепочка — всюду черный бархат да тишина. Нет голосов. Только одно наполняет темноту — звучно жуют лошади.

Кто-то темный торопливо пробирается среди черных неподвижных повозок, а где возможно, бежит сбоку шоссе, перепрыгивая через спящие фигуры. За ним с трудом поспевает другой, такой же неузнаваемо черный, припадая на одну ногу. Возле повозок кто-нибудь проснется, подымет голову, проводит в темноте быстро удаляющиеся фигуры.

— Чого им туточка треба? Хто такие? Або шпиёны...

Надо бы встать, задержать, да уж очень сон долит, и опускается голова.

Все та же черная ночь, тишина, а те двое бегут и бегут, перепрыгивая, продираясь, когда тесно, и лошади, сторожко поводя ушами, перестают жевать, прислушиваются.

Далеко впереди и справа, должно быть, под чернеющими горами, выстрел. Одиноко и ненужно, в виду этого покоя, мирного звука жующих лошадей, в виду пустынности, отпечатался в темноте, и

уже опять тишина, а этот неслышный отпечаток все еще чудился, не растаял. Двое побежали еще быстрей.

Раз, раз, раз!.. Все там же справа под горами. Даже среди темноты различишь, как густо чернеет разинутая пасть ущелья. Да вдруг пулемет, сам за собой не поспевая: та-та-та!.. и еще немного, договаривая недосказанное: та... та!

Подымается, чернея, одна голова, другая. Кто-то сел. Один торопливо встал и, не попадая, стал нащупывать в составленных пирамидой винтовках свою. Да так и не нащупал.

— Эй, Грицько, слышь... Та слышь ты!

— Отчепысь!

— Та слышь ты, — козаки!

— Фу-у, бисова душа... а то в зубы дам!.. ей-бо, дам...

Тот покрутил головой, поскреб поясницу, зад, потом подошел к разостланной по земле шинели, лег, подвигал плечами, чтоб ладнее лежать...

...та-та-та...

...раз!.. раз!.. раз!..

Тоненькие, как булавочные уколы, рождаются на мгновение огоньки в разинутой темноте ущелья.

— А, матть их суку! спокою нэма. Тильки люди прийшлы с устатку, а они на! як собаки. Нехай же вам у животи такое скорежится! Анахвемы! Ну, бейся, як умиешь — до упаду, со злом, аж зубами грызи, а як на спокой люды полягалы, не трожь, все одно — ничего не зробите, так тильки патроны потратите, и квит! — а людям отдыху нэма.

Через минуту в звучное мерное лошадиное жевание вплетается звук еще одного сонного человеческого дыхания.

XVI

Тот, что бежал впереди, переводя дух, сказал:

— Та дэ ж воны?

А другой тоже на бегу:

— Туточки. Аккурат дерево, а воны на шаше, — и закричал: — Ба-бо Горпино-о!

А из темноты:

— Що?

— Чи вы тут?

— Та тут.

— Дэ повозка?

— Та тут же, дэ стоитé, вправо через канаву.

И сейчас же в темноте голос воркующей горлинки, вдруг зазвеневший слезами:

— Степане!.. Степане! ёго вже нэма...

Она протянула, покорно отдавая. Он взял завернутый, странно холодный, подвижной, как студень, комочек, от которого, поражая, шел тяжелый дух. Она прижала голову к его груди, и темнота вдруг засветилась звенящими, хватающими слезами, невозвратными слезами.

— Его вже нэма, Степане...

А бабы тут как тут, — на них ни устали, ни сна. Мутно проступают вокруг повозки, крестятся, вздыхают, подают советы.

— Перший раз заплакала.

— Легше буде.

— Треба молоко отсосаты, а то у голову вдарить.

Бабы наперебой щупают набрякшие груди.

— Як камень.

Потом, крестясь, шепча молитвы, прижимаются губами к ее соскам, сосут, молитвенно сплевывают на три стороны, закрещивая.

Рыли во тьме среди цепких низкоросло-колючих кустов держидерева, в темноте бросали лопатами землю. Потом что-то завернутое положили, потом заровняли.

— Его вже нэма, Степане...

Смутно видно, как чернеющий в темноте человек обхватил обеими руками колючее дерево, засопел носом, сдавленно, не то икая, не то гыгыкая, как мальчишки, когда давят друг из друга масло. А горлинка обвила шею руками.

— Степане!.. Степане!.. Степане!..

И опять засветились звенящие в темноте слезы:

— Нэма ёго... нэма, нэма, Степане!..

XVII

Ночь одолела. Ни огонька, ни говора. Лишь звук жующих лошадей. А потом и лошади перестали. Некоторые легли; заря скоро.

Вдоль молчаливых черных гор немо чернеет бесконечно протянувшийся лагерь.

Только в одном месте сеявшая неодолимую предутреннюю дремоту ночная темнота не могла одолеть: сквозь деревья спящего сада виднеется огонек — кто-то не спит за всех.

В громадной столовой, отделанной под дуб, с проткнутыми и разорванными по стенам дорогими картинами, в слабом озарении приклеенной восковой свечи видны наваленные по углам седла, составленные пирамиды винтовок; солдаты в мертвых странных позах храпят на разостланных по полу дорогих, с окон, занавесях и портьерах, и стоит тяжелый потный человечий и лошадиный дух.

Узко и черно смотрит в дверях пулемет.

Нагнувшись над великолепным дубовым резным столом, длинной громадой протянувшимся посреди столовой, Кожух вцепился маленькими глазками, от которых не вывернешься, в разостланную на столе карту. Мерцает церковный огарок, капая стынущим воском, и живые тени торопливо шевелятся по полу, по стенам, по лицам.

Над синим морем, над хребтами, похожими на лохматых сороконожек, наклоняется адъютант, вглядываясь.

Стоит в ожидании ординарец с подсумком, с винтовкой за спиной, с шашкой сбоку, и на нем все шевелится от шевелящихся теней.

Огарок на минутку замирает, и тогда все неподвижно.

— Вот, — тычет адъютант в сороконожку, — с этого ущелья еще могут насесть.

— Сюда не прорвутся — хребет стал высокий, непереходимый, и им с той стороны до нас не добраться.

Адъютант капнул себе на руку горячим воском.

— Только бы дойти нам до этого поворота, там уж не долезут. Идтить треба з усией силы.

— Жрать нечего.

— Все одно, стоять — хлеба не родим. Ходу — одно спасение. За командирами послано?

— Зараз вси придуть, — шевельнулся ординарец, и лицо его, шея быстро заиграла мерцающими тенями.

Только в громадных окнах неподвижно чернела ночная чернота.

Та-та-та-та... — где-то далеко перекликнется в чернеющих ущельях, и опять ночь наливается угрозой.

Тяжелые шаги по ступеням, по веранде, потом в

столовой; казалось, несут эту угрозу или известие о ней. Даже скудно мерцающий огарок озарил, как густо запылены вошедшие командиры, и от усталости, от жары, от непрерывного похода все на лицах у них высовывалось углами.

— Що там? — спросил Кожух.

— Прогнали.

В громадной, едва озаренной столовой было смутно, неясно.

— Да им взяться нечем, — сказал другой заветренным, сиповатым голосом. — Кабы орудия имели, а то один пулемет вьюком.

Кожух окаменел, надвинул на глаза ровный обрез лба, и все поняли — не в нападении казаков дело.

Сгрудились около стола, кто курил, кто жевал корку, кто, не вникая, устало глядел на карту, так же смутно и неясно расстилавшуюся на столе.

Кожух процедил сквозь зубы:

— Приказы не сполняете.

Разом зашевелились мигающие тени по усталым лицам, по запыленным шеям; столовая наполнилась резкими, привыкшими к приказаниям на открытом воздухе голосами:

— Загнали солдат...

— Та у меня часть, не подымешь-ее теперь...

— А у меня, как пришли, завалились и костров не разводили, как мертвые.

— Разве мыслимо идти такими переходами, — этак и армию погубить невдолге...

— Плевое дело...

Лицо Кожуха неподвижно. Из-под насунутого черепа маленькие глаза не глядели, а ждали, прислушиваясь. В громадно распахнутых окнах неподвижная чернота, а за ней ночь, полная усталости, задремавшего тревожного напряжения. Выстрелов

со стороны ущелья не слышно. Чувствовалось, что там темнота еще гуще.

— Я, во всяком случае, не намерен рисковать своей частью! — гаркнул полковник, как будто скомандовал. — На мне моральная ответственность за жизнь, здоровье, судьбу вверенных мне людей.

— Совершенно верно, — сказал бригадный, выделяясь своей фигурой, уверенностью, привычкой отдавать приказания.

Он был офицер армии и теперь чувствовал — настал наконец момент проявить всю силу, все заложенное в нем дарование, которое так неразумно, нерасчетливо держали под спудом заправилы царской армии...

— ...совершенно верно. К тому же план похода совершенно не разработан. Расположение частей должно быть совсем иное: нас каждую минуту могут перерезать.

— Да приведись до меня, — запальчиво подхватил стройно и тонко перетянутый в черкеске с серебряным кинжалом наискосок у пояса, в лихо заломленной папахе командир кубанской сотни, — приведись до меня, будь я от козаков, зараз налетел бы з ущелья, черк! — и орудия нэма, поминай, как звали.

— Наконец, ни диспозиций, ни приказов, — что же мы — орда или банда?

Кожух медленно сказал:

— Чи я командующий, чи вы?

И это нестираемо отпечаталось в громадной комнате, — маленькие тонко-колючие глазки Кожуха ждали, — только нет, не ответа ждали.

И опять зашевелились тени, меняя лица, выражения.

И опять заветренные, излишне громкие в комнате голоса:

— На нас, командирах, тоже лежит ответственность — и не меньшая.

— Даже в царское время с офицерами совещались в трудные моменты, а теперь революция.

А за словами стояло:

«Ты прост, приземист, нескладно скроен, земляной человек, не понимаешь, да и не можешь понять всей сложности положения. Дослужился до чина на фронте. А на фронте, за убылью настоящих офицеров, хоть мерина произведут. Массы поставили тебя, но массы ведь слепы...»

Так говорили глазами, выражением лица, всей своей фигурой бывшие офицеры армии. А командиры — бондари, столяры, лудильщики, парикмахеры — говорили:

«Ты из нашего же брата, а чем ты лучше нас? Почему ты, а не мы? Мы еще лучше тебя управимся с делом...»

Кожух слушал и тот и другой разговор, и словами и за словами, и с все так же сощуренными глазками прислушивался к темноте за окнами — ждал.

И дождался.

Среди ночи где-то далеко родился слабый глухой звук. Больше и больше, яснее и яснее; медленно, все нарастая, глухо, тяжело и неуклюже наполнилась ночь отдававшимся шагом шедших во мраке. Вот шаги докатились до ступеней, на минуту потеряли ритм, расстроились и стали вразбивку, как попало, подыматься на веранду, залили ее, и в смутно озаренную столовую через широко распахнутые, черно глядевшие двери непрерывным потоком полились солдаты. Они все больше и больше наполняли столовую, пока не залили ее всю. Их с трудом можно было разглядеть, чувствовалось только — было их много и все одинаковы. Коман-

диры сгрудились у того конца стола, где разостлана карта. С трудом мерцает огарок.

Солдаты в полумгле откашливаются, сморкаются, сплевывают на пол, затирают ногой, курят цигарки, вонючий дым невидимо расползается над смутной толпой.

— Товарищи!..

Громадная комната, полная людей и полутьмы, наливалась тишиной.

— Товарищи!..

Кожух с усилием протискивал сквозь зубы слова:

— Вы, товарищи представители рот, и вы, товарищи командиры, щоб вы знали, в яком мы положении. Сзади город и порт заняты козаками. Красных солдат там оставалось раненых и больных двадцать тысяч, и все двадцать тысяч истреблены козаками по приказанию офицеров; то же готовят и нам. Козаки наседают на наш арьергард в третьей колонне. С правой стороны у нас море, с левой — горы. Промежду ними — диря, мы в дире. Козаки бегут за горами, в ущельях прорываются до нас, а нам отбиваться кажную минуту. Так и будут наседать, пока не уйдем до того миста, где хребет поворачивает от моря, — там горы высоко и широко разляглысь, козакам до нас не добраться. Так дойтить нам коло моря до Туапсе, от сего миста триста верст. Там через горы проведено шоссе, по нем и перевалим опять на Кубань, а там — наши главные силы, наше спасение. Надо идтить з усией силы. Провианту у нас тильки на пять дней, вси подохнем с голоду. Идтить, идтить, идтить, бежать, бегом бежать, ни спаты, ни питы, ни исты, тильки бежать з усией силы — в этом спасение, и пробивать дорогу, колы хтось загородить!..

Он замолчал, не обращая ни на кого внимания.

Стояла тишина в комнате, наполненной людьми и последними тенями догорающего огарка; стояла такая же тишина в громаде ночи за черными окнами и над громадой невидимого и неслышимого моря.

Сотня глаз невидимым, но чувствуемым блеском освещала Кожуха. И опять сквозь стиснутые зубы белела у него слегка пузырившаяся слюна.

— Хлеба и фуража по дороге нэмае, треба бигты бегом до выхода на равнину.

Он опять замолчал, опустив глаза, потом сказал, протискивая:

— Выбирайте соби другого командующего, я слагаю командование.

Огарок догорел, и покрыла ровная темь. Осталась только неподвижная тишина.

— Нету, что ли, больше свечки?

— Есть, — сказал адъютант, чиркая спички, которые то вспыхивали, и тогда выступала сотня глаз, так же неподвижно, не отрываясь, смотревших на Кожуха, то гасли — и все мгновенно тонуло. Наконец тоненькая восковая свечка затеплилась, и это как будто развязало: заговорили, задвигались, опять стали откашливаться, сморкаться, харкать, растирать ногой, оглядываясь друг на друга.

— Товарищ Кожух, — заговорил бригадный голосом, которым как будто никогда не командовал, — мы все понимаем, какие трудности, огромные препятствия у нас на пути. Сзади — гибель, но и спереди гибель, если мы задержимся. Необходимо идти с наивозможной быстротой. И только вы вашей энергией и находчивостью сможете вывести армию. Это, надеюсь, и мнение всех моих товарищей.

— Верно!.. правильно!.. просим!.. — поспешно откликнулись все командиры.

Сотня блестящих в полутьме солдатских глаз так же упорно смотрела на Кожуха.

— Як же вам отказуваться, — сказал командир конного отряда, убедительно сдвигая папаху на самый затылок, так что она почти сваливалась, — як вас выбрала громада.

Блестящими глазами, молча, смотрели солдаты.

Кожух глянул непримиримо из-под все так же насунутого черепа.

— Добре, товарищи. Ставлю одно непременное условие, подпишитесь: хочь трошки неисполнение приказания — расстрел. Подпишитесь.

— Так что ж, мы...

— Да зачем?..

— Да отчего не подписаться...

— Мы и так всегда... — на разные голоса замялись командиры.

— Хлопцы! — железно стискивая челюсти, сказал Кожух, — хлопцы, як вы мозгуете?

— Смерть! — грянула сотня голосов и не поместилась в столовой, — гаркнуло за распахнутыми черными окнами, только никто там не слыхал.

— К расстрелу!.. Мать его так... Хиба ж ему у зубы смотреть, як вин не сполняе приказания... Бей их!

Солдаты, точно обруч расскочился, опять зашевелились, поворачиваясь друг к другу, размахивая руками, сморкаясь, толкая один другого, торопливо докуривая и задавливая ногами цигарки.

Кожух, сжимая челюсти, сказал, втискивая в мозги:

— Кажный, хтось нарушит дисциплину, хочь командир, хочь рядовой, подлежит расстрелу.

— К расстрелу!.. расстрелять сукиных сынов, хочь командир, хочь солдат, одинаково!.. — опять с азартом гаркнула громадная столовая, и опять тес-

но, — не поместились голоса и вырвались в темноту.

— Добре. Товарищ Иванько, пишите бумажку, нехай подписуются командиры: за самое малое неисполнение приказа али за рассуждение — к расстрелу без суда.

Адъютант достал из кармана обрывок бумажки и, примостившись у самого огарка, стал писать.

— А вы, товарищи, по местам. Объявите в ротах о постановлении: дисциплина — железная, пощады никому...

Солдаты, толпясь, толкаясь и приканчивая цигарки, стали вываливаться на веранду, потом в сад, и голосами их все дальше и дальше оживала темнота.

Над морем стало белеть.

Командиры вдруг почувствовали — с них свалилась тяжесть, все определилось, стало простым, ясным и точным; перекидывались шутками, смеялись, по очереди подходили, подписывались под смертным приговором.

Кожух, с все так же ровно надвинутым на глаза черепом, коротко отдавал приказания, как будто то, что сейчас происходило, не имело никакого отношения к тому важному и большому, что он призван делать.

— Товарищ Востротин, возьмите роту и...

Послышался топот скачущей лошади и прервался у веранды. Слышно, как лошадь — должно быть, ее привязывали — фыркала и громко встряхивалась, звеня стременами.

В смутной мерцающей полумгле показался кубанец в папахе.

— Товарищ Кожух, — проговорил он, — вторая и третья колонны остановились на ночлег в десяти верстах сзади. Командующий приказывает,

щоб вы дожидались, як их колонны пидтянутся до вас, щоб вмистях идтить...

Кожух глядел на него неподвижно-каменными чертами.

— Ще?

— Матросы ходють кучками по солдатам, по обозам, горлопанят, сбивають, щоб не слухали командиров, щоб сами солдаты командували; кажуть, треба убить Кожуха...

— Ще?

— Козаки выбиты из ущелья. Наши стрелки пиднялись по ущелью, погналы их на ту сторону, теперь тихо. Наших трое ранены, один убитый.

Кожух помолчал.

— Добре. Иды.

А уж в столовой стали яснее и лица и стены. В раме картины тронулось синевой чудесно сотворенное кистью море; в раме окна чуть тронулось чудесное засиневшее живое море.

— Товарищи командиры, через час выступить всем частям. Идтить наискорейше. Останавливаться тильки, щоб людям напиться и лошадей напоить. В кажном ущелье выставлять цепь стрелков с пулеметом. Не давать частям отрываться одна от другой. Наистрого следить, щоб жителей не обиждали. Доносить мне наичаще верховыми о состоянии частей!..

— Слушаем! — загудели командиры.

— Вы, товарищ Востротин, выведите вашу роту в тыл, отрежьте матросов и не допускайте идтить с нами, нехай с тими колоннами идуть.

— Слухаю.

— Захватите пулеметы и, колы що — строчите по них.

— Слухаю.

Командиры гурьбой пошли к выходу.

Кожух стал диктовать адъютанту, кого из них совсем отставить от командования, кого переместить, кому дать высшее назначение.

Потом адъютант сложил карту и вышел вместе с Кожухом.

В громадной опустелой комнате с заплеванным, в окурках, полом забыто мигал, краснея, огарок и стояла тишина и тяжелый после людей дух, и дерево под светильней начинало чернеть и коробиться и легонько дымиться. Ни винтовок ни седел уже не было.

В громадно распахнутых дверях тонко курилось предутренним синеватым куревом море.

Вдоль берега, вдоль гор, далеко впереди и назади, как горох, сыпались барабаны, будя. Где-то заиграли трубы, точно странное гоготание стаи медных лебедей, и медь отозвалась под горами, и в ущельях, и у берега и умерла на море, потому что оно открылось бсзбрежно. Над только что брошенной чудесной виллой подымался громадный столб дыма, — забытый огарок не зевал.

XVIII

Вторая и третья колонны, шедшие за колонной Кожуха, далеко отстали. Никто не хотел напрягаться — жара, усталость. Рано становились на ночлег, поздно выступали утром. Пусто белевший простор по шоссе между головной и задними колоннами становился все больше и больше.

Когда останавливались на ночлег, лагерь точно так же протягивался на много верст вдоль шоссе между горами и берегом. Точно так же запыленные, усталые, заморенные зноем люди, как только дорывались до отдыха, весело раскладывали

костры; слышался смех, шутки, говор, гармоника; разливались милые украинские песни, то ласковые, задушевные, то грозные и гневные, как история этого народа.

Точно так же между кострами ходили увешанные бомбами, револьверами прогнанные из первой колонны матросы, площадно ругаясь, говорили:

— Бараны вы, ай кто? За кем идете? За золотопогонщиком царской службы. Кто такой Кожух? Царю служил? Служил, а теперь в большевики переделался. А вы знаете, кто такие большевики? Из Германии в запломбированных их привезли на разведку, а в России дураков нашлось, лезут за ними, как из квашни опара. А вы знаете, у них тайное соглашение с Вильгельмом? А-а, то-то, бараны стоеросовые! Россию губите, народ губите. Нет, мы, социалисты-революционеры, ни на что не посмотрели: нам большевистское правительство из Москвы распоряжение — выдать немцам флот. А мы его потопили, на-кось, выкуси! Ишь чего захотели... Вы вот, шпана, стадо, ничего не знаете, идете, нагнув голову. А у них тайное соглашение. Большевики продали Вильгельму Россию со всей требухой; цельный поезд золота из Германии получили. Сволочь вы шелудивая, так вас, разэтак!

— Так вы чого лаетесь, як псы! Подите вы вон пид такую мать...

Солдаты ругались, но когда матросы уходили, начинали по их следам:

— Та що ж, що правда, то правда... Матросня хочь брехливый народ, а правду говорять. Чого ж балшевики нам не помогають? Козаки навалились, чого ж з Москвы подмоги не шлють — об себе тильки думають.

Из чернеющего даже среди темноты ущелья точно так же послышались выстрелы, и в разных

местах на секунду вспыхивали и гасли огоньки, немножко потрещал пулемет, и лагерь медленно и громадно стал погружаться в тишину и покой.

И точно так же в пустой даче, выходившей верандой на невидимое море, собрался командный состав обеих колонн. Не открывали собрания, пока верховой во весь опор не прискакал и не подал стеариновых свечей, добытых на поселке. Так же на обеденном столе разостлана карта, паркетный пол в окурках, на стенах сиротливо и разорвано дорогие картины.

Смолокуров, громадный, чернобородый, добродушный, не знающий, куда девать физическую силу, сидит в белой матроске, расставив ноги, прихлебывает чай. Командиры частей кругом.

По тому, как курили, перебрасывались, давили ногой папиросы, чувствовалось — не знали, с чего начать.

И точно так же каждый из собравшихся считал себя призванным спасти эту громадную массу, вывести ее.

Куда?

Положение смутное, неопределенное. Что ждет впереди? Одно знали: сзади — гибель.

— Нам необходимо выбрать общего начальника над всеми тремя колоннами, — сказал один из командиров.

— Верно!.. правильно! — загудели.

Каждый хотел сказать:

«Разумеется, меня выбрать», — и не мог сказать.

А так как все этого хотели, то молчали, не глядя друг на друга, и курили.

— Надо ж в конце концов что-нибудь делать, надо же кого-нибудь выбирать. Я Смолокурова предлагаю.

— Смолокурова!.. Смолокурова!..

Вдруг из неопределенности был найден выход. Каждый думал: «Смолокуров — отличный товарищ, рубаха-парень, беззаветно предан революции: голосище у него за версту, уж больно хорошо на митингах ревет, а на этом деле голову свернет, тогда... тогда, конечно, ко мне обратятся...»

И все опять дружно закричали:

— Смолокурова!.. Смолокурова!..

Смолокуров растерянно развел громадными руками.

— Да я, что ж... я... сами знаете, я по морской части, там хоть дредноут сверну, а тут сухопутье.

— Смолокурова!.. Смолокурова!..

— Ну да что, я... хорошо... возьмусь, только помогайте вы все, братцы, а то что ж это выходит, я — один... Ну, хорошо. Завтра выступать — пишите приказ.

Все отлично знали, пиши не пиши приказы, а больше делать нечего, как волочиться дальше, — не стоять же на месте и не идти назад к казакам, на гибель. И все понимали, что и им делать нечего, разве только дожидаться, когда Смолокуров запутается и своими распоряжениями свернет себе шею. Да и свернуть-то нечем — тащись и тащись за Кожуховой колонной.

И кто-то сказал:

— Кожуху надо приказ послать — выбран новый командующий.

— Да ему все одно, он свое будет, — загудели кругом.

Смолокуров треснул кулаком, и под картой застонали доски стола.

— Я заставлю подчиниться, я ззаставлю! Он и к городу ушел с своей колонной, позорно бежал. Он должен был остаться и биться, чтобы с честью лечь костьми.

Все на него смотрели. Он поднялся во весь свой громадный рост, и не столько слова, сколько могучая фигура с красиво протянутой рукой были убедительны. Вдруг почувствовали — выход найден: кругом виноват Кожух. Он бежит вперед, не дает никому проявить себя, использовать вложенные в нем силы, и все напряжение, все внимание нужно на борьбу с ним.

Закипела работа. К Кожуху поскакал, догоняя среди ночи, ординарец. Сорганизовали штаб. Извлекли машинки, составили канцелярию, заработала машина.

Стали выстукивать на машинках обращение к солдатам с целью их воспитания и организации:

«Мы, солдаты, не боимся врага...»

«Помните, товарищи, что нашей армии трудности нипочем...»

Эти приказы размножались, читались в ротах, эскадронах. Солдаты слушали неподвижно, не сводя глаз, потом с большими усилиями, всякими хитростями, иногда с дракой доставали приказ, расправляли на колене, свертывали собачью ножку и закуривали.

Кожуху тоже посылали приказы, но он каждый день уходил все дальше и дальше и все больше пустым пространством ложилось между ними безлюдное шоссе. И это раздражало.

— Товарищ Смолокуров, Кожух вас в грош не ставит, прет себе и прет, — говорили командиры, — и в ус не дует на все ваши приказы.

— Да что вы с ним поделаете, — добродушно смеялся Смолокуров, — я что ж, я по сухопутному не могу, я по морской части...

— Да вы ж командующий всей армией, вас же ведь выбрали, а Кожух — ваш подчиненный.

Смолокуров с минуту молчит, потом вся его громадная фигура наливается гневом:

— Хорошо, я его сокращу!.. Я ссокращу!..

— Что же мы плетемся у него в хвосте! Нам необходимо самим выработать план, наш собственный план. Он хочет берегом дойти до перевальной шоссейной дороги, которая от моря через горы в кубанские степи идет, а мы двинемся сейчас вот отсюда, через хребет, через Дофиновку, — тут старая дорога через горы, и будет короче.

— Послать немедленно приказ Кожуху, — загремел Смолокуров, — чтобы ни с места с своей колонной, а самому немедленно явиться сюда на совещание! Движение армии пойдет отсюда через горы. Если не остановится, прикажу артиллерией разгромить его колонну.

Кожух не явился и уходил все дальше и дальше и был недосягаем.

Смолокуров приказал сворачивать армии в горы. Тогда его начальник штаба, бывший в академии и учитывавший положение, когда не было командиров, при которых Смолокуров становился на дыбы, осторожно — Смолокуров был невероятно упрям — сказал:

— Если мы пойдем тут через хребет, потеряем в невылазных горах все обозы, беженцев и, главное, всю артиллерию, — ведь тут тропа, а не дорога, а Кожух правильно поступает: идет до того места, где через хребет шоссе. Без артиллерии казаки нас голыми руками заберут, да к тому же разобьют по частям — отдельно Кожуха, отдельно нас.

Хоть это было ясно, но не это было убедительно. Было убедительно то, что начальник штаба говорил очень осторожно и предупредительно по

отношению к Смолокурову, что за начальником — военная академия и что он этим не кичится.

— Отдать распоряжение двигаться дальше по шоссе, — нахмурился Смолокуров.

И опять шумными, беспорядочными толпами потекли солдаты, беженцы, обозы.

XIX

Как всегда, в Кожуховой колонне, остановившейся на ночлег среди темноты, вместо сна и отдыха — говор, балалайки, гармоники, девичий смех. Или, заполняя ночь и делая ее живой, разольются стройные, налаженные голоса, полные молодой упругости, тайного смысла, расширяющей силы.

Ре-вуть, сто-гиуть го-ры хви-и-ли
В си-ие-сеиь-ким мо-о-ри...
Пла-чуть, ту-жать ко-за-чеиь-ки
В ту-рец-кий ие-во-о-ли...

То вздымаясь, то опускаясь. И не море ли мерно подымается и опускается волнами молодых голосов? И не в темноте ли ночи разлилась нудьга, — тужать козаченьки, тужать молодые. И не про них ли, не они ли вырвались из неволи офицерья, генералов, буржуев, и не они ли идут биться за волю? И не печаль ли разлилась, печаль-радость в живой, переполненной напряжением темноте?

В си-ие-сеиь-ким мо-о-ри...

А море тут же, внизу, под ногами, но молчит и невидимо.

И, сливаясь с этой радостью-печалью, тонко зазолотились края гор. От этого еще чернее, еще

траурнее стоят их громады, — тонко зазолотились зубчатые изломы гор.

Потом через седловины, через расщелины, через ущелья длинно задымился лунный свет, и еще чернее, еще гуще потянулись рядом с ним черные тени от деревьев, от скал, от вершин, — еще траурнее, непрогляднее.

Тогда из-за гор вышла луна, щедро глянула, и мир стал иной, а хлопцы перестали петь. И стало видно — на камнях, на сваленных деревьях, на скалах сидят хлопцы и дивчата, а под скалами море, и на него не можно смотреть — до самого до края бесконечно струится, переливается холодное расплавленное золото. Нестерпимо смотреть.

— Хтось дыше, — сказал кто-то.

— А вот кажуть, все это бог сделал.

— А почему такое — поедешь прямо, в Румынию приедешь, а то в Одест, а то в город Севастополь, — куда конпас повернул, туда и приедешь?

— А у нас, братцы, на турецком, бывалыча, как бой, так поп молебны зараз качает. А сколько ни служил, нашего брата горы клали.

Прорываются все новые дымчато-синеватые полосы, ложатся по крутизне, ломаются по уступам, то выхватят угол белой скалы, то протянутые руки деревьев или обрыв, изъеденный расщелинами, и все резко, отчетливо, живое.

По шоссе шум, говор, гул шагов и, как проклятие, брань, густая матерная брань.

Все подняли головы, повернули...

— Хтось такие? Какая там сволочь матюкается, матть их так!

— Та матросня неположенного ищет.

Матросы шли огромной беспорядочной гурьбой, то заливаемые лунным светом, то невидимые в черной тени, и, как смрадное облако, шла над

ними, не продыхнешь, подлая ругань. Стало скучно. Хлопцы, дивчата почувствовали усталость и, потягиваясь и зевая, стали расходиться.

— Треба спаты.

С гамом, с шумом, с ругней пришли матросы к скалистому уступу. В мрачной лунной тени стояла повозка, а на ней спал Кожух.

— Куды вам?! — загородили дорогу винтовками два часовых.

— Где командующий?

А Кожух уже вскочил, и над повозкой в черноте загорелись два волчьих огонька. Часовые взяли на изготовку:

— Стрелять будем!

— Што вам надо? — голос Кожуха.

— А вот мы пришли до вас, командующий. У нас вышел весь провиянт. Что же нам — с голоду издыхать?! Нас пять тысяч человек. Всю жизнь на революцию положили, а теперь с голоду издыхать!

Не видно было лица Кожуха, в такой черной тени стоял, но все видят — горят два волчьих огонька.

— Становитесь в ряды армии, выдадим винтовки, зачислим на довольствие. Продовольствие у нас на исходе. Мы не можем никого кормить, кроме бойцов под ружьем, иначе не пробьемся. Бойцам — и тем всем порции уменьшены.

— А мы не бойцы? Что вы нас силком загоняете? Мы сами знаем, как поступать. Когда надо будет драться, не хуже, а лучше вас будем биться. Не вам учить нас, старых революционеров. Где вы были, когда мы царский трон раскачивали? В царских войсках вы офицерами служили. А теперь нам издыхать, как отдали все революции, — кто палку взял, тот у вас и капрал! Вон в городе наших

полторы тысячи легло, офицерье живыми в землю закопали, а...

— Ну, да ведь энти легли, а вы тут с бабами...

Заревели матросы, как стадо диких быков:

— Нам, борцам, глаза колоть!..

Ревут, машут перед часовыми руками, да волчьи огоньки не обманешь, — видят, все видят они: тут ревут и машут руками, а по сторонам, с боков, сзади пробираются отдельные фигуры, согнувшись перебегая мутно-голубые лунные полосы, и на бегу отстегивают бомбы. И вдруг ринулись со всех сторон на окруженную повозку.

В ту же секунду: та-та-та-та...

Пулемет в повозке засверкал. И как он послушен этому звериному глазу в этих перепутавшихся полосах черноты и дымно-лунных пятен, — ни одна пуля не задела, а только страшно зашевелил ветер смерти матросские фуражки. Все кинулись врассыпную.

— Вот дьявол!.. Ну, и ловок!.. Таких бы пулеметчиков...

На громадном пространстве спит лунно-задымленный лагерь. Спят задымленные горы. И через все море судорожно переливается дорога.

XX

Не успело посветлеть небо, а уже голова колонны далеко вытянулась, поползла по шоссе.

Направо все тот же голубой простор, налево густо громоздятся лесистые горы, а над ними пустынные скалы.

Из-за скалистых хребтов выплывает разгорающийся зной. По шоссе те же облака пыли. Тысячные полчища мух неотступно липнут к людям, к животным, — свои, кубанские степные мухи пре-

данно сопровождают отступающих от самого дома, ночуют вместе и, чуть зорька, подымаются вместе.

Извиваясь белой змеей, вползает клубящееся шоссе в гущу лесов. Тишина. Прохладные тени. Сквозь деревья — скалы. Несколько шагов от шоссе, и не продерешься — непролазные дебри: все опутано хмелем, лианами. Торчат огромные иглы держидерева, хватают крючковатые шипы невиданных кустарников. Жилье медведей, диких кошек, коз, оленей, да рысь по ночам отвратительно кричит по-кошачьи. На сотни верст ни следа человеческого. О казаках и помину нет.

Когда-то разбросанно по горам жили тут черкесы. Вились по ущельям и в лесах тропки. Изредка, как зернышки, серели под скалами сакли. Среди девственных лесов попадались маленькие площадки кукурузы либо в ущельях у воды небольшие, хорошо возделанные сады.

Лет семьдесят назад царское правительство выгнало черкесов в Турцию. С тех пор дремуче заросли тропинки, одичали черкесские сады, на сотни верст распростерлась голодная горная пустыня, жилье зверя.

Хлопцы подтягивают все туже веревочки на штанах — все больше съеживаются выдаваемые на привалах порции.

Ползут обозы, тащатся, держась за повозки, раненые, качаются ребячьи головенки, натягивают постромки единственного орудия тощие артиллерийские кони.

А шоссе, шаловливо свернувшись петлей, извилисто спускается к самому морю. По голубой беспредельности легла — смотреть больно — ослепительно переливающаяся солнечная дорога.

Прозрачные, стекловидные, еле приметные морщины неуловимо приходят откуда-то издале-

ка и влажно моют густо усыпанную по берегу гальку.

Громада ползет по шоссе, не останавливаясь ни на минуту, а хлопцы, дивчата, ребятишки, раненые, кто может, сбегают под откос, сдергивают на берегу тряпье штанов, рубашонки, юбки, торопливо составляют в козлы винтовки, с разбега кидаются в голубоватую воду. Тучи искр, сверкание, вспыхивающая радуга. И взрывы такого же солнечно-искрящегося смеха, визг, крики, восклицания, живой человеческий гомон, — берег осмыслился.

Море — нечеловечески-огромный зверь с ласково-мудрыми морщинами — притихло и ласково лижет живой берег, живые желтеющие тела в ярком движении сквозь взрывы брызг, крика, гоготанья.

Колонна ползет и ползет.

Одни выскакивают, хватают штаны, рубахи, юбки, винтовки и бегут, зажав под мышкой провонялую одежу, и капли жемчужно дрожат на загорелом теле, и, догнав своих, под веселое улюлюканье, гоготанье, скоромные шутки, торопливо вздевают, на шоссе, пропотелое тряпье.

Другие жадно сбегают вниз, на ходу раздеваются, кидаются в гомон, брызги, сверканье, и притихший зверь теми же набегающими старыми прозрачными морщинами ласково лижет их тела.

А колонна ползет и ползет.

Забелели дачи, забелели домики местечка, редко разбросанные по пустынному берегу. Сиротливо растянулись вдоль шоссе. Все жмется к узкому белому полотну, — единственная возможность передвижения среди лесов, скал, ущелий, морских обрывов.

Хлопцы торопливо забегают на дачи, все обшарят, — пусто, безлюдно, заброшено.

В местечке коричневые греки, с большими носами, черносливовыми глазами, замкнуты, молчат с затаенной враждебностью.

— Нету хлеба... Нету... сами сидим голодные...

Они не знают, кто эти солдаты, откуда, куда и зачем идут, не расспрашивают и замкнуто враждебны.

Сделали обыск — действительно нет. А по роже видно, что спрятали. За то, что это не свои, а грекосы, позабрали всех коз, как ни кричали черноглазые гречанки.

В широком, отодвинувшем горы ущелье русская деревня, неведомо как сюда занесенная. По дну извилисто поблескивает речонка. Хаты. Скот. По одному склону желтеет жнивье, пшеницу сеют. Свои, полтавцы, балакают по-нашему.

Поделились, сколько могли, и хлебом и пшеном. Расспрашивают, куда и зачем. Слыхали, что спихнули царя и пришли большевики, а як воно, що — не знают. Рассказали им все хлопцы, и хоть и жалко было, ну, да ведь свои — и позабрали всех кур, гусей, уток под вой и причитанье баб.

Колонна тянется мимо, не останавливаясь.

— Жрать охота, — говорят хлопцы и еще туже затягивают веревочки на штанах.

Шныряют эскадронцы по дачам, шарят и на последней даче нашарили граммофон и целую кучу пластинок. Приторочили к пустому седлу, и среди скал, среди лесной тишины, в облаках белой пыли понеслось:

— ...бло-ха... ха-ха!.. бло-ха... — чей-то шершавый голос, будто и человеческий и нечеловеческий.

Ребята шагали и хохотали как резаные.

— А ну, ну, ще! Закруты ще блоху!

Потом ставили по порядку: «Выйду ль я на реченьку...», «Не искушай...», «На земле весь род людской...».

А одна пластинка запела: «Бо-же, ца-ря хра-ни...»

Кругом загалдели...

— Мать его в куру совсем и с богом!..

— Надень его себе на...!

Пластинку выдрали и кинули на шоссе под бесчисленные шаги идущих.

С этих пор граммофон не знал ни минуты покоя и, хрипя и надрываясь, с ранней зари и до глубокой ночи верещал романсы, песни, оперы. Переходил он по очереди от эскадрона к эскадрону, от роты к роте, и, когда задерживали, дело доходило до драки. Общим любимцем стал граммофон, и к нему относились, как к живому.

XXI

Пригнувшись к седлу, сбив папаху на самый затылок, скакал по краю шоссе навстречу двигающимся кубанец, крича:

— Дэ батько?

А лицо потное, и лошадь тяжело носит мокрыми боками.

Облака над лесистыми горами вылезли огромные, круглые, блестяще-белые и глядят на шоссе.

— Мабуть, гроза буде.

Где-то за поворотом шоссе стала голова колонны. Ряды пехоты, сходясь и густея, останавливались; наезжая на задки телег и задирая лошадям морды, останавливался обоз, и эта остановка побежала, передаваясь в хвост.

— Що таке?! Ще рано привал.

Бегучее потное лицо кубанца, торопливо носящая боками лошадь, неурочная остановка разлились тревогой, неопределенностью. Разом прида-

вая всему зловещий смысл и значение, где-то далеко впереди слабо раздались выстрелы — и смолкли. Звук их отпечатался в наступившей тишине и уже не стирался.

Граммофон смолк. Торопливо проехал в бричке в голову колонны Кожух. Потом оттуда прискакали конные и, нечеловечески матерно ругаясь, загородили дорогу.

— Геть назад!.. стрелять будемо!.. Щоб вы подохли тут до разу!..

— ...Вам говорять... Там бой зараз буде, а вы лизите. Не приказано. Кожух стрелять по вас звелив.

Сразу все налилось тревогой. Бабы, старики, старухи, дивчата, ребятишки подняли плач и крик.

— Та куда же мы?! Та що ж вы нас гоните, що нам робыты? И мы з вами. Колы смерть, так одна.

Но конные были неумолимы.

— Кожух звелив, щоб пьять верстов було промеж вами и солдатами, а то мешаете, драться не даете.

— Та чи мы не ваши? Там же мий Иван.

— А мий Микита.

— А мий Опанас.

— Вы уйдете, а мы останемся, — спокинете нас.

— Та вы задом думаете, чи як? Вам сказано: за вас же бьются. Як расчистють дорогу, то и вы пийдете по шаше за нами. А то мешаете, бой буде.

Повозки, сколько видно, грудятся друг на друга. Столпились пешие, раненые; мечется бабий вой. Запруживая все шоссе на десятки верст, замер обоз. Мухи обрадовались и густо чернеют на лошадиных спинах, боках, шеях; облепили ребятишек; и лошади отчаянно мотают головами, бьют копытом под пузо. Сквозь листву синеет море. Но все видят

только кусок шоссе, загороженный конными, а за конными стоят солдатики, свои же хлопцы с винтовками, такие близкие, такие родные. То сидят, то свертывают цигарки из листьев широкой травы и насыпают сухую же траву.

Вот шевельнулись, лениво подымаются, тронулись, и все шире и шире открывается шоссе, и эта уширяющаяся полоса, над которой пустынно садится пыль, таит угрозу и несчастье.

Конные неумолимы. Проходит час, другой. Пустое шоссе впереди тягостно белеет, как смерть. Бабы с набрякшими глазами всхлипывают и причитают. Сквозь деревья голубеет море, а на море из-за лесных гор смотрят облака.

Неведомо где упруго и кругло всплывает орудийный удар, другой, третий. Загрохотал залп и пошел раскалываться и грохотать по горам, по лесам, по ущельям. Мертво и бесстрастно потянул дробную строчку пулемет.

Тогда все, сколько ни было кнутов, стали отчаянно хлестать лошадей. Лошади рванулись, но конные, сверхъестественно ругаясь, со всего плеча стали крестить нагайками лошадей по морде, по глазам, по ушам. Лошади, храпя, крутя головами, раздувая кровавые ноздри, выкатив круглые глаза, бились в дышлах, вскидывались на дыбы, брыкались. А сзади подбегали от других повозок, нечеловечески улюлюкали, брали в десятки кнутов; ребятишки визжали как резаные, секли хворостинами по ногам, по пузу, стараясь побольнее; бабы истошно кричали и изо всех сил дергали вожжами, раненые возили по бокам костылями.

Обезумевшие лошади бешено рванули, смяли, опрокинули, разметали конных и, вырываясь из худой сбруи, в ужасе храпя, понеслись по шоссе, вытянув шеи, прижав уши. Мужики вскакивали в

телеги; раненые, держась за грядки, бежали, падали, волочились, отрывались, скатывались в шоссейные канавы.

В белесо крутящихся клубах несся грохот колес, нестерпимое дребезжание подвешенных ведер, отчаянное улюлюканье. Сквозь листву мелькало голубое море.

Остановились и медленно поползли, только когда нагнали пехотные части.

Никто ничего не знал. Говорили, что впереди казаки. Только казакам неоткуда взяться — громады гор давно отгородили их. Говорили, будто черкесы, не то калмыки, не то грузины, не то народы неизвестного звания, и сила-рать их несметная. От этого еще неотступнее наседали беженские телеги на войсковые части, — ничем нельзя было отодрать, разве перестрелять всех до единого.

Казаки ли, грузины ли, черкесы ли, калмыки ли, а жить надо. Опять граммофон на лошади запел.

Уй-ми-и-тесь, вол-не-ння страс-ти...

В разных концах хлопцы заспивали. Шли, как попало, по шоссе. С шоссе карабкались в гору, драли о сучья, шипы, иглы последние лохмотья, искали одичавшие нестерпимо кислые мелкие яблоки и, сморщившись и по-звериному перекосив рожу, набивали живот кислицей. Под дубом собирали желуди, жевали их, и горькая, едкая слюна обильно бежала. Потом вылезли из лесу — голые, с кроваво-изодранной в лохмотья кожей — и обвязывали остатками тряпья стыдное место.

Бабы, девки, ребятишки — все продираются в лесу. Крики, смех, плач — впиваются в тело иглы,

дерут шипы, цепко обвиваются лианы, и ни взад, ни вперед: да голод не тетка, все лезут.

Иногда раздвинутся горы, и по склону зажелтеет небольшое поле недозрелой кукурузы — где-нибудь под берегом приткнулась деревенька. Поле разом, как саранчой, покрывается народом. Солдаты ломают кукурузные метелки, потом идут по шоссе, растирают на ладони, выбирают сырое зерно — и в рот и долго и жадно жуют.

Матери, набрав зерен, тоже долго жуют, но не глотают, а теплым языком впихивают в ротик детям разжиженную слюной кашку.

А там впереди опять выстрелы, опять строчит пулемет, но никто уж не обращает внимания — привыкли. Смолкает. Птичьим голосом тянет граммофон:

Уж я-а-а не ве-рю у-ве-ре-э-нья-ам...

Перекликаются, смеются в лесу, с разных сторон доносятся песни солдат. Обоз беженцев нераздельно сливается с последними пехотными частями, и все вместе без отдыха течет по шоссе в безбрежных облаках пыли.

XXII

В первый раз враги перегородили дорогу, новые враги.

Зачем? Что им надо?

Кожух понимает — тут пробка. Слева — горы, справа — море, а между ними — узкое шоссе. По шоссе через пенистую горную речку мост железнодорожного типа, — мимо него нигде не пройдешь. А перед мостом врагами поставлены пулеметы и

орудия. В этой сквозной, сплетенной из стальных балок дыре можно остановить любую армию. Эх, кабы развернуться можно! То ли дело в степях!

Ему подают приказ штаба Смолокурова, как действовать против неприятеля. Пожелтев, как лимон, и сжав челюсти, сминает приказ, не читая, и швыряет на шоссе. Солдаты бережно подбирают, расправляют на колене и крутят цигарки, насыпая сухими листьями.

Войска вытянулись вдоль шоссе. Кожух смотрит на них: оборванные, босые; у половины по два, по три патрона на человека, а у остальной половины одни винтовки в руках. Одно орудие, и к нему всего шестнадцать снарядов. Но Кожух, сжав челюсти, смотрит на солдат так, как будто у каждого в сумке по триста патронов, грозно глядят батареи, и переполнены снарядами зарядные ящики, а кругом родная степь, по которой привычно развернется вся колонна до последнего человека.

И с такими глазами и лицом он говорит:

— Товарищи! Бились мы с козаками, с кадетами. Знаемо, за що з ими бились — за тэ, що воны хотять задушить революцию.

Солдаты пасмурно смотрят на него и говорят глазами:

«Без тебя знаем. Що ж с того?.. А в дирочку на мосту все одно не полиземо...»

— ...от козаков мы оторвались, — горы нас отгородили, есть у нас передышка. Но новый враг заступил дорогу. Хтось такие? Це грузины-меньшевики, а меньшевики — одна цена с кадетами, однаково еднаются с буржуями, сплять и во сне видють, щоб загубить совитску власть...

А солдатские глаза:

«Та цилуйся с своей совитской властью. А мы босы, голи, и йисты нэма чого».

Кожух понимал их глаза, понимал, что это — гибель.

И он, ставя последнюю карту, обратился к кавалеристам:

— Ваша, товарищи, задача: взять мост с маху на коне.

Кавалеристы, все как один, поняли, что сумасбродную задачу ставит им командующий: скакать гуськом (на мосту не развернешься) под пулеметным огнем — это значит, половина завалит мост телами, а вторая половина, не имея возможности через них проскочить, будет расстреляна, когда кинется назад.

Но на них были такие ловкие черкески, так блестело серебром отцовское и дедовское оружие, так красиво-воинственны папахи и барашковые кубанки, так оживленно мотают головами, выдергивая повода, чудесные степные кубанские кони, и, видимо, любуясь, все смотрят на них — и они дружно гаркнули:

— Возьмем, товарищ Кожух!..

Скрытое орудие, наполняя ущелье, скалы, горы чудовищно разрастающимся эхом, раз за разом стало бить в то место за мостом, где притаились в гнездах пулеметы, а кавалеристы, поправив папахи, молча, без крика и выстрела, вылетели из-за поворота, и, в ужасе прижав уши, вытянув шеи, с кроваво-раздувшимися ноздрями, лошади понеслись к мосту и по мосту.

Грузинские пулеметчики, прижавшиеся под вспыхивавшими поминутно клубочками шрапнели, оглушенные дико разраставшимися в горах раскатами, не ожидавшие такой наглости, спохватились, застрочили. Упала лошадь, другая, третья, но уже середина моста, конец моста, шестнадцатый снаряд, и... побежали.

— Урра-а-а!! — пошли рубить.

Грузинские части, стоявшие поодаль от моста, отстреливаясь, бросились уходить по шоссе и скрылись за поворотом.

А те, что стояли у моста, отрезанные, кинулись к берегу. Но грузинские офицеры успели раньше вскочить в шлюпки, и шлюпки быстро ушли к пароходам. Из труб густо повалили клубы дыма: пароходы стали удаляться в море.

Стоя по горло в воде, грузинские солдаты протягивали руки к уходящим пароходам, кричали, проклинали, заклинали жизнью детей, а им рубили шеи, головы, плечи, и по воде расходились кровавые круги.

Пароходы чернелись на синеющем краю точками, исчезли, и на берегу уже никто не молил, не проклинал.

XXIII

Над лесами, над ущельями стали громоздиться скалистые вершины. Когда оттуда ветерок — тянет холодком, а внизу, на шоссе, — жара, мухи, пыль.

Шоссе потянулось узким коридором — по бокам стиснули скалы. Сверху свешиваются размытые корни. Повороты поминутно скрывают от глаз, что впереди и сзади. Ни свернуть, ни обернуться. По коридору неумолчно течет все в одном направлении живая масса. Скалы заслонили море.

Замирает движение. Останавливаются повозки, люди, лошади. Долго, томительно стоят, потом опять двигаются, опять останавливаются. Никто ничего не знает, да и не видно ничего — одни повозки, а там — поворот и стена; вверху кусочек синего неба.

Тоненький голосок:

— Ма-а-мо, кисли-ицы!..

И на другой повозке:

— Ма-а-мо!..

И на третьей:

— Та цытьте вы! Дэ ии узяты?.. Чи на стину лизты? Бачишь, стины?

Ребятишки не унимаются, хнычут, потом, надрываясь, истошно кричат:

— Ма-амо!.. дай кукурузы!.. дай кислицы... кис-ли-цы!.. ку-ку-ру-узы... дай!..

Как затравленные волчицы с сверкающими глазами, матери, дико озираясь, колотят ребятишек.

— Цыть! пропасти на вас нету. Когда только подохнете, усю душу повтягалы, — и плачут злыми, бессильными слезами.

Где-то глухо далекая перестрелка. Никто не слышит, никто ничего не знает.

Стоят час, другой, третий. Двинулись. опять остановились.

— Ма-амо, кукурузы!..

Матери так же озлобленно, готовые перегрызть каждому горло, роются в телегах, переругиваются друг с другом; надергивают из повозки стеблей молодой кукурузы, мучительно долго жуют, с силой стискивают зубы, кровь сочится из десен; потом наклоняются к жадно открытому детскому ротику и всовывают теплым языком. Детишки хватают, пробуют проглотить, солома колет горло, задыхаются, кашляют, выплевывают, ревут.

— Не хо́-очу! Не хо́-очу!

Матери в остервенении колотят.

— Та якого же вам биса?

Дети, размазывая грязные слезы по лицу, давятся, глотают.

Кожух, сжав челюсти, рассматривает в бинокль из-за скалы позиции врага. Толпятся командиры, тоже глядя в бинокли; солдаты, сощурившись, рассматривают не хуже бинокля.

За поворотом ущелье раздалось. Сквозь его широкое горло засинели дальние горы. Громада лесов густо сползает на массив, загораживающий ущелье. Голова массива кремниста, а самый верх стоит отвесно четырехсаженным обрывом, — там окопы противника, и шестнадцать орудий жадно глядят на выбегающее из коридора шоссе. Когда колонна двинулась было из скалистых ворот, батарея и пулеметы засыпали, — места живого не осталось; солдаты отхлынули назад, за скалы. Для Кожуха ясно — тут и птица не пролетит. Развернуться негде, один путь — шоссе, а там — смерть. Он смотрит на белеющий далеко внизу городок, на голубую бухту, на которой чернеют грузинские пароходы. Надо придумать что-то новое, — но что? Нужен какой-то иной подход, — но какой? И он становится на колени и начинает лазать по карте, разостланной на пыльном шоссе, изучая малейшие изгибы, все складки, все тропинки.

— Товарищ Кожух!

Кожух подымает голову. Двое стоят веселыми ногами.

«Канальи!.. успели...»

Но на них молча смотрит.

— Так что, товарищ Кожух, не перескочить нам по шаше, — всех перебьет Грузия. Зараз мы были, как сказать, на разведке... добровольцами.

Кожух, так же не спуская глаз:

— Дыхни. Да не тяни в себе, дыхай на мене. Знаешь, за это расстрел?

— И вот те Христос, это лесной дух, — лесом пробирались все время, ну, надыхали в себе.

— Хиба ж тут шинки, чи шо! — подхватывает с хитро-веселыми украинскими глазами другой. — В лиси одии дерева, бильш ничо́го.

— Говори дело.

— Так что, товарищ Кожух, идем это мы с им, и разговор у иас сурьезиый: али помирать нам тут усем иа шаше, али ворочаться в лапы козакам. И помирать не хотится, и в лапы не хотится. Как тут быть? Гля-а, за деревьями — духан. Мы подползли — четверо грузии вино пьют, шашлык едят; звестно: грузины — пьяиицы. Так и завертело у иосе, так и завертело, мочи иету. Ливорверты у их. Выскочили мы, пристрелили двоих: «Стой, ии с места! Окружены, так вас растак!.. Руки кверху!..» Энти обалдели, — ие ждали. Мы еще одного прикололи, а энтого связали. Ну, духаищик спужался до скончаиия. Ну, мы, правду сказать, шашлык доели, оставшийся от грузин, которые заплатить должиы, — жалованье большое получают, — а вииа и не пригубили, как вы, одно слово, приказ дали.

— Та нэхай воно сказыться, це зилье проклятте... Нэхай мени сковородить иа стороиу усю морду, колы я хочь июхиул ёго. Нэхай вывернэ меии усю требуху...

— К делу.

— Грузии оттащили в лес, оружие забрали, а остатиего грузииа приволокли сюды, и духаищика, чтобы ие распространял. Опять же встретили пять мужчиндв с бабами и с девками, — здешние, с-под городу, иашииские, русские, у иих абселюция под городом, а грузииы азияты, опять же чериомазые и ие с иашей иации, до белых баб дюже охочи. Ну, всё бросили, до иас идут, сказывают, по тропкам можно обход городу сделать. Чижало, сказывают, — пропасти, леса, обрывы, щели, но можно.

А в лоб, сказывают, немысленно. Тропинки они все знают как пять пальцев. Ну, трудно, несть числа, одно слово, погибель, а все-таки обойтить можно.

— Где они?

— Здеся.

Подходит командир батальона.

— Товарищ Кожух, сейчас мы были у моря, там никак нельзя пройти: берег скалистый, прямо обрывом в воду.

— Глубоко?

— Да у самой скалы по пояс, а то и по шею, а то и с головой.

— Та що ж, — говорит внимательно слушавший солдат, в лохмотьях, с винтовкой в руке, — що ж, с головой... А есть каменюки наворочены, с гор попадали у море, можно скóчить зайцáми с камень на камень.

К Кожуху со всех сторон ползут донесения, указания, разъяснения, планы, иногда неожиданные, остроумные, яркие, — и общее положение выступает отчетливо.

Собирает командный состав. У него сжаты челюсти, колкие, под насунутым черепом, недопускающие глаза.

— Товарищи, вот как. Все три эскадрона пойдут в обход города. Обход трудный: по тропинкам, лесами, скалами, ущельями, да еще ночью, но его во что бы то ни стало выполнить!

«Пропадем... ни одной лошади не вернется...» — стояло запрятанное в глазах, чего бы не сказал язык.

— Имеется пять проводников — русские, здешние жители. Грузины им насолили. У нас их семьи. Проводникам объявлено — семьи отвечают за них. Обойти с тыла, ворваться в город...

Он помолчал, вглядываясь в наползающую в ущелье ночь, коротко уронил:

— Всех уничтожить!

Кавалеристы молодецки поправили на затылках папахи:

— Будет исполнено, товарищ Кожух, — и лихо стали садиться на лошадей.

Кожух:

— Пехотный полк... товарищ Хромов, ваш полк спустите с обрыва, проберетесь по каменьям к порту. С рассветом ударить без выстрела, захватить пароходы на причале.

И, опять помолчав, уронил:

— Всех истребить!

«На море грузины поставят одного стрелка, весь полк поснимают с каменюков поодиночке...»

А вслух дружно сказали:

— Слушаем, товарищ Кожух.

— Два полка приготовить к атаке в лоб.

Одна за одной стала тухнуть алость дальних вершин: однообразно и густо засинело. В ущелье вползала ночь.

— Я поведу.

Перед глазами у всех в темном молчании отпечаталось: дремучий лес, за ним кремнистый подъем, а над ним одиноко, как смерть с опущенным взором, отвес скалы... Постояло и растаяло. В ущелье вползала ночь. Кожух вскарабкался на уступ. Внизу смутно тянулись ряды тряпья, босые ноги, выделялось колко множество теснившихся штыков.

Все смотрели не спуская глаз на Кожуха, — у него был секрет разрешить вопрос жизни и смерти: он обязан указать выход, выход — все это отчетливо видели — из безвыходного положения.

Подмываемый этими тысячами устремленных на него требующих глаз, чувствуя себя обладателем неведомого секрета жизни и смерти, Кожух сказал:

— Товариство! Нам нэма с чого выбираты: або тут сложим головы, або козаки сзаду всих замучут до одного. Трудности неодолимые: патронов нэма, снарядов к орудию нэма, брать треба голыми руками, а на нас оттуда глядят шестнадцать орудий. Но колы вси как один... — Он с секунду перемолчал, железное лицо окаменело, и закричал диким, непохожим голосом, и у всех захолонуло: — Колы вси, как один, ударимо, тоди дорога открыта до наших.

То, что он говорил, знал и без него каждый последний солдат, но, когда закричал странным голосом, всех поразила неожиданная новизна сказанного, и солдаты закричали:

— Як один!! Або пробьемось, або сложим головы!

Пропали последние пятна белевших скал. Ничего не видно: ни массива, ни скал, ни лесов. Потонули зады последне уходящих лошадей. Не видать сыпавших мелкими камнями солдат, спускавшихся, держась за тряпье друг друга, по промоине к морю. Скрылись последние ряды двух полков в непроглядном лесу, над которым, как смерть с закрытыми глазами, чудилась отвесная скала.

Обоз замер в громадном ночном молчании: ни костров, ни говора, ни смеха, и детишки беззвучно лежат с голодно ввалившимися личиками.

Молчание. Темь.

XXIV

Грузинский офицер с молодыми усами, в тонко перетянутой красной черкеске, в золотых погонах, с черными миндалевидными глазами, от которых (он это знал) захлебывались женщины, похаживал по площадке массива, изредка взглядывал. Окопы, брустверы, пулеметные гнезда.

В двадцати саженях недоступно отвесный обрыв, под ним крутой каменистый спуск, а там непролазная темень лесов, а за лесами — скалистое ущелье, из которого выбегает белая пустынная полоска шоссе. Туда скрыто глядят орудия, там — враг.

Около пулеметов мерно ходят часовые — молодцеватые, с иголочки.

Этим рваным свиньям дали сегодня утром жару, когда они попробовали было высунуться по шоссе из-за скал, — попомнят.

Это он, полковник Михеладзе (такой молодой и уже полковник!), выбрал позицию на этом перевале, настоял на ней в штабе. Ключ, которым заперто побережье.

Он опять глянул на площадку массива, на отвесный обрыв, на береговые скалы, отвесно срывавшиеся в море, — да, все, как по заказу, сгрудилось, чтобы остановить любую армию.

Но этого мало, *мало* их не пустить — *их* надо истребить. И у него уже составлен план: отправить пароходы им в тыл, где шоссе спускается к морю, обстрелять с моря, высадить десант, запереть эту вонючую рвань с обоих концов, и они подохнут, как крысы в мышеловке.

Это он, князь Михеладзе, владелец небольшого, но прелестного имения под Кутаисом, он отсе-

чет одним ударом голову ядовитой гадине, которая ползет по побережью.

Русские — враги Грузии, прекрасной, культурной, великой Грузии, такие же враги, как армяне, турки, азербайджане, татары, абхазцы. Большевики — враги человечества, враги мировой культуры. Он, Михеладзе, сам социалист, но он... («Послать, что ли, за этой, за девчонкой, за гречанкой?.. Нет, не стоит... не стоит на позиции, ради солдат...»)... но он истинный социалист, с глубоким пониманием исторического механизма событий, и кровный враг всех авантюристов, под маской социализма разнуздывающих в массах самые низменные инстинкты.

Он не кровожаден, ему претит пролитая кровь, но когда вопрос касается мировой культуры, касается величия и блага родного народа, — он беспощаден, и *эти* поголовно все будут истреблены.

Он похаживает с биноклем, посматривает на страшной крутизны спуск, на темень непроходимых лесов, на извилисто выбегающую из-за скал белую полоску шоссе, на которой никого нет, на алеющие вечерней алостью вершины и слышит тишину, мирную тишину мягко наступающего вечера.

И эта стройно охватывающая его красивую фигуру великолепного сукна черкеска, дорогие кинжал и револьвер, выложенные золотом с подчернью, белоснежная папаха единственного мастера, знаменитости Кавказа, Османа, — все это его обязывает, обязывает к подвигу, к особенному, что он должен совершить; оно отделяет его ото всех, — от солдат, которые вытягиваются перед ним в струнку, от офицеров, у которых нет его опытности и знаний, и когда он стройно ходит, чувствует — носит в себе тяжесть своего одиночества.

— Эй!

Подбегает денщик, молоденький грузин с неправильно-желтым приветливым лицом и такими же, как у полковника, влажно-черными глазами, вытягивается в струнку, берет под козырек.

— Чего изволите?

«...Эту девчонку... гречанку... приведи...» Но не выговорил, а сказал, строго глядя:

— Ужин?

— Так точно. Господа офицеры ждут.

Полковник величественно прошел мимо вскакивавших и вытягивавшихся в струнку солдат с худыми лицами: не было подвоза — солдаты получали только горсточку кукурузы и голодали. Они отдавали честь, провожая глазами, и он небрежно взмахивал белой перчаткой, слегка надетой на пальцы. Прошел мимо тихонько, по-вечернему дымивших синеватым дымком костров, мимо артиллерийских коновязей, мимо пирамид составленных винтовок пехотного прикрытия и вошел в длинно белевшую палатку, в которой ослепительно тянулся из конца в конец стол, заставленный бутылками, тарелками, рюмками, икрой, сыром, фруктами.

Разговор в группах таких же молодых офицеров, так же стройно перетянутых, в красивых черкесках, торопливо упал; все встали.

— Прошу, — сказал полковник, и стали все усаживаться.

А когда ложился в своей палатке, приятно шла кругом голова, и, подставляя ногу денщику, стаскивавшему блестяще лакированный сапог, думал:

«Напрасно не послал за гречанкой... Впрочем, хорошо, что не послал...»

XXV

Ночь так громадна, что поглотила и горы и скалы, колоссальный провал, который днем лежал массивом, в глубине которого леса, а теперь ничего не видно.

По брустверу ходит часовой — такой же бархатно-черный, как и всё в этой бархатной черноте. Он медленно делает десять шагов, медленно поворачивается, медленно проходит назад. Когда идет в одну сторону — смутно проступают очертания пулемета, когда в другую — чувствуется скалистый обрыв, до самых краев ровно залитый тьмой. Невидимый отвесный обрыв вселяет чувство спокойствия и уверенности: ящерица не взберется.

И опять медленно тянутся десять шагов, медленный поворот, и опять...

Дома маленький сад, маленькое кукурузное поле. Нина, и на руках у нее маленький Серго́. Когда он уходил, Серго́ долго смотрел на него черносливовыми глазами, потом запрыгал на руках матери, протянул пухлые ручонки и улыбнулся, пуская пузыри, улыбнулся чудесным беззубым ртом. А когда отец взял его, он обслюнявил милыми слюнями лицо. И эта беззубая улыбка, эти пузыри не меркнут в темноте.

Десять медленных шагов, смутно угадываемый пулемет, медленный поворот, так же смутно угадываемый край отвесного обрыва, опять...

Большевики зла ему не сделали... Он будет в них стрелять с этой высоты. По шоссе ящерица не проскочит... Большевики царя спихнули, а царь пил Грузию, — очень хорошо... В России, говорят, всю землю крестьянам... Он вздохнул. Он мобили-

зован и будет стрелять, если прикажут, в тех, что там, за скалами.

Ничем не вызываемая, выплывает беззубая улыбка и пузыри, и в груди теплеет, он внутренне улыбается, а на темном лице серьезность.

Тянется все та же тишина, до краев наполненная тьмой. Должно быть, к рассвету — и эта тишина густо наваливается... Голова неизмеримой тяжести, ниже, ниже... Да разом вздернется. Даже среди ночи особенно непроглядна распростершаяся неровная чернота — горы; в изломах мерцают одинокие звезды.

Далеко и непохоже закричала ночная птица. Отчего в Грузии таких не слыхал?

Все налито тяжестью, все недвижимо и медленно плывет ему навстречу океаном тьмы, и это не странно, что недвижимо и неодолимо плывет ему навстречу.

— Нина, ты?.. А Серго?..

Открыл глаза, а голова мотается на груди, и сам прислонился в брустверу. Последние секунды оторванного сна медленно плыли перед глазами ночными пространствами.

Тряхнул головой, все замерло. Подозрительно вгляделся: та же недвижимая темь, тот же смутно видимый бруствер, край обрыва, пулемет, смутно ощущаемый, но невидимый провал. Далеко закричала птица. Таких не бывает в Грузии...

Он переносит взгляд вдаль. Та же изломанная чернота, и в изломах слабо мерцают побелевшие и уже в ином расположении звезды. Прямо — океан молчаливой тьмы, и он знает — на дне его дремучие леса. Зевает и думает: «Надо ходить, а то опять...» — да не додумал, и сейчас же опять поплыла неподвижная тьма из-под обрыва, из про-

вала, бесконечная и неодолимая, и у него тоскливо стало задыхаться сердце.

Он спросил:

«Разве может плыть ночная темь?»

А ему ответили:

«Может».

Только ответили не словами, а засмеялись одними деснами.

Оттого, что рот был беззубый и мягкий, ему стало страшно. Он протянул руку, а Нина выронила голову ребенка. Серая голова покатилась (у него замерло), но у самого края остановилась... Жена в ужасе — ах!.. но не от того, а от другого ужаса: в напряженно-предрассветном сумраке по краю обрыва серело множество голов, должно быть скатившихся... Они всё повышались: показались шеи, вскинулись руки, приподнялись плечи, и железно-ломаный, с лязгом, голос, как будто протиснутый сквозь неразмыкающиеся челюсти, поломал оцепенение и тишину:

— Вперед!..в атаку!!

Нестерпимо звериный рев взорвал всё кругом. Грузин выстрелил, покатился, и в нечеловечески раздирающей боли разом погас прыгавший на руках матери с протянутыми ручонками, пускающий пузыри улыбающимся ртом, где одни десны, ребенок.

XXVI

Полковник вырвался из палатки и бросился вниз, туда, к порту. Кругом, прыгая через камни, через упавших, летели в яснеющем рассвете солдаты. Сзади, наседая, катился нечеловеческий, никогда не слышанный рев. Лошади рвались с коновязи и в ужасе мчались, болтая обрывками...

Полковник, как резвый мальчишка, прыгая через камни, через кусты, несся с такой быстротой, что сердце не поспевало отбивать удары. Перед глазами стояло одно: бухта... пароходы... спасенье...

И с какой быстротой он несся ногами, с такой же быстротой — нет, не через мозг, а через все тело — неслось:

«...Только б... только б... только б... не убили... только б пощадили. Все готов делать для них... Буду пасти скотину, индюшек... мыть горшки... копать землю... убирать навоз... только б жить... только б не убили... Господи!.. жизнь-то — жизнь...»

Но этот сплошной, потрясающий землю топот несется страшно близко, сзади, с боков. Еще страшнее, наполняя умирающую ночь, безумно накатывается сзади, охватывая, дикий, нечеловеческий рев: а-а-а!.. и отборные, хриплые, задыхающиеся ругательства.

И в подтверждение ужаса этого рева то там, то там слышится: кррак!.. кррак!.. Он понимает: это прикладом, как скорлупу, разбивают череп. Взметываются заячьи вскрики, мгновенно смолкая, и он понимает: это — штыком.

Он несется, каменно стиснув зубы, и жгучее дыхание, как пар, вырывается из ноздрей.

«...Только б жить... только б пощадили... Нет у меня ни родины, ни матери... ни чести, ни любви... только уйти... а потом все это опять будет... А теперь — жить, жить, жить...»

Казалось, израсходованы все силы, но он напружил шею, втянул голову, сжал кулаки в мотающихся руках и понесся с такой силой, что навстречу побежал ветер, а безумно бегущие солдаты стали отставать, и их смертные вскрики несли на крыльях бежавшего полковника.

Кррак!.. кррак!..

Заголубела бухта... Пароходы... О, спасение!..

Когда подбежал к сходням, на секунду остановился: на пароходах, на сходнях, на набережной, на молу что-то делалось и отовсюду: кррак!.. кррак!..

Его поразило: и тут стоял неукротимый, потрясающий рев и неслось: крррак!..крррак!.. и вспыхивали и гасли смертные вскрики.

Он мгновенно повернул и с еще большей легкостью и быстротой понесся прочь от бухты, и в глаза на мгновение блеснула последний раз за молом бесконечная синева...

«...Жить... жить... жить!..»

Он летел мимо белых домиков, бездушно глядевших черными немыми окнами, летел на край города, туда, где потянулось шоссе, такое белое, такое спокойное, потянулось в Грузию. Не в великодержавную Грузию, не в Грузию, рассадницу мировой культуры, не в Грузию, где он произведен в полковники, а в милую, единственную, родную, где так чудесно пахнет весною цветущими деревьями, где за зелеными лесными горами белеют снега, где звенящий зной, где Тифлис, Воронцовская, пенная Кура и где он бегал мальчишкой...

«...Жить... жить... жить!..»

Стали редеть домики, прерываясь виноградниками, а рев, страшный рев и одиночные выстрелы остались далеко назади, внизу, у моря.

«Спасен!!»

В ту же секунду все улицы наполнились потрясающе тяжелым скоком; из-за угла вылетели на скакавших лошадях, и вместе с ними покатился такой же отвратительный, смертельный рев: ррыа-а... Вспыхивали узкие полосы шашек.

Бывший князь Михеладзе, когда-то грузинский полковник, мгновенно бросился назад.

«...Спаси-ите!»

И, зажав дыхание, полетел по улице к центру города. Раза два ударился в калитку, — калитки и ворота были наглухо заперты железными засовами, никто не подавал и признаков жизни: там чудовищно было все равно, что делалось на улице.

Тогда он понял: одно спасение — гречанка. Она ждет с черно-блестящими жалостливыми глазами. Она — единственный в мире человек... Он на ней женится, отдаст имение, деньги, будет целовать край ее одеж...

Голова взрывом разлетелась на мелкие части.

А на самом деле не на мелкие части, а расселась под наискось вспыхнувшей шашкой надвое, вывалив мозги.

XXVII

Зной разгорается. Невидимый, мертвый туман тяжело стоит над городом. Улицы, площади, набережная, мол, дворы, шоссе завалены. Груды людей неподвижно лежат в разнообразных позах. Одни страшно подвернули головы, у других шея без головы. Студнем трясутся на мостовой мозги. Запекшаяся, как на бойне, кровь темно тянется вдоль домов, каменных заборов, подтекает под ворота.

На пароходах, в каютах, в кубрике, на палубе, в трюме, в кочегарке, в машинном отделении — всё они, с тонкими лицами, черненькими молодыми усиками.

Неподвижно перевешиваются через парапет

набережной, и когда глянешь в прозрачно-голубую воду, спокойно лежат на ослизло-зеленоватых камнях, а над ними неподвижно виснут серые стаи рыб.

Только из центра города несутся частые выстрелы и торопливо татакает пулемет: вокруг собора засела грузинская рота и геройски умирает. Но и эти замолчали.

Мертвые лежат, а живые переполнили городок, улицы, дворы, дома, набережную, и около города, по шоссе, на склонах в ущельях — всё повозки, люди, лошади. Суета, восклицания, смех, гомон.

По этим мертво-живым местам проезжает Кожух.

— Победа, товарищи, победа!!

И как будто нет ни мертвых, ни крови, — буйно-радостно раскатывается:

— Урра-а-а!!

Далеко откликается в синих горах и далеко умирает за пароходами, за бухтой, за молом, во влажной синеве.

А на базарах, в лавках, в магазинах идет уже мелькающая озабоченная работа: разбивают ящики, рвут штуки сукна, сдергивают с полок белье, одеяла, галстуки, очки, юбки.

Больше всего налетело матросов — они тут как тут. Всюду крепкие, кряжистые фигуры в белых матросках, брюках клеш, круглые шапочки, и ленточки полощутся, и зычно разносится:

— Греби!

— Причалива-ай!

— Кро-ой!!.

— Выгребай с энтой полки!

Орудовали быстро, ловко, организованно. Один приправил на голове роскошную дамскую

шляпу, обмотал морду вуалью, другой — под шелковым кружевным зонтиком.

Суетились и солдаты в невероятных отрепьях, с черными, босыми, полопавшимися ногами; забирали ситец, полотно, парусину для баб и детей.

Вытаскивает один из картонного короба крахмаленую рубаху, растопырил за рукава и загоготал во все горло:

— Хлопьята, бачь: рубаха!.. Матери твоей по потылице...

Полез, как в хомут, головой в ворот.

— Та що ж вона не гнеться! Як лубок.

И он стал нагибаться и выпрямляться, глядя себе на грудь, как баран.

— Ей-бо, не гнеться! Як пружина.

— Тю, дура! Це крахмал.

— Що таке?

— Та с картофелю паны у грудях соби роблють, щоб у грудях у их выходыло.

Высокий, костлявый — почернелое тело сквозит в тряпье — вытащил фрак. Долго рассматривал со всех сторон; решительно скинул тряпье и голый полез, длинными, как у орангутанга, руками в рукава, но рукава — по локоть. Надел прямо на голое тело. На животе застегнул, а книзу вырез. Хмыкнул:

— Треба штанив.

Полез искать, но брюки забрали. Полез в бельевое отделение, вытащил картон, — в нем что-то странное. Развернул, прицелился, опять хмыкнул:

— Чудно! Штани не штани, а дуже тонко. Хведор, що таке?

Но Хведору было не до того, — он вытаскивал ситец бабе и ребятам — голые.

Опять прицелился и вдруг хмуро и решительно надернул на длинные, жилистые, почернелые от

солнца и грязи ноги. Оказалось, то, что надел, болталось выше колен кружевами.

Хведор глянул и покатился:

— Хлопьята, гляньте! Опанас!..

Магазин дрогнул от хохота:

— Та це ж бабьи портки!

А Опанас мрачно:

— А що ж, баба нэ чоловик?

— Як же ты будешь шагать, — разризано, усе видать, и тонина.

— А мотня здоровая!..

Опанас сокрушенно посмотрел.

— Правда. То-то дурни, штани з якой тонины роблять, тильки материал портють.

Вытащил из коробка все, что там было, и стал молча надевать одни за другими, — шесть штук надел; кружева пышным валом повыше колена.

Матросы на секунду прислушались и вдруг бешено ринулись в двери, в окна. А за окнами улюлюканье, матерная ругань, конский топот, хруст нагаек о человеческое тело. Солдаты — к окнам. По площади, что было силы, бежали матросы, стараясь спасти захваченное. Эскадронцы, шпоря лошадей, нещадно пороли их, просекая одежду, и синие вздувшиеся жгуты опоясывали лица, — кровь брызгала.

Матросы, озверело оглядываясь, побросали набитые сумки — невтерпеж стало, — рассыпались кто куда.

XXVIII

Тревожно, торопливо трещал барабан. Играл горнист.

Через двадцать минут на площади шеренгами стояли солдаты с строгими лицами. И этой строго-

сти странно не соответствовала одежда. Одни были в прежнем пропотелом тряпье, другие — в крахмаленых, расстегнутых, подпоясанных веревочками сорочках — на груди стояли коробом. Иные — в дамских ночных кофтах или в лифах, и странные торчали из них черные руки, шеи. А правофланговый третьей роты, высокий, костлявый и сумрачный, стоял в черном фраке на голом теле, с рукавами до локтя; густо белели выше голых колен кружева.

Подошел Кожух, железно зажимая челюсти, а глаза серые, острого блеска. За ним командный состав в красивых грузинских офицерских папахах, малиновых черкесках, на которых серебряные с чернью кинжалы.

Кожух постоял, все так же посылая вдоль шеренги острый блеск стали крохотных глаз.

— Товарищи!

Голос такого же ржаво-ломаного железа, как тот, что ночью: «Вперед!.. в атаку!..»

— Товарищи! Мы — революционная армия, бьемось за наших дитэй, за жен, за наших старых матерей, отцов, за революцию, за нашу землю. А землю хто дал?

Он замолчал и ждал ответа, зная, что не будет ответа: стояли в строю.

— Хто дал? Совитска власть. А вы що сделали? А вы разбойниками стали, — пошли грабить.

Стояла такая тишина напряжения, что вот лопнет. А ржавое железо, ломаясь, гремело:

— Я, командующий колонной, я назначаю двадцать пять розог кажному, хто взял хочь нитку.

Все неподвижно смотрели на него, не спуская глаз: он был отрепан; штаны висели клочьями; как блин, обвисла грязная соломенная шляпа.

— У кого хоч трошки есть награбленного, три шага вперед!

Прошла тягостная секунда молчания — никто не тронулся...

И вдруг земля глухо и дружно: раз! два! три!.. Немного осталось стоять в тряпье. А в новой шеренге густо стояли одетые кто во что горазд.

— Що взято у городе, пойдет в общий котел, вашим же дитям и бабам. Кладите на землю, хто що взял. Всё!

Вся передняя шеренга шевельнулась и стала класть перед собой куски ситца, полотна, парусины, а другие стали снимать крахмаленые рубахи, дамские кофточки, лифчики; сложили на земле кучками и стояли, голые и загорелые. Снял и правофланговый фрак и панталоны и тоже стоял, костлявый и голый.

Подъехала повозка. Из повозки вынули розги.

Кожух подошел к фланговому.

— Лягай!

Тот стал на четвереньки, потом неуклюже лег лицом в панталоны, и солнце жгло ему голый зад.

Кожух ржаво закричал:

— Лягайте вси!

И все легли, подставляя зады и спины горячему солнцу.

Кожух смотрел, и лицо было каменное. Разве не эти люди, шумя буйной ордой, выбирали его в начальники? Разве не они кричали ему: «Продал... пропил нас?» Разве не они играли им, как щепкой? Разве не они хотели поднять его на штыки?

А теперь покорно лежат голые.

И волна силы и мощи, подобная той, что взносила его, когда честолюбиво добивался офицерства, поднялась в душе. Но это была другая волна, другого честолюбия — он спасет, он выведет вот

этих, которые так покорно лежат, дожидаясь розог. Покорно лежат, но если бы он заикнулся сказать: «Хлопцы, завертывайте назад, до козаков, до офицеров», — его бы подняли на штыки.

И опять ржавый Кожухов голос разнесся над лежавшими:

— Одевайсь!

Все поднялись и стали одеваться в крахмаленые рубахи, в кофточки, а правофланговый опять напялил фрак и надернул шесть штук панталон.

Кожух сделал знак, и два солдата с засветившимися лицами забрали нетронутую кучу розог и положили назад в повозку. Потом повозка поехала вдоль шеренги, и в нее радостно кидали куски ситцу, полотна, сатину.

XXIX

В бархатно-черном океане красновато шевелятся костры, озаряя лица, плоские, как из картона, фигуры, угол повозки, лошадиную морду. И вся ночь наполнена гомоном, голосами, восклицаниями, смехом; песни родятся близко и далеко; гаснут; зазвенит балалаечка; заиграет вперебивку гармоника. Костры, костры...

Ночь полна еще чем-то, о чем не хочется думать.

Над городом синевато озаренный свет электрического сияния.

Заглядывает красноватый отсвет потрескивающего костра в старое лицо. Знакомое лицо. Э-э, будь здорова, бабуся! Бабо Горпино! Дид в сторонке лежит молча на тулупе. Кругом костра сидят солдатики, и лица красно озарены, — из своей же станицы. Котелки подвешены, да в котелках, почитай, вода одна.

А баба Горпина:

— Господи, царица небесная, що ж воно таке?! Йшлы, йшлы, йшлы, а ничого нэма, хочь подыхай, нэма чого пойисты. Що ж воно таке за начальство — пожрать ничого не може дать? Якое же то начальство... Анки нэма. Дид мовчить.

Вдоль шоссе неровная цепочка уходящих костров.

За костром лежит на спине солдатик (его не видно), закинул за голову руки, смотрит в темное небо и не видит звезд. Не то вспомнить что-то хочется, не то тоска. Лежит, заломив руки, о чем-то о своем думает, и, как думы, плывет его голос — молодой, мягко-задумчивый:

...Возь-ми сво-ю жи-и-ин-ку...

Бьет ключом в котелке голая водица.

— Що ж воно таке... — это баба Горпина. — Завелы, тай подыхать нам тут. От одной воды тильки живот пучить, хочь вона наскрозь прокипить.

— Во́!.. — говорит солдат, протягивая к костру красно озаренную ногу в новом английском штиблете и в новых рейтузах.

У соседнего костра игриво заиграла гармоника. Прерывисто тянулась цепочка огней.

— И Анки нэма... Лахудра! Дэсь вона? Що з ей робиты? Хочь бы ты, диду, ее за волосья потягал. И чого ты мовчишь, як колода?..

...От-дай мою лю-уль-ку, не-о-ба-чный... —

продолжал свою песню солдатик да повернулся на живот, подпер подбородок и с красно озаренным лицом стал смотреть в костер.

Затейливо выделывала гармошка. В озаренно шевелящейся темноте смех, говор, песни и у ближних и у дальних костров.

— И все были люди, и у кажного — мать...

Он это сказал, ни к кому не обращаясь, молодым голосом, и сразу побежало молчание, погашая гармошку, говор, смех, и все почувствовали густой запах тления, наплывавший с массива — там особенно их много лежало.

Пожилой солдат поднялся, чтоб разглядеть говорившего... Плюнул в костер, зашипело. Должно быть, молчание в этой вдруг почувствовавшейся темноте долго бы стояло, да неожиданно ворвались крики, говор, брань.

— Что такое?

— Шо таке?

Все головы повернулись в одну сторону. А оттуда из темноты:

— Иди, иди, сволочь!..

В освещенный круг взволнованно вошла толпа солдат, и костер неверно и странно выхватывал из темноты то часть красного лица, то поднятую руку, штык. А в середине, поражая неожиданностью, блеснули золотые погоны на плечах тоненько перехваченной черкески молоденького, почти мальчика, грузина.

Он затравленно озирался огромными, прелестными, как у девушки, глазами, и на громадных ресницах, как красные слезы, дрожали капли крови. Так и казалось, он скажет: «Мама...» Но он ничего не говорил, а только озирался.

— У кустах спрятался, — все никак не справляясь с охватившим волнением, заговорил солдат. — Это каким манером вышло. Пошел я до ветру у кусты, а наши еще кричат: «Пошел, сукин сын, дальше». Я это в самые кусты сел, — чего такое

черное? Думал — камень, хвать рукой, а это — он. Ну, мы его в приклады.

— Коли его, так его растак!.. — подбежал маленький солдат со штыком наперевес.

— Постой... погоди... — загомонили кругом, — надо командиру доложить.

Грузин заговорил умоляюще:

— Я по мобилизации... я по мобилизации, я не мог... меня послали... у меня мать...

А на ресницах висли новые красные слезы, сползая с разбитой головы. Солдаты стояли, положив руки на дула, хмуро глядя.

Тот, что лежал по ту сторону на животе и все время, озаренный, смотрел в костер, сказал:

— Молоденький... Гляди, и шестнадцати нету...

Разом взорвали голоса:

— Та ты хто такий? Господарь?.. Мы бьемось с кадетами, а грузины чого под ногами путаются? Просили их сюда? Мы не на живот, на смерть бьемось с козаками, третий не приставай. А хто вставил нос у щель, оттяпаем совсем с головой.

Отовсюду слышались возбужденно-озлобленные голоса. Подходили и от других костров.

— Та хто-сь такий?

— Вон лежит молокосос... Ще и молоко на губах не обсохло.

— Та мать его так!

Солдат грубо выругался и стал снимать котелок. Подошел командир. Мельком глянул на мальчика и, повернувшись, пошел прочь, уронив так, чтобы грузин не слышал:

— В расход!

— Пойдем, — преувеличенно сурово сказали два солдата, вскинув винтовки и не глядя на грузина.

— Куда вы меня ведете?

Трое пошли, и из темноты донеслось с той же преувеличенной серьезностью:

— В штаб... на допрос... там будешь ночевать...

Через минуту выстрел. Он долго перекатывался, ломаясь в горах, наконец смолк... А ночь все была полна смолкшими раскатами. Вернулись двое, молча сели к огню, ни на кого не глядя... А ночь все была полна неумирающим последним выстрелом.

Точно желая стереть нестираемый отзвук его, все заговорили оживленно и громче обычного. Заиграла гармошка, затренькала балалайка.

— Мы лесом як продирались тай подошли к скале, чуем, пропало дило: и к ним не влизим и не уйдем, — день настане, всих расстреляють...

— Ни туды, ни суды, — засмеялся кто-то.

— А тут думка: притворились сукины диты, що сплять; зараз начнуть поливать. А там наверху по краю поставь десять стрелков — обои полки смахнут, як мух. Ну, лизим, один одному на плечи тай на голову становимся...

— А батько дэ був?

— Та и батько ж с нами лиз. Як долизлы до верху, осталось сажени дви, прямо стиной: нияк не можно, ни взад, ни вперед, — затаились вси. Батько вырвав у одного штык, устромив в скалу и полиз. И вси за им начали штыки в щели втыкать, так и пидтягалысь до самого верху.

— А у нас цельный взвод захлебнулся у мори. Скачем, як зайцы, с камня на камень. Темь. Они оборвались, один за одним, в воду — и потопли.

Но как оживленно ни стоял говор, как весело ни горели костры, темноту напряженно наполняло то, что каждый хотел забыть, и все так же неотвратимо наплывал запах тления.

А баба Горпина сказала:

— Що таке? — и показала.

Стали глядеть туда. В темноте, где невидимо стоял массив, мелькали дымные факелы, передвигались, наклонялись.

Знакомый молодой голос в темноте сказал:

— Это же наши команды и наряды из жителей подбирают. Целый день подбирают.

Все молчали.

XXX

Опять солнце. Опять блеск моря, иссиня-дымчатые очертания дальних гор. Все это медленно опускается, — шоссе петлями идет все выше и выше.

Крохотно далеко внизу белеет городок, постепенно исчезая. Синяя бухта, как карандашом, прямолинейно очерчена тоненькими линиями мола. Чернеют черточки оставленных грузинских пароходов. Вот только жаль — нельзя было прихватить и их с собою.

Впрочем, и без того много набрали всякой всячины. Везут шесть тысяч снарядов, триста тысяч патронов. Напрягая маслено-черные постромки, отличные грузинские лошади везут шестнадцать грузинских орудий. На грузинских повозках тянется множество всякого военного добра — полевые телефоны, палатки, колючая проволока, медикаменты; тянутся санитарные повозки — всего хоть засыпься. Одного нет: хлеба и сена.

Терпеливо идут лошади, голодно помахивая головами. Солдаты туго затянули животы, но все веселы — у каждого по двести, по триста патронов у пояса, бодро шагают в веселых горячих облаках белой пыли, и кучами носятся свыкшиеся с похо-

дом, неотстающие мухи. Дружно в шаг разносится в солнечном сверкании:

Чи-и у шин-кар-ки-и ма-ло го-рил-ки,
Ма-ло и пи-ва и мэ-э-ду-у...

Бесконечно скрипят арбы, повозки, двуколки, фургоны. Между красными подушками мотаются исхудалые детские головенки.

По тропинкам, сокращенно между шоссейными петлями, нескончаемо гуськом тянутся пешеходы все в тех же картузах, истрепанных, обвислых соломенных и войлочных шляпах, с палками в руках, а бабы в рваных юбках, босые. Но уже никто не подгоняет хворостиной живность, — ни коровы, ни свиньи, ни птицы; даже собаки с голоду куда-то попропали.

Бесконечно извивающаяся змея, шевелясь бесчисленными звеньями, вновь поползла в горы к пустынным скалам мимо пропастей, обрывов, расщелин, поползла к перевалу, чтоб перегнуться и сползти снова в степи, где хлеб и корм, где ждут свои.

Вда-ари-им о зем-лю ли-хом, жур-бою тай
бу-дем пить, ве-с-се-ли-и-ться...
То-рре-а-дор, сме-ле-е-е! То-рре-а-дор...

Новых пластинок набрали в городе.

Высятся в голубом небе недоступные вершины.

Городок утонул внизу в синеве. Расплылся берег. Море встало голубой стеной и постепенно закрылось обступившими шоссе верхушками деревьев. Жара, пыль, мухи, осыпи вдоль шоссе и леса, пустынные леса, жилье зверей.

К вечеру над бесконечно скрипевшим обозом стояло:

— Мамо... исты... исты дай... исты!..

Матери, исхудалые, с почернелыми лицами, похожими на птичьи клювы, вытянув шеи, смотрели воспаленными глазами на уходившее петлями все выше шоссе, торопливо мелькая босыми ногами около повозок, — им нечего было сказать ребятишкам.

Подымались все выше и выше, леса редели, наконец остались внизу. Надвинулась пустыня скал, ущелий, расщелин, громады каменных обвалов. Каждый звук, стук копыт, скрип колес отовсюду отражались, дико, разрастаясь, заглушая человеческие голоса. То и дело приходилось обходить павших лошадей.

Вдруг разом зной упал; потянуло с вершин; все посерело. Без промежутка наступила ночь. С почернелого неба хлынули потоки. Это был не дождь, а, шумя, сбивая с ног, неслась вода, наполняя бешеным водяным вихрем крутящуюся темноту. Неслась сверху, снизу, с боков. Вода струилась по тряпью, по прилипшим волосам. Потерялось направление, связь. Люди, повозки, лошади тянулись отъединенные, как будто между ними было бушующее пространство, не видя, не зная, что и кто кругом.

Кого-то унесло... Кто-то кричал... Да разве возможен тут человеческий голос?.. Клокотала вода, не то ветер, не то черно-бущующее небо, или горы валились... А может быть, понесло весь обоз, лошадей, повозки...

— Помоги-ите!

— Ра-а-туйте!.. кинец свита!..

Они думали, что кричат, а это, захлебываясь, шептали посинелые губы.

Лошади, сбитые несущимся потоком, увлекали повозку с детьми в провал, но люди долго шли около пустого места, думая, что идут за повозкой.

Дети зарылись в насквозь промокшие подушки и одежду:

— Ма-а-мо!.. ма-амо!.. та-а-ту!..

Им казалось — они отчаянно кричат, а это ревела несшаяся вода, катились с невидимых скал невидимые камни, бешено горланил живыми голосами ветер, непрерывно выливая ушаты.

Кто-то, распоряжавшийся в этом сумасшедшем доме, разом отдернул колоссальную завесу, и нестерпимо остро затрепетало синим трепетанием все, что помещалось до этого в черноте необъятной ночи. Режуще-сине затрепетали извилины дальних гор, зубцы нависших скал, край провала, лошадиные уши, и, что ужаснее, в этом безумно трепещущем свете все было мертво-неподвижно; неподвижны косые полосы воды в воздухе, неподвижны пенистые потоки, неподвижны лошади с поднятым для шага коленом, неподвижны люди на полушаге, открыты чернеющие рты на полуслове, и бледны синие ручонки детишек меж мокрых подушек. Все недвижно в молчаливо судорожном трепетании.

Это трепетание смертельной синевы продолжалось всю ночь; а когда так же неожиданно мгновенно завеса задернулась, оказалось — только долю секунды.

Громада ночи все поглотила, и тотчас же, покрывая эту ведьмину свадьбу, треснула гора, и из недр выкатился такой грохот, что не поместился во всей громаде ночи, раскололся на круглые куски и, продолжая лопаться, покатился в разные стороны, все разрастаясь, заполняя невидимые ущелья, леса, провалы, — люди оглохли, а ребятишки лежали, как мертвые.

Среди ливших потоков, поминутно моргающей синевы, без перерыва разрастающихся раскатов

остановился обоз, войска, орудия, зарядные ящики, беженцы, двуколки, — больше не было сил. Все стояло, отдаваясь на волю бешеных потоков, ветра, грохота и нестерпимо трепещущего мертвого света. Вода неслась выше лошадиных колен. Разыгравшейся ночи не было ни конца, ни края.

А наутро опять сияющее солнце; как умытый, прозрачен воздух; легко-воздушны голубые горы. Только люди черны, осунулись, ввалились глаза; напрягая последние силы, помогают тянуть лошадям. А у лошадей костлявые головы, выступили, хоть считай, ребра, чисто вымыта шерсть.

Кожуху докладывают:

— Так что, товарищ Кожух, три повозки смыло в пропасть совсем с людьми. Одну двуколку разбило камнем с горы. Двух убило молнией. Двое из третьей роты пропали без вести. А лошади десятками падают, по всея шаше лежат.

Кожух смотрит на чисто вымытое шоссе, на скалы, которые сурово громоздятся, и говорит:

— На ночлег не останавливаться, идтить безостановочно, день и ночь идтить!

— Лошади не выдержат, товарищ Кожух. Сена ни клочка. Через леса шли — хоть листьями кормили, а теперь голый камень.

Кожух помолчал.

— Идтить безостановочно! Будем останавливаться — все лошади пропадут. Напишите приказ.

Чудесный, чистый горный воздух, так бы и дышал им. Десяткам тысяч людей не до воздуха; молча глядя себе под ноги, шагают возле повозок, по обочинам, около орудий. Спешившиеся кавалеристы ведут тянущих назад повод лошадей.

Кругом одичало и голо громоздятся скалы. Узко темнеют расщелины. Бездонные пропасти,

ожидающие гибели. В пустынных ущельях бродят туманы.

И темные скалы, и расщелины, и ущелья полны ни на секунду не затихающего скрипа повозок, звука колес, топота копыт, громыхания, лязга. И все это, тысячу раз отовсюду отраженное, разрастается в дикий, несмолкаемый рев. Все идут молча, но если бы кто-нибудь закричал исступленно, все равно человеческий голос бесследно потонул бы в этом на десятки верст скрипуче-ревущем движении

Детишки не плачут, не просят хлеба, только в подушках мотаются бледные головенки. Матери не уговаривают, не ласкают, не кормят, а идут возле повозок, исступленно глядя на петлями уходящее к облакам, бесконечно шевелящееся шоссе; и сухи глаза.

Загорается неподавимый дикий ужас, когда остановится лошадь. Все с звериным исступлением хватаются за колеса, подпирают плечами, разъяренно хлещут кнутом, кричат нечеловеческими голосами, но все их напряжение, всю надрывность спокойно, не торопясь, глотает ненасытный, стократ отраженный, стократ повторенный, бесчисленный скрип колес.

А лошадь сделает шаг-другой, пошатнется, валится наземь, ломая дышло, и уже не поднять: вытянуты ноги, оскалена морда, и живой день меркнет в фиолетовых глазах.

Снимают детей; постарше мать исступленно колотит, чтоб шли, а маленьких берет на руки или сажает на горб. А если много... если много — одного, двух, самых маленьких, оставляет в неподвижной повозке и уходит, с сухими глазами, не оглядываясь. А сзади, не глядя, идут так же медленно, обтекают движущиеся повозки — неподвиж-

ную, живые лошади — мертвую, живые дети — живых, и незамирающий, тысячекрат отраженный, бесчисленный скрип спокойно глотает совершившееся.

Мать, несшая много верст ребенка, начинает шататься; подкашиваются ноги, плывет кругом шоссе, повозки, скалы.

— Ни... нэ дóйду.

Садится в сторонке на куче шоссейного щебня и смотрит и качает свое дитя, и мимо бесконечно тянутся повозки.

У ребенка открыт иссохший, почернелый ротик, глядят неподвижно васильковые глазки.

Она в отчаянии:

— Та нэма ж молока, мое сердце, мое ридне, моя квиточка...

Она безумно целует свое дитя, свою жизнь, свою последнюю радость. А глаза сухи.

Неподвижен почернелый ротик; неподвижно смотрят остановившиеся молочно-подернутые глазки. Она прижимает этот милый, беспомощно холодеющий ротик к груди.

— Доню моя ридна, не будэшь мучиться, в муках ждаты своей смерти.

В руках медленно остывающее тельце.

Разрывает щебень, кладет туда свое сокровище, снимает с шеи нательный крест, надевает через отяжелевшую холодную головенку пропотелый гайтан, зарывает и крестит, крестит без конца и края.

Мимо, не глядя, идут и идут. Неукротимо тянутся повозки, и стоит тысячеголосый, тысячекрат отраженный голодный скрип в голодных скалах.

Далеко впереди, в голове колонны, идут спешенные эскадронцы, насильно тянут за повод еле

ступающих коней, и уши у лошадей отвисли по-собачьему.

Становится жарко. Полчища мух, которых во время грозы ни одной не было, — все укромно прилипли под повозками к дрожинам, — теперь носятся тучами.

— Гей, хлопцы! Та що ж вы, як коты, що почуялы, що зъилы чуже мясо, вси хвосты спустилы. Грай писни!..

Никто не отозвался. Так же утомленно-медленно шагали, тянули за собой лошадей.

— Эх, матери вашей требуху! Заводи грахомон, нехай хочь вин грае...

Сам полез в мешок с пластинками, вытащил наобум одну и стал по складам разбирать:

— Б...бб...б... и... бби... мм, бим, бб...о — бимбом... Шо таке за чудо?.. кк... ллл... кл... о... н... клоу-ны... артисты сме-ха... Чудно! А ну, грай.

Он завел качавшийся на вьюке притороченный граммофон, вставил пластинку и пустил.

С секунду на лице подержалось неподдельное изумление, потом глаза сузились в щелочки, рот разъехался до ушей, блеснули зубы, и он покатился подмывающе заразительным смехом. Вместо песни из граммофонного раструба вырвался ошеломляющий хохот: хохотали двое, то один, то другой, то вместе дуэтом. Хохотали самыми неожиданными голосами, то необыкновенно тонкими — как будто щекотали мальчишек, то по-бычьему — и все дрожало кругом; хохотали, задыхаясь, отмахиваясь; хохотали, как катающиеся в истерике женщины; хохотали, надрывая животики, исступленно; хохотали, как будто уже не могли остановиться.

Шедшие кругом кавалеристы стали улыбаться, глядя на трубу, которая дико, как безумная, хохо-

тала на все лады. Пробежал смех по рядам; потом не удержались и сами стали хохотать в тон хохотавшей трубе, и хохот, разрастаясь и переходя по рядам, побежал дальше и дальше.

Добежал до медленно шагавшей пехоты, и там засмеялись, сами не зная чему, — тут не слышно было граммофона; хохотали, подмываемые хохотом передних. И этот хохот неудержимо покатился по рядам в тыл.

— Та чого воны покатываются? якого им биса? — и сами начинали хохотать, размахивая руками, крутя головой.

— От его батькови хвоста у ноздрю...

Шли, и хохотала вся пехота, хохотал обоз, хохотали беженцы, хохотали матери с безумным ужасом в глазах, хохотали люди на полтора десятка верст сквозь неумолчный голодный скрип колес среди голодных скал.

Когда этот хохот добежал до Кожуха, он побледнел, стал желтый, как дубленый полушубок, в первый раз побледнел за все время похода.

— Шо такое?

Адъютант, удерживаясь от разбиравшего его смеха, сказал:

— А черт их знает! Сказились. Я сейчас поеду, узнаю.

Кожух вырвал у него нагайку и поводья, неуклюже ввалился на седло и стал нещадно сечь лошадиные ребра. Исхудалый конь медленно шел с повисшими ушами, а нагайка стала просекать кожу. Он с трудом затрусил, а кругом катился хохот.

Кожух чувствовал, как у него начинает подергивать щеки, стиснул зубы. Наконец добрался до покатывающегося от хохота авангарда. Матерно выругался и вытянул по граммофону нагайкой.

— Замолчать!

Лопнувшая пластинка крякнула и смолкла. И молчание побежало по рядам, погашая хохот. Стоял доводящий до безумия безграничный, тысячекрат отраженный скрип, треск, грохот. Мимо отходили темные скалистые зубы голодных ущелий.

Кто-то сказал:

— Перевал!

Шоссе, перегнувшись, петлями пошло вниз.

XXXI

— Сколько их?

— Пятеро.

Пустынно и знойно струились лес, небо, дальние горы.

— Подряд?

— Подряд...

Кубанец из разъезда с потным лицом не договорил, сдернутый лошадью к гриве, — лошадь с мокрыми боками азартно отбивалась от мух, мотала головой, стараясь выдернуть из рук поводья.

Кожух сидел в бричке с кучером и адъютантом — мутно-красные, как из бани, разваренные. Кругом безлюдно.

— Далеко от шоссе?

Кубанец показал плетью влево:

— Верст с десяток або с пятнадцать, за перелеском.

— Сверток с шоссе туда есть?

— Есть.

— Козаков не видать?

— Ни-и, нэма. Наши верстов на двадцать про-

ихалы вперед, и не воняе козаками. По хуторам говорять, козаки верстов за тридцать за речкой окопы роють.

Кожух поиграл желваками на сделавшемся вдруг спокойным желтом лице, как будто оно не было перед этим вареное, как мясо.

— Задержать голову армии, повернуть на сверток, пропустить мимо *них* все полки, беженцев, обозы!

Слегка нагнулся кубанец над лукой и осторожно, чтоб не было принято за нарушение субординации, сказал:

— Крюк большой... падають люди... жара... не йилы.

Маленькие глазки Кожуха впились в знойно дрожавшую даль, стали серыми. Третьи сутки... Лица завалились, голодный блеск в глазах. Третьи сутки не ели. Горы сзади, но нужно идти изо всей мочи, выйти из пустынных предгорий, добраться до станиц, накормить людей и лошадей. И нужно спешить, не дать укрепиться казакам впереди. Нельзя терять ни минуты, нельзя терять эти десять — пятнадцать верст крюку.

Он посмотрел на молодое, почернелое от голодания и жары лицо кубанца. Глаза засветились сталью, и, протискивая слова сквозь зубы, сказал:

— Повернуть армию на сверток, пропустить мимо!

— Слушаю.

Поправил на голове круглую барашковую, мокрую от пота шапку, вытянул плетью ни в чем не повинную лошадь, и она разом повеселела, будто не было нестерпимо звенящего зноя, тучи оводов и мух, затанцевала, повернулась и весело поскакала к шоссе. Но шоссе не было, а бесконечно тянулись клубящимся валом серовато-белые

облака пыли, подымаясь выше верхушек деревьев, и неоглядно терялись сзади в горах. И в этих клубящихся облаках — чуялось — движутся тысячи голодных.

Бричка Кожуха, в которой нельзя дотронуться до деревянных частей, покатилась, и за ней покатилось нестерпимое знойно-звенящее дребезжание. Из-за сиденья выглядывал обжигающий пулемет.

Кубанец въехал в непроглядно волнующиеся удушливые облака. Ничего нельзя разобрать, но слышно — утомленно, бестолково и разрозненно идут разбившиеся ряды, едут конные, скрипят обозы. Черно-сожженные лица мутно отсвечивают капающим потом.

Ни говора, ни смеха, — тяжкое, плывущее вместе со всеми молчание. И в нем, в этом жарко переполненном молчании, те же разомлелые, разваренные, как попало, шаги, звуки копыт, скрип осей.

Понуро ступают лошади с бессильно свесившимися ушами.

Головенки детей переваливаются в повозках из стороны в сторону, и мутно белеют оскаленные зубы.

— Пи-ить... пи-ить...

Плывет удушливая, белесая, все покрывающая мгла, а в ней невидимо идут ряды, едут конные, со скрипом тянутся обозы. А может быть, это не зной, не плывущая белесая мгла, а налитое отчаяние, и нет надежды, нет мысли, лишь одна неизбежность. То, что железно сцепило, когда вошли в узкую дыру между морем и горами, затаенно шло все время вместе с ними, — теперь грозно глянуло концом: голодные, босые, изнуренные, в отрепьях, и солнце доканывает. А впереди жадно ждут сытые, приготовившиеся, окопавшиеся казачьи полки, хищные генералы.

Кубанец ехал в этих молчаливо-скрипучих удушливых облаках, только по окрикам разбираясь, где какая часть.

Временами разрывается серая мгла, и в просвете волнисто дрожат очертания холмов, млеет лес, струится голубое небо, и в воспаленные лица солдат исступленно глядит солнце. И опять медленно ползет, все покрывая нестройным гулом шагов, разрозненными звуками копыт, скрипучей музыкой обозов, безнадежностью. По обочинам, неясно выступая в плывущих облаках, сидят и лежат обессилевшие, запрокинув головы, чернея открытыми иссохшими ртами, и вьются мухи.

Кубанец, натыкаясь на людей и лошадей, доехал до головного отряда, слегка нагнулся с седла, переговорил с командиром. Тот нахмурился, глянул на смутно идущих, поминутно проступающих и теряющихся солдат, приостановился и чужим, не похожим на свой, хриплым голосом скомандовал:

— По-олк, стой!..

Душная мгла сейчас же, как вата, проглотила его слова, но, оказывается, где нужно, услышали и, все удаляясь и все слабея, прокричали на разные голоса:

— Батальон, стой! Ро-ота... стой!

И где-то совсем далеко, едва уловимо подержалось и мягко погасло:

— ...сто-о-ой!..

Гул шагов в головной колонне смолк, и все дальше и дальше побежало замирание движения, и в остановившейся мутно-горячей мгле на секунду наступило не только молчание, но и тишина, великая тишина бесконечной усталости, беспощадного зноя. Потом разом наполнилась многочисленным сморканием; откашливали набившуюся пыль; по-

минали матерей; крутили из листьев и травы цигарки, — и медленно оседающая пыль открывала лица, лошадиные морды, повозки.

Сидели на обочинах, в шоссейных канавах, держа между колен штыки. Неподвижно под палящим солнцем лежали, вытянувшись на спине.

Бессильно стояли лошади, свесив морды, не отгоняя густыми тучами липнувших мух.

— Вста-ва-ай!.. Эй, подымай-ся-а-а!..

Никто не шевельнулся, не тронулся: так же было неподвижно шоссе с людьми, лошадьми, повозками. Казалось, не было силы поднять людей, как груду камней, налитых зноем.

— Вставайте же... так вас и так... Какого дьявола!

Как приговоренные, поднимались по одному, по два и, не строясь и не дожидаясь команды, шли, как попало, положив давящие винтовки на плечи, глядя воспаленными глазами.

Шли, вразброд, по шоссе, по обочинам, по косогорам. Заскрипели повозки, и бесчисленно затолклись тучи мух.

Обугленные лица, сверкающие белки. Вместо шапок под страшным солнцем на головах лопухи, ветки, жгуты навернутой соломы. Шагают босые, истрескавшиеся, почернелые ноги. Иной, как арап, чернеет голым телом, и лишь бахромой болтаются тряпки около причинного места. Сухие мышцы исхудало выступают под почернелой кожей, и шагают, закинув голову, с винтовками на плечах, крохотно сузив глаза, раскрыв пересохшие рты. Лохматая, оборванная, почернелая, голая, скрипучая орда, и идет за ней зной, и идут за ней голод и отчаяние. Снова нехотя, изнеможенно подымаются белые облака, и с самых гор сползает в степь бесконечно клубящееся шоссе.

Вдруг неожиданно и странно:

— Правое плечо вперед!

И каждый раз, как подходит новая часть, с недоумением слышит:

— Правое плечо... правое... правое!..

Сначала удивленно, потом оживленной гурьбой сбегают на проселок. Он кремнист, без пыли, и видно, как торопливо сворачивают части, спускаются конные, и, со скрипом и грузно покачиваясь, съезжает обоз, двуколки. Открываются дали, перелески, голубые горы. Все судорожно-знойно трепещет безумное солнце. Мухи черными полчищами тоже сворачивают. Медленно оседающие облака пыли и удушливое молчание остаются на шоссе, а проселок оживает голосами, восклицаниями, смехом.

— Та куда нас?

— Мабудь, в лис отведуть, трохи горло перемочить, дуже пересмякло.

— Голова!.. В лиси тоби перины сготовилы, растягайся.

— Та пышок с каймаком напеклы.

— С маслом...

— Со смитаной...

— С мэдом...

— Та кавуна холодненького...

Высокий, костлявый, в изорванном, мокром от пота фраке, — и болтаются грязные кружевные остатки, из которых все лезет наружу, — сердито сплюнул тягучую слюну:

— Та цытьте вы, собаки... замолчить!..

Злобно перетянул ремень, загнал живот под самые ребра и свирепо переложил с плеча на плечо отдавившую винтовку.

Хохот колыхнул густую тучу носившихся мух.

— Опанас, та що ж ты зад прикрыв, а передницу усю напоказ? Сдвинь портки с заду на перед.

а то бабы у станицы не дадуть варэникив, — будут вид тебе морды воротить.

— Го-го-го... Хо-хо-хо...

— Хлопцы, а ей-бо, должно, днёвка.

— Та тут нияких станиц нэма, я же знаю.

— Що брехать. Вон от шаше столбы пишлы. телеграф. А куда ж вин, як не в станицу?

— Гей, кавалерия, що ж вы задаром хлеб едите, — грайте.

С лошади, покачивавшей на вьюке приторочённый граммофон, с хрипотой понеслось:

Ку-да, куда-а-а... пш... пш... вы уда-ли-лись...
пш... пш... ве-ес-ны-ы...

Понеслось среди зноя, среди черных колеблющихся мушиных туч, среди измученно, но весело шагающих, покрытых потом и белою мукою, изодранных, голых людей, и солнце смотрело с исступленным равнодушием. Горячим свинцом налитые, еле передвигающиеся ноги, а чей-то пересмякший высокий тенор начал:

А-а хо-зяй-ка до-бре зна-ла...

Да оборвалось — перехватило сухотой горло. Другие, такие же зноем охриплые голоса подхватили:

...Чо-го мо-скаль хо-че,
Тильки жда-ла ба-ра-ба-на,
Як вин за-тур-ко-че...

Почернелые лица повеселели, и в разных концах хоть и хрипло, но дружно подхватили тонкие и толстые голоса:

Як дож-да-лась ба-ра-ба-на,
«Слава ж то-би, бо-же!»
Та и ка-же мос-ка-ле-ви:
«Ва-ре-ни-кив, може?»

Аж пид-скочив мос-каль,
Та ни-ко-ли жда-ти;
«Лав-ренни-ки, лав-ренни-ки!»
Тай по-биг из ха-ты...

И долго вразбивку, нестройно, хрипло над толпой носилось:

...Ва-ре-ники!.. ва-ре-ни-ки!..
Ку-у-да-а... ку-у-да... ве-ес-ны-ы мо-ей
зла-ты-е дни-и...

— Э-э, глянь: батько!

Все, проходя, поворачивали головы и смотрели: да, он, все такой же: небольшой, коренастый, гриб с обвисшей грязной соломенной шляпой. Стоит, смотрит на них. И волосатая грудь смотрит из рваной, пропотелой, с отвисшим воротом гимнастерки. Обвисли отрепья, и выглядывают из рваных опорок потрескавшиеся ноги.

— Хлопцы, а наш батько дуже на бандита похож: в лиси встренься — сховаешься от ёго.

С любовью глядят и смеются.

А он пропускает мимо себя нестройные, ленивые, медленно гудящие толпы и сверлит маленькими неупускающими глазками, которые стали сини на железном лице.

«Да... орда, разбойная орда, — думает Кожух, — встренься зараз козаки, все пропало... Орда!..»

Ку-да-а... ку-да-а вы уда-ли-лись... пшш... пшш...
...Ва-ре-ни-ки!.. ва-ре-ни-ки!..

— Що таке? що́ таке? — побежало по толпам, погашая и «куда, куда...» и «вареники...»

Водворилось могильное молчание, полное гула шагов, и все головы повернулись, все глаза потянулись в одну сторону — в ту сторону, куда, как по

нитке, уходили телеграфные столбы, становясь все меньше и меньше и пропадая в дрожащем зное тоненькими карандашами. На ближних четырех столбах неподвижно висело четыре голых человека. Черно кишели густо взлетающие мухи. Головы нагнуты, как будто молодыми подбородками прижимали прихватившую их петлю; оскаленные зубы; черные ямы выклеванных глаз. Из расклеванного живота тянулись ослизло-зеленые внутренности. Палило солнце. Кожа, черно-иссеченная шомполами, полопалась. Воронье поднялось, рассеялось по верхушкам столбов, поглядывало боком вниз.

Четверо, а пятая... а на пятом была девушка с вырезанными грудями, голая и почернелая.

— Полк, сто-ой!..

На первом столбе белела прибитая бумага.

— Батальон, сто-ой... Рота, сто-ой!..

Так и пошло по колонне, замирая.

От этих пятерых плыло безмолвие и сладкий, приторный смрад.

Кожух снял изодранную, обвислую шляпу. И все, у кого были шапки, сняли. А у кого не было, сняли навернутую на голове солому, траву, ветки.

Палило солнце.

И смрад, сладкий смрад.

— Товарищи, дайте сюда.

Адъютант сорвал белевшую на столбе около мертвеца бумагу и подал. Кожух стиснул челюсти, и сквозь зубы пролезали слова.

— Товарищи, — и показал бумагу, которая на солнце ослепительно вырезалась белизной, — от генерала до вас. Генерал Покровский пишет: «Такой жестокой казни, как эти пятеро мерзавцев с Майкопского завода, будут преданы все, кто будет

замечен в малейшем отношении к большевикам». — И стиснул челюсти. Помолчав, добавил: — Ваши братья и... сестра.

И опять стиснул, не давая себе говорить, — не о чем было говорить.

Тысячи блестящих глаз смотрели не мигая. Билось одно нечеловечески огромное сердце.

Из глазных ям капали черные капли. Плыл смрад.

В безмолвии звенящий зной, тонкое зуденье мушиных полчищ. Только могильное молчание да пряный смрад. Капали капли.

— Сми-ир-но!.. Шагом арш!..

Гул тяжелых шагов сразу сорвал тишину, ровно и мерно заполнил зной, как будто идет один человек несказанного роста, несказанной тяжести, и бьется одно огромное, нечеловечески огромное сердце.

Идут и, не замечая того, все ускоряют тяжело отдающийся шаг, идут все размашистее. Безумно смотрит солнце.

В первом взводе с правого фланга покачнулся с черненькими усиками, выронил винтовку, грохнулся. Лицо багрово вздулось, напружились жилы на шее, и глаза красные, как мясо, закатились. Исступленно глядит солнце.

Никто не запнулся, не приостановился — уходили еще размашистее, еще торопливее, спеша и глядя вперед блестящими глазами, глядя в знойно трепещущую даль.

— Санитар!

Подъехала двуколка, подняли, положили, — солнце убило.

Прошли немного, повалился еще один, потом два.

— Двуколку!..

Команда:

— Накройсь!

Кто имел, накрылись шапками. Иные развернули дамские зонтики. Кто не имел, на ходу хватали сухую траву, наворачивали вокруг маковки. На ходу рвали с себя потное, пропитанное пылью тряпье, стаскивали штаны, рвали на куски, покрывались по-бабьи платочками и шли гулко, тяжело, размашисто, мелькая голыми ногами, пожирая уходившее под ногами шоссе.

Кожух в бричке хочет догнать головную часть. Кучер, вывалив рачьи от жары глаза, сечет, оставляя потные полосы на крупах. Лошади, в мыле, бегут, но никак не могут обогнать, — все быстрее, все размашистее идут тяжелые ряды.

— Що воны, сказылись?.. Як зайцы, скачуть...

И опять сечет и дергает заморенных лошадей.

«Добре, диты, добре... — из-под насунутого на глаза черепа поглядывает Кожух, а глаза — голубая сталь. — Так по семьдесят верстов будэмо уходить в сутки...»

Он слезает и идет, напрягаясь, чтобы не отстать, и теряется в быстро, бесконечно, тяжело идущих рядах.

Столбы уходят вдаль, пустые, одинокие. Голова колонны свертывает вправо. И когда поднимается на пустынное шоссе, опять неотвратимо встают и окутывают душные облака. Ничего не видно. Только тяжелый гул шагов, ровный, мерный, наполняет громадой удушливо волнующиеся облака, которые быстро катятся вперед.

А к оставленным столбам часть за частью подходит, останавливается.

Как мгла, наплывает, погашая звуки, могильная тишина. Командир читает генеральскую бумагу.

Тысячи блестящих глаз глядят, не мигая, и бьется одним биением сердце, бьется одно невиданно огромное сердце.

Все так же неподвижны пятеро. Под петлями разлезлось почернелое мясо, забелели кости.

На верхушке столбов сидит воронье, бочком блестящим глазом поглядывает вниз. Стоит густой, сладкий до тошноты запах жареного мяса.

Потом мерным гулом отбивают шаг все, быстрее; сами не замечая, без команды постепенно выравниваются в тяжелые тесные ряды. И идут, позабыв, с обнаженными головами, не видя ни уходящих, как по нитке, столбов, ни страшно коротких, резких до черноты полуденных теней, впиваясь искрами мучительно суженных глаз в далекое знойное трепетанье.

И команда:

— Накройсь!..

Идут все быстрее, все размашистее, тяжелыми ровными рядами, сворачивая вправо, вливаясь в шоссе, и облака глотают и катятся вместе с ними.

Проходят тысячи, десятки тысяч людей. Уже нет взводов, нет рот, батальонов, нет полков, — есть одно неназываемое, громадное, единое. Бесчисленными шагами идет, бесчисленными глазами смотрит, множеством сердец бьется одно неохватимое сердце.

И все как один, не отрываясь, впились в знойную даль.

Легли длинные косые тени. Синё затуманились назади горы. Завалилось за край ослабевшее, усталое, подобревшее солнце. Тяжело тянутся повозки, арбы с детьми, с ранеными.

Их останавливают на минуту и говорят:

— Ваши братья... Генеральские дела...

Потом двигаются дальше, и лишь слышен скрип колес. Только ребятишки испуганно шушукаются:

— Мамо, а мертвяки до нас ночью не придут?

Бабы крестятся, сморкаются в подол, вытирают глаза:

— Жалкие вы наши...

Старики смутно идут у повозок. И все становится неугадываемо. Уже нет столбов, а стоят в темноте громады, подпирающие небо. И небо все бесчисленно заиграло, но от этого не стало светлей. И будто горы кругом чернеют, а это, оказывается, косогоры, а горы давно заслонила ночь, и чудится кругом незнаемая, таинственная, смутная равнина, на которой все возможно.

Проносится такой темный женский вскрик, что игравшие звезды все полыхнулись в одну сторону.

— Ай-яй-яй... що воны зробылы з ими!.. Та зверюки... Та скаженнии... Ратуйте, добрии людэ... Смотрите ж на их!..

Она хватается за столб, обнимает холодные ноги, прижимаясь молодыми растрепавшимися волосами.

Дюжие руки с трудом отдирают от столба и волокут к повозке. Она по-змеиному вывертывается, опять бросается, обнимая, и опять само испуганно заигравшее небо безумно мечется.

— ...Та дэ ж ваша мамо? дэ ж ваши сэстры?! Чи вы не хотилы житы... Дэ ж ваши очи ясные, дэ ж ваша сила, дэ ж ваше слово ласкаве?.. Ой, нэбоги! ой, бесталанны! Никому над вами поплакаты, никому погорюваты... никому сльозьми вас покропиты...

Ее опять хватают, она скользко вырывается, и снова безумная ночь мечется.

— Та чого ж воны наробилы!.. Сына зйилы, Степана зйилы, вас пойилы. Так йишты всих до разу, с кровью, с мясом, йишты, шоб захлебнуться вам, шоб набить утробу человечиной, костями, глазами, мозгами...

— Тю-у!! Та схаменися...

Повозки не стоят, скрипят дальше. Ушла и ее повозка. Ее хватают другие, она вырывается, и опять не крики, а исступленно рвется темнота, мечется безумная ночь.

Только арьергард, проходя, силой взял ее. Привязали на последней повозке. Ушли.

И было безлюдно, и стоял смрад.

XXXII

У выхода шоссе из гор жадно ждут казаки. С тех пор как по всей Кубани разлился пожар восстания, большевистские силы повсюду отступают перед казацкими полками, перед офицерскими частями Добровольческой армии, перед «кадетами», нигде не в состоянии задержаться, упереться, остановить остервенелый напор генералов, — и отдают город за городом, станицу за станицей.

Еще при начале восстания часть большевистских сил выскользнула из железного кольца восставших и нестройной громадной разложившейся оравой с десятками тысяч беженцев, с тысячами повозок побежала по узкой полосе между морем и горами. Их не успели догнать: так быстро они

бежали, а теперь казацкие полки залегли и дожидаются.

У казаков сведения, что потоком льющиеся через горы банды везут с собой несметно-награбленные богатства — золото, драгоценные камни, одежду, граммофоны, громадное количество оружия, военных припасов, но идут рваные, босые, без шапок, — очевидно, в силу старой босяцкой привычки бездомной жизни. И казаки, от генерала до последнего рядового, нетерпеливо облизываются, — всё, все богатства, все драгоценности, всё неудержимо само плывет им в руки.

Генерал Деникин поручил генералу Покровскому сформировать в Екатеринодаре части, окружить ими спускающиеся с гор банды и не выпустить ни одного живым. Покровский сформировал корпус, прекрасно снабженный, перегородил дорогу по реке Белой, белой от пены, несущейся с гор. Часть отряда послал навстречу.

Весело едут, лихо заломив папахи, казаки на сытых, добрых лошадях, поматывающих головами и просящих повода. Звенит чеканное оружие, блестит на солнце; стройно покачиваются перехваченные поясами черкески, и белеют ленточки на папахах.

Проезжают через станицы с песнями, и казачки выносят своим служивым и пареное и жареное, а старики выкатывают бочки с вином.

— Вы же нам хочь одного балшевика приведите на показ, хочь посмотреть его, нового, с-за гор.

— Пригоним, готовьте перекладины.

Лихо умели казаки пить и лихо рубиться.

Вдали бело заклубились гигантские облака пыли.

— Ага, вот они!

Вот они — рваные, черные, в болтающихся лохмотьях, в соломе и траве вместо шапок.

Поправили папахи, выдернули блеснувшие с мгновенным звуком шашки, пригнулись к лукам, и полетели казацкие кони, ветер засвистел в ушах.

— Эх, и рубанем же!

— Урра-а!..

В полторы-две минуты произошло чудовищно-неожиданное: налетели, сшиблись, и пошли бешено лететь с лошадей казаки с разрубленными папахами, с перерубленными шеями, либо сразу на штыки подымают и лошадь и всадника. Повернули коней, полетели, так пригнулись, что и не видать, и ветер еще больше засвистел в ушах, а их стали снимать с лошадей певучими пулями. Наседают проклятые босяки, гонят две, три, пять, десять верст, — одно спасение: кони у них мореные.

Пролетели казаки через станицу, а те ворвались, стали рвать свежих лошадей, рубить направо-налево, если не сразу выводили им из конюшен, и опять погнали; и много казацких папах с белыми ленточками раскатилось по степи, и много черкесок, тонко перехваченных серебряными с чернью поясами, зачернело по синеющим курганам, по желтому жнивью, по перелескам.

Только тогда отодрались от погони, когда домчались казаки до своих передовых сил, залегших в окопах.

А спустившиеся с гор босые, голые банды бежали что есть духу за своими эскадронами. И заговорили орудия, застрекотали пулеметы.

Не захотел Кожух развертывать свои силы днем: знал — большой перевес у врага, не хотел обнаружить свою численность, дождался темноты. А когда густо стемнело, произошло то же, что и днем: не люди, а дьяволы навалились на казаков.

Казаки их рубили, кололи, рядами клали из пулеметов, а казаков становилось все меньше и меньше, все слабее ухали, изрыгая длинные полосы огня, их орудия, реже стрекотали пулеметы, и уже не слышно винтовок — ложатся казаки.

И не выдержали, побежали. Но и ночь не спасала: полосой ложились казаки под шашками и штыками. Тогда бросились врассыпную, кто куда, отдав орудия, пулеметы, снаряды, рассыпались среди ночи по перелескам, по оврагам, не понимая, что за дьявольскую силу нанесло на них.

А когда солнце длинно глянуло из-за степных увалов, по бескрайней степи много черноусых казаков: ни раненых, ни пленных — все недвижимы.

В тылу, в обозе, среди беженцев курились костры, варили в котелках, жевали лошади сено и овес. Вдали гремела канонада, никто не обращал внимания, — привыкли. Только когда смолкло, показались с фронта — то конный ординарец с приказаниями, то фуражир, то солдатик, тайком пробирающийся повидать семью. И со всех сторон женщины, с почернелыми, измученными лицами, кидались к нему, хватались за стремена, за поводья:

— Што с моим?

— А мой?

— Жив ай нет?

С молящими, полными ужаса и надежды глазами.

А тот едет рысцой, слегка помахивая нагайкой, роняет навстречу то одной, то другой:

— Жив... Живой... Раненый... Раненый... Убитый, зараз привезут...

Он проезжает, а за ним либо радостно, облегченно крестятся, либо заголосит, либо ахнет и повалится замертво, и льют на нее воду.

Привезут раненых — матери, жены, сестры, невесты, соседки ухаживают. Привезут мертвых — бьются на груди у них, и далеко слышны невозвратимые слезы, вой, рыдания.

А конные уже поехали за попом.

— Як скотину хороним, без креста, без ладана.

А поп ломается, говорит — голова болит.

— А-а, голова-а...а, не хочешь... задницу будем лечить.

Вытянули нагайкой раз, другой, — вскочил поп как встрепанный, засуетился. Велели ему облачиться. Просунул голову в дыру, надел черную с белым позументом ризу, — книзу разошлась, как на обруче, — такую же траурную епитрахиль. Выпростал патлы. Велели взять крест, кадило, ладан.

Пригнали дьякона, дьячка. Дьякон — огромный проспиртованный мужчина, тоже весь траурный, черный с позументами, рожа — красная. Дьячок — поджарый.

Обрядились. Погнали всех троих. Лошади идут иноходью. Торопится поп с дьяконом и дьячком. Лошади помотывают мордами, а всадники помахивают нагайками.

А за обозом, возле садов на кладбище, уже неисчислимо толпится народ. Смотрят. Увидали:

— Бачь, попа гонють.

Закрестились бабы:

— Ну, слава богу, як треба, похоронють.

А солдаты:

— Бачь — и дьякона пригналы и дьяка.

— Дьякон дуже гарный: пузо як у борова.

Подошли те торопливо, не отдышатся, пот ручьем. Дьячок живой рукой раздул кадило. Мертвые неподвижно лежали со сложенными руками.

— Благословен господь...

Дьякон устало слегка забасил, а дьячок слабо всплыл скороговоркой, гундося в нос:

Свя-а-тый бо-же, свя-а-тый крепкий, свя-а-тый бесс...

Синевато струится кадильный дымок. Бабы придушенно всхлипывают, зажимая рты. Солдаты стоят сурово, с черными исхудалыми лицами — им не слышно усталых поповских голосов.

Сидевший без шапки на высокой гнедой лошади кубанец, пригнавший причт, слегка толкнул лошадь — она переступила; он набожно нагнулся к попу и сказал шепотом, который разнесся по всему кладбищу:

— Ты, ммать ттвою, колы будэшь як некормлена свыня, усю шкуру...

Поп, дьякон, дьячок в ужасе скосили на него глаза. И сейчас же дьякон заревел потрясающим ревом, — вороны шумно поднялись со всего кладбища; поп залился тенором, а дьячок, приподнявшись на цыпочки и закатив глаза, пустил тонкую фистулу, — в ушах зазвенело:

Со-о свя-а-ты-ми у-у-по-ко-ой...

Кубанец оттянул назад лошадь и сидел неподвижно, как изваяние, мрачно нахмурив брови. Все закрестились и закланялись.

Когда закапывали, дали три залпа. И бабы, сморкаясь и вытирая набрякшие глаза, говорили:

— Дуже хорошо служил батюшка — душевно.

XXXIII

Ночь поглотила громаду степи, и увалы, и синевшие весь день на краю проклятые горы, и станицу на вражеской стороне, — там ни одного огонька, ни звука, как будто ее нет. Даже собаки молчат, напуганные дневной канонадой. Лишь шумит река.

Целый день за невидимой теперь рекой, из-за сереющих казацких окопов, потрясающе ухали орудия. Не жалея снарядов, били они. И бесчисленные клубочки бело вспыхивали над степью, над садами, над оврагами. Им отсюда отвечали редко, устало, нехотя.

— А-а-а... — злорадно говорили казацкие артиллеристы, — за шкуру берет... — подхватывали орудия, накатывали, и опять звенел снаряд.

Для них было ясно: на той стороне подорвались, ослабли, уже не отвечают выстрелом на выстрел. Перед вечером босяки повели было наступление из-за реки. Да так зашпарили им — цепи все разлезлись, позалегли кто куда. Жалко, что ночь, а то бы дали им. Ну, да еще будет утро.

Шумит река, наполняет шумом всю темноту. А Кожух доволен, и серой сталью тоненько посвечивают крохотные глазки. Доволен: армия в руках у него, как инструмент, послушный и гибкий. Вот он пустил перед вечером цепи, велел наступать вяло и залечь. И теперь, когда среди ночи, среди бархатной тьмы пошел проверить, — все на местах, все над самой рекой, а под шестисаженным обрывом шумит вода; шумит река и напоминает ту шумящую реку и ночь, когда все это началось.

Каждый из солдат прополз в темноте, щупал,

мерил обрыв. Каждый солдат залегших полков знал, изучил свое место. Не ждал, как баран, куда и как пихнут командиры.

В горах пошли дожди; днем река неслась бешеной пеной, а теперь шумит. Знают солдаты — уже ухитрились вымерить, — река сейчас два-три аршина глубиной, придется местами плыть, — ничего, и поплавать можно. Еще засветло, лежа в углублениях, в промоинах, в кустах, в высокой траве под непрерывно рвущимся шрапнельным огнем, высмотрели, каждый на своем участке, кусок окопа, на той стороне реки, на который он ударит.

Влево перекинулось два моста; железнодорожный и деревянный; теперь их не видно. Казаки навели на них батарею и поставили пулемет — этого тоже не видно.

В ночной темноте, полной шума реки, недвижимо стоят против мостов, по приказу Кожуха, кавалерийский и пехотный полки.

Ночь медленно течет без звезд, без звуков, без движения, лишь шум невидимо бегущей воды монотонно наполняет ее пустынную громаду.

Казаки сидели в окопах, слушали шум несущейся воды, не выпуская винтовок, хотя знали, что босяки ночью не сунутся через реку, — достаточно им насыпали, — и ждали. Ночь медленно плыла.

Солдаты лежали на краю обрыва, как барсуки, свесив в темноте головы, слушали вместе с казаками шум несущейся воды и ждали. И то, чего ждали и что, казалось, никогда не наступит, стало наступать: медленно, трудно, как намек, стал рождаться рассвет.

Ничего еще не видно — ни красок, ни линий, ни очертаний, но темнота стала больной, стала

прозрачнеть. Разморённо предрассветное бдение.

Что-то неуловимое пробежало по левому берегу, — не то электрическая искра, не то промчалась беззвучно стайка ласточек.

С шестисаженной высоты, как из мешка, посыпались солдаты вместе с грудой просыпавшейся глины, песка и мелкого камня... Шумит река...

Тысячи тел родили тысячи всплесков, тысячи заглушенных шумом реки всплесков... Шумит река, монотонно шумит река...

Лес штыков вырос в серой мгле рассвета пред изумленными казаками, закипела работа в реве, в кряканье, в стоне, в ругательствах. Не было людей — было кишевшее, переплетшееся кровавое зверье. Казаки клали десятками, сами ложились сотнями. Дьявольская, непонятно откуда явившаяся сила опять стала на них наваливаться. Да разве это те большевики, которых они гнали по всей Кубани? Нет, это что-то другое. Недаром они все голые, почернелые, в лохмотьях.

Как только по всему пространству дико заревел правый берег, артиллерия и пулеметы через головы своих стали засыпать станицу, а кавалерийский полк исступленно понесся через мосты; за ним, надрываясь, бежала пехота. Захвачены батарея, пулеметы, и по всей станице разлились эскадроны. Видели, как из одной хаты вырвалось белое и с поразительной быстротой пропало на неоседланной лошади во мгле рассвета.

Хаты, тополя, белеющая церковь — все проступало яснее и яснее. За садами краснела заря.

Из поповского дома выводили людей с пепельными лицами, в золотых погонах, — захватили часть штаба. Возле поповской конюшни им рубили головы, и кровь впитывалась в навоз.

За гомоном, криками, выстрелами, ругательствами, стонами не слышно было, как шумит река.

Разыскали дом станичного атамана. От чердака до подвала все обыскали, — нет его. Убежал. Тогда стали кричать:

— Колы нэ вылизишь, дитэй сгубим!

Атаман не вылез.

Стали рубить детей. Атаманша на коленях волочилась с разметавшимися косами, неотдираемо хватаясь за их ноги. Один укоризненно сказал:

— Чого ж кричишь, як ризаная? От у мене аккурат як твоя дочка, трехлетка... В щебень закопалы там, у горах, — та я ж не кричав.

Срубил девочку, потом развалил череп хохотавшей матери.

Около одной хаты, с рассыпанными по земле стеклами, собралась кучка железнодорожников.

— Генерал Покровский ночевал. Трошки не застукали. Как услыхал вас, высадил окно совсем с рамой, в одной рубахе, без подштанников, вскочил на неоседланную лошадь и ускакал.

Эскадронец хмуро:

— Чого ж вин без порток? Чи у бани був?

— Спал.

— Як же ж то: спал, а сам без порток? Чи так бувае?

— Господа завсегда так: дохтура велять.

— От гады! И сплять як нелюди.

Плюнул и пошел прочь.

Казаки бежали. Семьсот лежало их, наваленных в окопах и длинной полосой в степи. Только мертвые. И опять у бежавших над страхом и напряжением подымалось неподавимое изумление перед этой неведомой сатанинской силой.

Всего два дня тому назад эту самую станицу

занимали главные большевистские силы; казаки их выбили с налету, гнали и теперь гонят посланные части. Откуда же эти? И не сатана ли им помогает?

Показавшееся над далеким степным краем солнце длинно и косо слепило бегущих.

Далеко раскинулся обоз и беженцы по степи, по перелескам, по увалам. Все те же синие дымки над кострами; те же нечеловеческие костлявые головенки детские не держатся на тоненьких шеях. Так же на белеюще-разостланных грузинских палатках лежат мертвые со сложенными руками, и истерически бьются женщины, рвут на себе волосы, — другие женщины, не те, что прошлый раз.

Около конных толпятся солдаты.

— Та вы куды?

— Та за попом.

— Та ммать его за ногу, вашего попа!..

— А як же ж! Хиба без попа?

— Та Кожух звелив оркестр дать, шо у козаков забралы.

— Шо ж оркестр? Оркестр — меднии трубы, а у попа жива глотка.

— Та на якого биса ёго глотка? Як зареве, аж у животи болить. А оркестр — воинска часть.

— Оркестр! оркестр!..

— Попа!., попа!..

— Та пойдите вы с своим попом пид такую мать!..

И «оркестр» и «поп» перемешивались с самой соленой руганью. Прослышавшие бабы прибежали и ожесточенно кричали:

— Попа! попа!

Подбежавшие молодые солдаты:

— Оркестр! оркестр!

Оркестр одолел.

Конные стали слезать с лошадей.

— Ну, шо ж, зовите оркестр.

Нескончаемо идут беженцы, солдаты, и торжественно, внося печаль и чувство силы, мрачно и медленно звучат медные голоса, и медно сияет солнце.

XXXIV

Казаки были разбиты, но Кожух не трогался с места, хотя надо было выступать во что бы то ни стало. Лазутчики, перебежчики из населения, в один голос говорили — казаки снова сосредоточивают силы, организуются. Непрерывно от Екатеринодара подходят подкрепления; погромыхивая, подтягиваются батареи; грозно и тесно идут офицерские батальоны; все новые и новые прибывают казачьи сотни, — темнеет кругом Кожуха, темнеет все гуще огромно скопляющаяся сила. Ох, надо уходить! Надо уходить; еще можно прорваться, еще недалеко ушли главные силы, а Кожух... стоит.

Не хватает духу двинуться, не дождавшись отставших колонн. Знает: не боеспособны они; если предоставить их своим силам, казаки разнесут их вдребезги — все будут истреблены. И тогда в славе, которая должна осенить будущее Кожуха как спасителя десятков тысяч людей, это истребление будет меркнущим пятном.

И он стал ждать, а казаки накапливали темно густеющие силы. Железный охват совершался с неодолимой силой, и в подтверждение, тяжко потрясая и степь и небо, загремела вражеская артиллерия, и без перерыва стала рваться шрап-

нель, засыпая людей осколками, — а Кожух не двигался, только отдал приказание открыть ответный огонь. Днем над теми и другими окопами поминутно вспыхивали белые клубочки, нежно тая; ночью чернота поминутно раззевалась огненным зевом, и уже не слышно было, как шумит река.

Прошел день, прошла ночь; гремят, нагреваясь, орудия, а задних колонн нет, все нет. Прошел второй день, вторая ночь, а колонн все нет. Стали таять патроны, снаряды. Велел Кожух бережней вести огонь. Приободрились казаки; видят — реже отвечать стали и не идут дальше — ослабли, думают, и стали готовить кулак.

Три дня не спал Кожух; стало лицо как дубленый полушубок; чует, будто по колена уходят в землю ноги. Пришла четвертая ночь, поминутно вспыхивающая орудийными вспышками. Кожух говорит:

— Я на часок лягу, но ежели что, будите сейчас же.

Только завел глаза, бегут:

— Товарищ Кожух! Товарищ Кожух!.. плохо дело...

Вскочил Кожух, ничего не поймет, где он, что с ним. Провел рукой по лицу, паутину снимает, и вдруг его поразило молчание, — день и ночь раскатами гремевшие орудия молчали, только винтовочная трескотня наполняла темноту. Плохо дело, — значит, сошлись вплотную. Может, уже и фронт проломан. И услыхал он, как шумит река.

Добежал до штаба — видит, лица переменились у всех, стали серые. Вырвал трубку — пригодились грузинские телефоны.

— Я — командующий.

Слышит, как мышь пищит в трубку:

— Товарищ Кожух, дайте подкрепление. Не могу держаться. Кулак. Офицерские части...

Кожух каменно в трубку:

— Подкрепления не дам, нету. Держитесь до последнего.

Оттуда:

— Не могу. Удар сосредоточен на мне, не выд...

— Держитесь, вам говорят! В резерве — ни одного человека. Сейчас сам буду.

Уже не слышит Кожух, как шумит река: слышит, как в темноте раскатывается впереди, вправо и влево ружейная трескотня.

Велел Кожух... да не успел договорить: а-а-а!..

Даром что темь, разобрал Кожух: казаки ворвались, рубят направо-налево, — прорыв, конная часть влетела.

Кинулся Кожух; прямо на него набежал командир, который только что говорил.

— Товарищ Кожух...

— Вы зачем здесь?

— Я не могу больше держаться... там прорыв...

— Как вы смели бросить свою часть?!

— Товарищ Кожух, я пришел лично просить подкрепления.

— Арестовать!

А в кромешном мраке крики, хряст, выстрелы. Из-за повозок, из-за тюков, из-за черноты изб вонзаются в темноту мгновенные огоньки револьверных, винтовочных выстрелов. Где свои? где чужие? сам черт не разберет... А может, друг друга свои же бьют... А может, это снится?

Бежит адъютант, в темноте Кожух угадывает его фигуру.

— Товарищ Кожух...

Взволнованный голос, — хочется малому жить. И вдруг адъютант слышит:

— Ну... что ж, конец, что ли?

Неслышанный голос, никогда не слышанный Кожухов голос. Выстрелы, крики, хряст, стоны, а у адъютанта где-то глубоко, полусознанно, мгновенно, как искра, и немножко злорадно:

«Ага-а, и ты такой же, как все... жить-то хочешь...»

Но это только доля секунды. Темь, не видно, но чувствуется каменное лицо у Кожуха, и ломано-железный голос сквозь стиснутые челюсти:

— Немедленно от штаба пулемет к прорыву. Собрать всех штабных, обозных; сколько можно, отожмите казаков к повозкам. Эскадрон с правого фланга!..

— Слушаю.

Исчез в темноте адъютант. Все те же крики, выстрелы, стоны, топот. Кожух — бегом. Направо, налево вспыхивающие язычки винтовок, а саженей на пятьдесят темно — тут прорвались казаки, но солдаты не разбежались, а только попятились, залегли где как попало и отстреливались. В черноте можно разглядеть перебегающие спереди сгустки людей, все ближе и ближе... залегают, и оттуда начинают вонзаться вспыхивающие язычки, а солдаты стреляют по огонькам.

Подкатили штабной пулемет. Кожух приказал прекратить стрельбу и стрелять только по команде. Сел за пулемет и разом почувствовал себя как рыба в воде. Направо, налево трескотня, вспышки. Вражеская цепь, как только солдаты прекратили стрельбу, бросилась: ура-а-а!.. Уже близко, уже различимы отдельные фигуры: согнувшись бегут, винтовки наперевес.

Кожух:

— Пачками!

И повел пулеметом.

Тырр-тырр-тырр-тыр...

И, как темные карточные домики, стали валиться черные сгустки. Цепь дрогнула, подалась... Побежали назад, редея. Снова непроглядная темь. Реже выстрелы, и, постепенно нарастая, стал слышен шум реки.

А позади, в глубине, тоже стали стихать выстрелы, крики: казаки, не поддержанные, постепенно рассеялись, бросали лошадей, залезали под повозки, забирались в черные избы. Человек десять взяли живьем. Их рубили шашками через рот, из которого пахло водкой.

Чуть посерел рассвет, взвод повел на кладбище арестованного командира. Вернулись без него.

Поднялось солнце, осветило неподвижно-ломаную цепь мертвецов, точно неровно отхлынувший прибой оставил. Местами лежали кучами — там, где ночью был Кожух. Прислали парламентера. Кожух разрешил подобрать: гнить будут под жарким солнцем — зараза.

Подобрали, и опять заговорили орудия, опять нечеловеческий грохот сотрясает степь, небо и тяжко отдается в груди и мозгу.

Рвутся в синеве чугунно-свинцовые осколки. Живые сидят и ходят с открытыми ртами — легче ушам; мертвые неподвижно ждут, когда унесут в тыл.

Тают патроны, пустеют зарядные ящики. Не двигается Кожух, не слыхать подходящих колонн. Созывает совещание, не хочет брать на себя: остаться — всем погибнуть; пробиться — задним колоннам погибнуть.

XXXV

Далеко в тылу, где бескрайно по степи — повозки, лошади, старики, дети, раненые, говор, гомон, — засинели сумерки. Засинели сумерки, засинели дымки от костров, как это каждый вечер.

Нужды нет, что это десятка за полтора верст, за далеким краем степи, а земля целый день поминутно тяжело вздрагивает под ногами от далекого грохота; вот и сейчас... да привыкли, не замечают.

Синеют сумерки, синеют дымки, синеет далекий лес. А между лесом и повозками синеет поле, пустынное, затаенное.

Говор, лязг, голоса животных, звук ведер, детский плач и бесчисленно краснеющие пятна костров.

В эту домашность, в эту мирную смутность долетело, родившись в лесу, такое чуждое, далекое в своей чуждости.

Сначала потянулось отдаленное: а-а-а-а!.. оттуда, из мути сумерек, из мути леса: а-а-а-а!..

Потом зачернелось, отделившись от леса, — сгусток, другой, третий... И черные тени развернулись, слились вдоль всего леса в черную колеблющуюся полосу, и покатилась она к лагерю, вырастая, и покатилось с нею, вырастая, все то же полное смертельной тоски: ра-а-а!..

Все головы, сколько их ни было, — и людей и животных, — повернулись туда, к смутному лесу, от которого катилась на лагерь неровная полоса, и по ней мгновенно вспыхивали и никли узкие взблески.

Головы были повернуты, костры краснели пятнами.

И все услышали: земля вся, в самой утробе своей, тяжело наполнилась конским топотом, и

заглушились вздрагивающие далекие орудийные удары.

...А-а-аа!..

Между колесами, оглоблями, кострами заметались голоса, полные обреченности:

— Козаки!.. козаки!.. ко-за-а-ки-и!..

Лошади перестали жевать, навострили уши, откуда-то приставшие собаки забились под повозки.

Никто не бежал, не спасался; все непрерывно смотрели в сгустившиеся сумерки, в которых катилась черная лавина.

Это великое молчание, полное глухого топота, пронзил крик матери. Она схватила ребенка, единственное оставшееся дитя, и, зажав его у груди, кинулась навстречу нарастающей в топоте лавине.

— Сме-ерть!.. сме-ерть!.. сме-ерть идет!..

Как зараза, это полетело, охватывая десятки тысяч людей:

— Сме-ерть!.. сме-ерть!..

Все, сколько их тут ни было, схватив, что попалось под руку, — кто палку, кто охапку сена, кто дугу, кто кафтан, хворостину, раненые — свои костыли, — все в исступлении ужаса, мотая этим в воздухе, бросились навстречу своей смерти.

— Сме-ерть!.. сме-ерть!..

Ребятишки бежали, держась за подолы матерей, и тоненько кричали:

— Смелть... сме-елть!..

Скакавшие казаки, сжимая не знающие пощады поблескивавшие шашки, во мгле сгустившейся ночи различили бесчисленно колеблющиеся ряды пехоты, колоссальным океаном надвигающиеся на них, бесчисленно поднятые винтовки, черно-колышущиеся знамена и нескончаемо перекатывающийся звериный рев: сме-ерть!..

Совершенно непроизвольно, без команды, как струны, натянулись поводья, лошади со всего скоку, крутя головами и садясь на крупы, остановились. Казаки замолчали, привстав на стремена, зорко всматривались в черно накатывавшиеся ряды. Они знали повадку этих дьяволов — без выстрела сходиться грудь с грудью, а потом начинается сатанинская штыковая работа. Так было с появления их с гор и кончая ночными атаками, когда сатаны молча появлялись в окопах, — много казаков полегло в родной степи.

А из-за повозок, из-за бесчисленных костров, где казаки думали встретить беспомощные толпы безоружных стариков, женщин и отсюда, с тыла, пожаром зажечь панику во всех частях врага, — все выливались новые и новые воинские массы, и страшно переполнял потемневшую ночь грозный рев.

— Смерть!!

Когда увидали, что не было этому ни конца, ни края, казаки повернули, вытянули лошадей нагайками, и затрещали в лесу кусты и деревья.

Передние ряды бегущих женщин, детей, раненых, стариков с смертным потом на лице остановились: перед ними немо чернел пустой лес.

XXXVI

Четвертый день гремят орудия, а лазутчики донесли — подошел от Майкопа к неприятелю новый генерал с конницей, пехотой и артиллерией. На совещании решено в эту ночь пробиваться и уходить дальше, не дожидаясь задних колонн.

Кожух отдает приказ: к вечеру постепенно прекратить ружейную стрельбу, чтоб успокоить неприятеля. Из орудий произвести тщательную пристрелку по окопам неприятеля, закрепить

наводку и совершенно приостановить стрельбу на ночь. Полки цепями подвести в темноте возможно ближе к высотам, на которых окопы неприятеля, но так, чтобы не встревожить, залечь. Все передвижения частей закончить к часу тридцати минутам ночи; в час сорок пять минут из всех наведенных орудий выпустить беглым огнем по десять снарядов. С последним снарядом в два часа ночи общая атака, полкам ворваться в окопы. Кавалерийскому полку быть в резерве для поддержки частей и преследования противника.

Пришли черные, низкие, огромные тучи и легли неподвижно над степью. Странно стихли орудия с обеих сторон; смолкли винтовки, и стало слышно — шумит река.

Кожух прислушался к этому шуму, — скверно. Ни одного выстрела, а прошлые дни и ночи орудийный и ружейный огонь не смолкал. Не собирается ли неприятель сделать то, что он, — тогда встретятся две атаки, будет упущен момент неожиданности, и они разобьются одна о другую.

— Товарищ Кожух...

В избу вошел адъютант, за ним два солдата с винтовками, а между ними безоружный бледный низенький солдатик.

— Что такое?

— От неприятеля. От генерала Покровского письмо.

Кожух остро влез крохотно сощуренными глазами в солдатика, а он, облегченно вздохнув, полез за пазуху и стал искать.

— Так что взятый я в плен. Наши отступают, ну, мы, семь человек, попали в плен. Энтих умучили...

Он на минуту замолчал: слышно — шумит река, и за окнами темь.

— Во письмо. Генерал Покровский... дюже уж матюкал мене... — И застенчиво добавил: — И вас, товарищ, матюкал. Вот, говорит, так его растак, отдай ему.

Играющие искорки Кожуха хитро, торопливо и довольно бегали по собственноручным строчкам генерала Покровского.

«...Ты, мерзавец, мать твою... опозорил всех офицеров русской армии и флота тем, что решился вступить в ряды большевиков, воров и босяков; имей в виду, бандит, что тебе и твоим босякам пришел конец: ты дальше не уйдешь, потому что окружен моими войсками и войсками генерала Геймана. Мы тебя, мерзавец, взяли в цепкие руки и ни в коем случае не выпустим. Если хочешь пощады, то есть за свой поступок отделаться только арестантскими ротами, тогда я приказываю тебе исполнить мой приказ следующего содержания: сегодня же сложить все оружие на ст. Белореченской, а банду, разоруженную, отвести на расстояние 4—5 верст западнее станции; когда это будет выполнено, немедленно сообщи мне, на 4-ю железнодорожную будку».

Кожух посмотрел на часы и на темь, стоявшую в окнах. Час десять минут. «Так вот почему прекратили огонь казаки: генерал ждет ответа». То и дело приходили с донесениями от командиров — все части благополучно подошли вплотную к позиции противника и залегли.

«Добре... добре...» — говорил про себя Кожух и молча, спокойно, каменно смотрел на них, сощурившись.

В темноте за окном в шум реки ворвался торопливый лошадиный скок. У Кожуха екнуло сердце: «Опять что-нибудь... четверть часа осталось...»

Слышно, соскочил с фыркавшей лошади.

— Товарищ Кожух, — говорил, с усилием переводя дыхание, кубанец, стирая пот с лица, — вторая колонна подходит!..

Неестественно-ослепительным светом загорелась и ночь, и позиции неприятеля, и генерал Покровский, и его письмо, и далекая Турция, где его пулемет косил тысячи людей, а он, Кожух, среди тысячи смертей, уцелел, уцелел, чтобы вывести, спасти не только своих, но и тысячи беспомощно следующих сзади и обреченных казакам.

Две лошади, казавшиеся вороными, неслись среди ночи, ничего не разбирая. Черные ряды каких-то войск входили в станицу.

Кожух спрыгнул и вошел в ярко освещенную избу богатого казака.

У стола, стоя во весь богатырский рост, не нагибаясь, прихлебывал из стакана крепкий чай Смолокуров; черная борода красиво оттенялась на свежем матросском костюме.

— Здорово, братушка, — сказал он бархатно-густым, круглым басом, глядя сверху вниз, вовсе не желая этим обидеть Кожуха. — Хочешь чаю?

Кожух сказал:

— Через десять минут у меня атака. Части залегли под самыми окопами. Орудия наведены. Подведи вторую колонну к обоим флангам — и победа обеспечена.

— Не дам.

Кожух сомкнул челюсти и выдавил:

— Почему?

— Да потому, что не пришли, — добродушно и весело сказал Смолокуров и насмешливо посмотрел сверху на низкого, в отрепьях, человека.

— Вторая колонна входит в станицу, я сам сейчас видел.

— Не дам.

— Почему?

— Почему, почему! Започемукал, — густым красивым басом сказал тот. — Потому что устали, надо отдохнуть людям. Только родился, не понимаешь?

У Кожуха, как сжатая пружина, упруго вытеснило все ощущения: «Если разобью, так один...»

И сказал спокойно:

— Ну, хоть введи на станцию резерв, а я сниму свой резерв и усилю атакующие части.

— Не дам. Слово мое свято, сам знаешь.

Он прошелся из угла в угол, и на всей громадной фигуре, и на добродушном пред этим лице легло выражение бычьего упорства, — теперь его хоть оглоблей расшибай. Кожух это понимал и сказал адъютанту:

— Пойдемте.

— Одну минутку, — поднялся начальник штаба и, подойдя к Смолокурову, сказал в одно и то же время мягко и веско: — Еремей Алексеич, на станцию-то можно послать, ведь в резерве будут.

А за этим стояло: «Кожуха разобьют, нас вырежут».

— Ну, что ж... да ведь я-то... собственно, ничего не имею... что ж, бери, какие части подошли.

Смолокурова ничем нельзя было сдвинуть, если он на чем-нибудь уперся. Но перед маленьким нажимом со стороны, с которой не ожидал, сразу растерянно сдавался.

Лицо с черной бородой добродушно отмякло. Он хлопнул огромной лапой по плечу приземистого человека:

— Ну, что, братуха, как дела, а? Мы, брат, морское волчьё, там мы можем, — самого черта наизнанку вывернем, а на сухопутье как свинья в апельсинах.

И захохотал, показывая ослепительные зубы под черными усами.

— Хочешь чаю?

— Товарищ Кожух, — дружески сказал начальник штаба, — сейчас напишу приказ, и колонна будет двинута на станцию вам в резерв.

А за этим стояло: «Что, брат, как ни вертелся, а без нашей помощи не обошлось...»

Кожух вышел к лошадям и в темноте тихо сказал адъютанту:

— Останьтесь. Вместе с колонной дойдете на станцию и тогда доложите мне. Тоже недорого возьмут и сбрехать.

Солдаты лежали, прижимаясь к жесткой земле длинными цепями, а их придавливала густая и низкая ночь. Тысячи по-звериному острых глаз наполняли тьму, но в казачьих окопах неподвижно и немо. Шумела река.

У солдат не было часов, но у каждого все туже сворачивалась упругость ожидания. Ночь стояла тяжелая, неподвижная, но каждый чувствовал, как медленно и неуклонно наползает два часа. В непрерывно бегущем шуме воды текло время.

И хотя все этого именно ждали, совершенно неожиданно вдруг раскололась ночь, и в расколе огненно замигали багровые клубы туч. Тридцать орудий горласто заревели без отдыха. А невидимые в ночи казачьи окопы огненно обозначались прерывисто рвущимся ожерельем ослепительных шрапнельных разрывов, которые повторным треском тоже обозначали невидимо извилистую линию, где умирали люди.

«Ну, будет... довольно!..» — мучительно думали казаки, влипнув в сухие стенки окопов,

каждую секунду ожидая, что перестанут мигать багровые края черных туч, сомкнется расколотая ночь, можно будет передохнуть от этого утробнопотрясающего грохота. Но все то же багровое мигание, тот же тяжко отдающийся в земле, в груди, в мозгу рев, так же то там, то там стоны корчащихся людей.

И так же внезапно, как разомкнулась, темнота сомкнулась, погасив мгновенно наступившей тишиной и багрово мерцающие облака, и нечеловеческий горластый рев орудий. На окопах вырос черный частокол фигур, и вдоль покатился другой, уже живой звериный рев. Казаки было шатнулись из окопов — вовсе не хотелось иметь дело с нечистой силой, и опять поздно: окопы стали заваливаться мертвыми. Тогда мужественно обернулись лицом к лицу и стали резаться.

Да, дьяволова сила: пятнадцать верст гнали, и пятнадцать верст пробежали в полтора часа.

Генерал Покровский собрал остатки казачьих сотен, пластунских, офицерских батальонов и повел обессиленных и ничего не понимающих на Екатеринодар, совершенно очистив «босякам» дорогу.

XXXVII

Напрягая все силы, глухо отбивая землю, размашистым шагом тесно идут опаленные порохом ряды в тряпье, с густо занесенными пылью, насунутыми бровями. А под бровями остро светятся точечки крохотных зрачков, не отрываются от знойного трепещущего края пустынной степи.

Тяжело громыхают спешащие орудия. В клубах пыли нетерпеливо мотают головами кони... Не-

отрываются от далекой синеющей черты артиллеристы.

В огромном, не теряющем ни одной минуты туле бесконечно тянутся обозы. Идут у чужих повозок, торопливо вспыливая босыми ногами дорожную пыль, одинокие матери. На почернелых лицах блестят сухим блеском навеки не выплаканные глаза и не отрываются от той же далекой степной синевы.

Захваченные общей торопливостью, тянутся раненые. Кто прихрамывает на грязно обмотанную ногу. Кто, приподымая плечи, широко закидывает костыли. Кто изнеможенно держится за край повозки костлявыми руками, — но все одинаково не отрываются от синеющей дали.

Десятки тысяч воспаленных глаз напряженно глядят вперед: там — счастье, там — конец мукам, усталости.

Палит родное кубанское солнце.

Не слышно ни песен, ни голосов, ни граммофона. И все это: и бесконечный скрип в облаках торопливо подымающейся пыли, и глухие звуки копыт, и густые шаги тяжелых рядов, и тревожные полчища мух — все это на десятки верст течет быстрым потоком к заманчиво синеющей таинственной дали. Вот-вот откроется она, и сердце радостно ахнет: наши!

Но сколько ни идут, сколько ни проходят станиц, хуторов, поселений, аулов — все одно и то же: синяя даль отступает дальше и дальше, такая же таинственная, такая же недоступная. Сколько ни проходят, везде слышат одно и то же:

— Были, да ушли. Еще позавчера были, да заспешили, засуетились, поднялись все и ушли.

Да, были. Вот коновязи; везде натрушено сено; везде конский навоз, а теперь — пусто.

Вот стояла артиллерия, седой пепел потухших костров, и тяжелые следы артиллерийских колес за станицей сворачивают на большак.

Старые пирамидальные тополя при дороге глубоко белеют ранами содранной коры — обозы цепляли осями.

Все, все говорит за то, что были недавно, были недавно те, ради кого шли под шрапнелями немецкого броненосца, бились с грузинами, ради кого в ущельях оставляли детей, бешено дрались с казаками, — но неотступно, недостижимо уходит синяя даль. По-прежнему спешные звуки копыт, торопливый скрип обоза, торопливо нагоняющие тучи мух, несмолкающий бесконечный гул шагов, и пыль, едва поспевая, клубится над потоками десятков тысяч, и по-прежнему неумирающая надежда в десятках тысяч глаз, прикованных к краю степи.

Кожух, исхудалый — кожа обуглилась, — угрюмо едет в тарантасе и, как все, день и ночь не отрывается тоненько сощуренными серыми глазками от далекой облегающей черты. И для него она таинственно и непонятно не размыкается. Крепко сжаты челюсти.

Так уходят назад станица за станицей, хутор за хутором, день за днем, изнемогая.

Казачки встречают, низко кланяясь, и в ласково затаенных глазах — ненависть. А когда уходят, с удивлением смотрят вслед: никого не убили, не ограбили, а ведь ненавистные звери.

На ночлегах к Кожуху являются с докладом: все то же — впереди казачьи части без выстрела расступаются, давая дорогу. Ни днем, ни ночью ни одного нападения на колонны. А сзади, не трогая арьергарда, опять смыкаются.

— Добре!.. Обожглись... — говорит Кожух, и играют желваки.

Отдает приказание:

— Разошлите конных по всем обозам, по всем частям, щоб ни одной задержки. Не давать останавливаться. Идтить и идтить. На ночлег не больше трех часов...

И опять, напрягаясь, скрипят обозы, натягивают веревочные постромки измученные лошади, с тяжелой торопливостью громыхают орудия. И в знойную полуденную пыль, и в засеянную звездною россыпью ночную темноту, и в раннюю, еще не проснувшуюся зорьку тяжелый незамирающий гул тянется по кубанским степям.

Кожуху докладывают:

— Лошади падают, в частях отсталые.

А он, сцепив, цедит сквозь зубы:

— Бросать повозки. Тяжести перекладывать на другие. Следить за отсталыми, подбирать. Прибавить ходу, идтить и идтить!

Опять десятки тысяч глаз не отрываются от далекой черты, и днем и ночью облегающей жестко желтеющую после снятых хлебов степь. И по-прежнему по станицам, по хуторам, пряча ненависть, говорят ласково казачки:

— Были, да ушли, — вчера были.

Глядят с тоской — да, все то же: похолоделые костры, натрушенное сено, навоз.

Вдруг по всем обозам, по всем частям, среди женщин, среди детей поползло:

— Взрывают мосты... уходят и взрывают после себя мосты...

И баба Горпина, с остановившимся в глазах ужасом, шепчет спекшимися губами:

— Мосты рушать. Уходють и мосты по себе рушать.

И солдаты, держа в окостенелых руках винтовки, глухо говорят:

— Мосты рвуть... уходють вид нас, рвуть мосты...

И — когда голова колонны подходит к речке, ручью, обрыву или топкому месту — все видят: зияют разрушенные настилы; как почернелые зубы, торчат расщепленные сваи, — дорога обрывается, и веет безнадежностью.

А Кожух с надвинутым на глаза черепом приказывает:

— Восстанавливать мосты, наводить переправы. Составить особую команду, которые половчей с топором. Пускать вперед на конях с авангардом. Забирать у населения бревна, доски, брусья, свозить в голову!

Застучали топоры, полетела, сверкая на солнце, белая щепа. И по качающемуся, скрипучему, на живую нитку, настилу снова потекли тысячные толпы, бесконечные обозы, грузная артиллерия, и осторожно храпят кони, испуганно косясь по сторонам на воду.

Без конца льется человеческий поток, и попрежнему все глаза туда, где все та же недосягаемая черта отделяет степь и небо.

Кожух собирает командный состав и спокойно говорит, играя желваками:

— Товарищи, от нас наши уходять з усией силы...

Мрачно ему в ответ:

— Мы ничего не понимаем.

— Уходять, рвуть мосты. Долго так мы не сдюжаем, лошади падають десятками. Люди выбиваются, отстають, а отсталых козаки всех порубають. Пока мы им учебу дали, козаки боятся, расступаются, все их части генералы отводять с нашей дороги. Но все одно мы в железном

кольце, и, если так долго буде, оно нас задушить, — патронов небогато, снарядов мало. Треба вырваться.

Он поглядел острыми, крохотно суженными глазками. Все молчали.

Тогда Кожух сказал раздельно, пропуская сквозь зубы слова:

— Треба прорваться. Если послать кавалерийскую часть — кони у нас плохие, не выдержуть гоньбы, козаки всех порубають. Тогда козаки осмелеють и навалятся на нас со всех сторон. Треба инако. Треба прорваться и дать знать.

Опять молчание. Кожух сказал:

— Кто охотник?

Поднялся молодой.

— Товарищ Селиванов, возьмить двух солдат, берите машину и гайда. Прорывайтесь во что бы то ни стало. Скажите им там: мы это. Чего ж они уходять? На гибель нас, что ли?

Через час у штабной хаты, залитой косыми лучами, стоял автомобиль. Два пулемета смотрели с него: один вперед, другой назад. Шофер в замасленной гимнастерке, как все шоферы, сосредоточенный, замкнутый, не выпуская из зубов папиросы, возился около машины, заканчивая проверку; Селиванов и два солдата — с лицами молодыми и беззаботными, а в глазах далеко запрятанное напряжение.

Запорскала, вынеслась и пошла чертить воздух, запылила, засверлила, все делаясь меньше, сузилась в точку и пропала.

А бесконечные толпы, бесконечные обозы, бесконечные лошади текли, ничего не зная об автомобиле, текли безостановочно и мрачно, то с надеждой, то с отчаянием вглядываясь в далекую синеющую даль.

XXXVIII

Гудит несущаяся навстречу буря. Косо падают по сторонам, мгновенно улетая, хаты, придорожные тополя, плетни, дальние церкви. По улицам, в степи, в станицах, по дороге люди, лошади, скот не успевают выразить испуга, а уже никого нет, и только бешено крутится по дороге пыль, да сорванный с деревьев лист, да подхваченная солома.

Казачки качают головами:

— Должно, сбесился. Чей такой?

Казачьи разъезды, патрули, части пропускают бешено несущийся автомобиль, — первый момент принимают за своего: кто же полезет в самую гущу их! Иногда спохватятся — выстрел, другой, третий, да где там! Лишь посверлит воздух вдали, растает, и все.

Так в гуле и свисте уносится верста за верстой, десяток за десятком. Если лопнет шина, поломка — пропали. Напряженно смотрят вперед и назад два пулемета, и напряженно ловят несущуюся навстречу дорогу четыре пары глаз.

В грохоте, сливая безумное дыхание в тонкий вой, неслась и неслась машина. Было жутко, когда подлетали к реке, а там расщепленными зубами глядели сваи. Тогда бросались в сторону, делали громадный крюк и где-нибудь натыкались на сколоченную населением из бревен временную переправу.

К вечеру вдали забелелась колокольня большой станицы. Быстро разрастались сады, тополя, бежали навстречу белые хаты.

Солдатик вдруг завизжал, обернув неузнаваемое лицо:

— На-аши!!

— Где?.. где?! что ты!!

Но даже рев несущейся машины не мог сорвать, заглушить голос.

— Наши! наши!! вон!..

Селиванов злобно, чтоб не поддаться разочарованию ошибки, приподнялся и:

— Уррр-а!!

Навстречу ехал большой разъезд, — на шапках, как маки, алели звезды.

В ту же секунду над самым ухом знакомо, тоненько, певуче: дзи-и-и... ти-и... ти-и... И еще, и еще, как комариное удаляющееся пение. А от зеленых садов, из-за плетней, из-за хат прилетели звуки винтовочных выстрелов.

У Селиванова екнуло: «свои... от своих...» И он мальчишески тонко закричал сорвавшимся голосом, отчаянно мотая фуражкой:

— Свои!.. свои!!

Чудак... Как будто в этой буре несущейся машины что-нибудь можно услышать. Он и сам это понял, вцепился в плечо шофера:

— Стой, стой!.. Задержись!..

Солдатики попрятали головы за пулеметы. Шофер со страшно исхудавшим в эти несколько секунд лицом затормозил вдруг окутавшуюся дымом и пылью машину, и всех с размаху ссунуло вперед, а в обшивку впились две цокнувшие пули.

— Свои!.. свои!.. — орали четыре человеческих глотки.

Выстрелы продолжались. Разъезд, срывая из-за плеч карабины, скакал, сбив лошадей в сторону от дороги, чтобы дать свободу обстрела из садов, и стреляя на скаку.

— Убьют... — сказал окостенелыми губами шофер, отшатываясь от руля, и совсем остановил машину.

Подлетели карьером. С десяток дул зачернелось в упор. Несколько кавалеристов с искаженными страхом лицами смахнулись с лошадей, сверхъестественно ругаясь:

— Долой с пулеметов!.. руки вверх!.. вылезай!..

Другие, скидываясь с лошадей, кричали с побледневшими лицами:

— Руби их! чаво смотришь... ахвицерье, туды их растуды!

Режуще сверкнули выдернутые из ножен сабли.

«Убьют...»

Селиванов, оба солдата, шофер моментально высыпались из машины. Но как только очутились среди взволнованных лошадиных морд, среди занесенных сабель, прицелившихся винтовок, разом отлегло — отделились от приводивших в неистовство пулеметов.

И тогда в свою очередь посыпали отборной руганью:

— Очумели... своих... в заднице у вас глаза. В документы не глянули, уложили б, потом не воротишь... расперетак вас так!..

Кавалеристы остыли.

— Да кто такие?

— Кто-о!.. Сначала спроси, а потом стреляй. Веди в штаб.

— Ды как же, — виновато заговорили те, садясь на лошадей, — на прошлой неделе так-то подлетел бронированный автомобиль ды давай поливать. Такой паники наделал! Садитесь.

Сели опять в машину. К ним влезли двое кавалеристов, остальные осторожно окружили с карабинами в руках.

— Товарищи, вы только не пущайте дюже машину в ход, а то не поспеем, кони мореные.

Добежали до садов, завернули по улицам. Встречавшиеся солдаты останавливались, отборно ругаясь:

— Перебейте, так их растак! Куды волокете?

Косо тянулись неостывшие вечерние тени. Где-то орали пьяные песни. По дороге из-за деревьев зияли высаженными окнами разбитые казачьи хаты. Павшая неубранная лошадь распространяла зловóние. Всюду по улицам ненужно наваленное, раскиданное сено. За плетнями оголенные, обезображенные, с переломанными ветвями фруктовые деревья. Сколько ни ехали по станице — на улице, на дворах ни одной курицы, ни одной свиньи.

Остановились у штаба — большой поповский дом. В густой крапиве около крыльца храпели двое пьяных. На площади возле орудий солдаты играли в трынку.

Гурьбой ввалились к начальнику отряда.

Селиванов, волнуясь от счастья, от пережитого, рассказывал о походе, о боях с грузинами, с казаками, не успевая всего рассказывать, что просилось, перескакивая с одного на другое:

— ...Матери... дети в оврагах... повозки по ущельям... патроны до одного... голыми руками...

И вдруг осекся: начальник, забрав длинные усы и щетинистый подбородок в ладонь, сидел, сгорбившись, не прерывая и не спуская с него чужих глаз.

Командный состав, все молодые, загорелые, кто стоял, кто сидел, без улыбки, с каменными лицами, чуждо слушали.

Селиванов, чувствуя, как наливается шея,

затылок, уши, резко оборвал и сказал вдруг охрипшим голосом:

— Вот документы, — и сунул бумаги.

Тот, не глядя, отодвинул к помощнику, который нехотя и предрешенно стал рассматривать. Начальник раздельно сказал, не спуская глаз:

— У нас совершенно противоположные сведения.

— Позвольте, — все лицо и лоб Селиванова налились кровью, — так вы нас... вы нас принима...

— У нас совершенно иные сведения, — спокойно и настойчиво сказал тот, все так же держа в щепоти длинные усы, подбородок, не давая себя перебить и не спуская глаз, — у нас точные сведения: вся армия, вышедшая с Таманского полуострова, погибла на Черноморском побережье, вся перебита до единого человека.

В комнате стало тихо. В распахнутые окна из-за церкви доносилась густая брань и пьяные солдатские голоса.

«А у них — разложение...» — со странным удовлетворением подумал Селиванов.

— Так позвольте... вам мало документов... Что же это, наконец, такое: с неимоверными усилиями, после нечеловеческой борьбы прорваться к своим — и тут...

— Никита, — сказал опять спокойно начальник, выпустил из рук подбородок и поднялся, расправляя тело, длинный, с длинными, обвисшими по сторонам усами.

— Что?

— Найди приказ.

Помощник порылся в портфеле, достал бумагу, протянул. Начальник положил на стол и, не нагибаясь, как с колокольни, стал читать. Тем, что стал

читать с такой высоты, как бы небрежно подчеркивал предрешенность своего и всех присутствующих мнения.

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО № 73

Перехвачена радиотелеграмма генерала Покровского к генералу Деникину. В ней сообщается, что с моря, с туапсинского направления, идет неисчислимая орда босяков. Эта дикая орда состоит из русских пленных, вернувшихся из Германии, и моряков. Они превосходно вооружены, множество орудий, припасов, и везут с собою массу награбленных драгоценностей. Эти бронированные свиньи на своем пути всех бьют и все сметают: лучшие казачьи и офицерские части, кадет, меньшевиков, большевиков.

Длинный прикрыл, опираясь о стол, ладонью бумагу, пристально посмотрел на Селиванова, повторяя раздельно:

— И боль-ше-ви-ков!

Потом принял ладонь и, все так же стоя, стал читать:

Ввиду этого приказываю: продолжать безостановочное отступление. Рвать за собою мосты; уничтожать все средства переправы; лодки перегонять на нашу сторону и сжигать без остатка. За порядок отступления отвечают начальники частей.

Он опять пристально посмотрел в лицо Селиванову и, не дав ему раскрыть рта, сказал:

— Вот что, товарищ. Я ни в чем не хочу вас подозревать, но войдите же и в наше положение: мы видимся... в первый раз, а сведения складываются, вы сами видите... Не имеем же мы права... ведь нам вверены массы, и мы были бы преступниками...

— Да ведь там ждут! — с отчаянием вскрикнул Селиванов.

— Я понимаю, понимаю, не волнуйтесь. Вот

что: пойдемте перекусим — чай, голодны, и ваши ребята пусть...

«Порознь допросить хочет...» — подумал Селиванов и вдруг почувствовал: неодолимо захотелось спать.

За обедом красивая степенная казачка поставила на голый стол горячую миску с подернутыми жиром щами, от которых и пар не шел, и низко поклонилась:

— Кушайте, родимые.

— Ну, ты, ведьма, пожри-ка сначала сама.

— Да что вы, батюшка!

— Но, но!

Она перекрестилась, взяла ложку, черпнула вдруг задымившиеся щи и, дуя, стала осторожно схлебывать.

— Жри больше!.. Какую моду взяли: несколько человек отравили наших. Зверье! Подать вина...

После обеда условились: Селиванов на машине едет назад, а с ним для проверки отправляется эскадрон.

Сдержанно бежит машина, отходят в обратном порядке знакомые станицы, хутора. Сидит Селиванов с двумя кавалеристами, — у них напряженные лица и наготове револьверы. А кругом: спереди, сзади, с боков, то дружно в один раз, то вразнобой грузно подымаются и падают солдатские зады на широкие седла, и бегут под ними, мелькая копытами, кавалерийские лошади.

Сдержанно порскает машина, не спеша бежит с нею подымаемая пыль.

У сидящих в машине кавалеристов понемногу напряженность отпускает лица, и они начинают доверчиво рассказывать Селиванову под сдержанный гул неторопливо бегущей машины горестную

повесть. Все ослабло, разболталось, боевые приказы не выполняются, бегут пред небольшими кучками казаков: из разлагающихся частей пачками разбегаются куда глаза глядят.

Селиванов никнет головой.

«Если наскочим на казаков, все пропало...»

XXXIX

Ни одной звезды, и от этого мягкий бархат все глотает, — не видно ни плетней, ни улиц, ни пирамидальных тополей, ни хат, ни садов. Булавочными уколами рассыпаны огоньки.

В мягкой темной громаде чуется невидимо раскинувшаяся живая громада. Не спят. То загремит задетое в темноте ведро, то загрызутся, затопают разодравшиеся кони и: «Тпру-у, сто-ой, дьяволы!..» То материнский голос мерно, однотонно качает двумя нотами: а-ы-ы!.. а-ы-ы!. а-ы-ы!..

Далекий выстрел, но знаешь — свой, дружеский. Разрастается гомон, голоса, не то ссора, не то дружеская встреча; уляжется — опять только темь.

— По-сле-едний но-неш-ни-ий... — сонно, с усталой улыбкой.

Отчего не спится?

Далекое, не то под окном, шуршанье песка, хруст колес.

— Эй, та ты ж куды? Наши вон иде стали.

А никого не видно — черный бархат.

Странно, разве не устали? Разве уж не всматриваются день и ночь в далекую черту неотрывающиеся глаза?

Как будто и этот сентябрьский бархат, и невидимые плетни, и запах кизяка — как будто свое, домашнее, родное, кровное, так долго жданное.

Завтра за станицей братская встреча с войсками главных сил. Оттого ночь полна текучего движения, звука копыт, голосов, шороха, хруста колес и улыбки, сонно засыпающей улыбки.

Полоса света из приотворенной двери узко ложится по земле, ломается через плетень, далеко убегает по вытоптанному огороду.

А в казачьей хате кипит самовар. Белеют стены. Расставлена посуда. Белый хлеб. Чистая скатерть.

Кожух без пояса на лавке; волосатая грудь видна. Посунулся плечами, повисли руки, опустилась голова. Так хозяин вернется с поля, — целый день шагал, отваливая отбеленным лемехом черные жирные пласты, и теперь удовлетворенно гудят руки, ноги, и женщина готовит ужин, и на столе еда, и со стенки, слегка коптя, светит жестяная лампочка, — по-хозяйски устал, трудовой усталостью устал.

Брат возле, тоже без оружия. Беззаботно снял сапоги и сосредоточенно рассматривает совершенно развалившийся сапог. Домовитым движением жена Кожуха приподнимает крышку над самоваром, — вырывается бунтующий пар; вынимает тяжелое, горячо дымящееся полотенце, выбирает яйца, разложила на тарелке, и они кругло белеют. В углу темнеют иконы. На хозяйской половине тихо.

— Ну, садитесь!

И, точно резануло, все трое повернули головы: в полосе света знакомо мелькнули одна, другая, третья круглые шапочки с ленточками. Матершинная ругань. Грохнули приклады.

Алексей, не теряя ни секунды («эх, револьвер куды!..»):

— За мной!!

Как буйвол, ринулся. Приклад пришелся в плечо. Покачнулся, но удержался на ногах, и под его литым кулаком хрустнула переносица, и со стоном и остервенелой бранью рухнуло чье-то тело.

Алексей перескочил.

— За мной!!

Вырвался из света, разом окунулся в тьму и понесся саженными скачками по грядам, ломая высокие стволы подсолнечника.

По ринувшемуся за ним Кожуху без промаха пришлись приклады. Он свалился за плетнем, а кругом заветренные морские голоса:

— Ага!.. вот он, лупи!..

Непогасимым криком стояло сзади остро пронизывающе:

— Помогите!..

Кожух удесятерил силы, избиваемый, выкатился из полосы света в темноту, вскочил и понесся за братом, на слух. А за самой спиной, наседая, катился тяжелый топот, и сквозь торопливо-хриплое дыхание:

— Не стрелять, а то сбегутся... бей прикладами!.. Вот он, гони!..

Чернее темноты вырос забор. Затрещали доски. Алексей перемахнул. Упруго, как юноша, перемахнул Кожух, и оба разом свалились в невыразимую кашу криков, ударов, ругани, прикладов, штыков, — с той стороны ждали.

— Бей ахвицерье!.. подымай на штыки!..

— Ня трожь!.. ня трожь!..

— Попались, сволочи!.. Коли на месте!..

— Беспременно в штаб, там допросить... Пятки поджарим...

— Бей зараз!..

— В штаб! В штаб!

Голоса Кожуха и Алексея смыло бушующе-черным водоворотом, они сами себя не слышали в буйно ворочавшемся клубе.

С непадающим криком, шумом, говором, бранью повели, сгрудившись, толкаясь в тесноте; лязг, колыхание темных штыков, матерная ругань.

«Никак, выплыл?» — жадно стояло в голове Кожуха: он не отрывался от света, который лился из окон большого двухэтажного дома училища — штаб.

Вошли в полосу света — все разинули рты и вытаращили глаза.

— Та це ж батько!!

Кожух спокойно, только желваки играли:

— Шо ж вы, сбесились?!

— Та мы... та як же ж воно!.. Та це ж матросня. Приходять, сказывають: двоих ахвицерьёв открыли, шпиены козацкие. Кожуха хочуть убить, треба их застукаты. Мы, кажуть, выгоним ахвицерьёв, а вы караульте позадь забора. Як воны зачнуть сигать, вы им пид зад штыки, нэхай сядуть. А в штаб не треба водить, — там изменьщики есть, отпустють. А вы их тихомолком, тай годи. Ну, мы поверилы, а темь...

Кожух спокойно:

— В приклады матросню.

Солдаты бешено ринулись в разные стороны, а из темноты спокойный голос:

— Разбежались. Чи дураки — будут ждать соби смерти.

— Пойдем чай пить, — сказал Кожух брату, вытирая с разбитого лица кровь. — Поставить караул!

— Слухаем.

XL

Кавказское солнце — даром что запоздалое — горячо. Только степи прозрачны, только степи сини. Тонко блестит паутина. Тополя задумчиво стоят с редеющей листвой. Чуть тронулись желтизной сады. Белеет колокольня.

А за садом в степи бесчисленное людское море, как тогда, при начале похода, такое же необозримое людское море. Но что-то новое покрывает его. Те же бесчисленные повозки беженцев, но отчего же на лицах, как отражение, как живой отблеск, печать непотухающей уверенности?

Те же бесчисленные отрепанные, рваные, голые, босые солдатские фигуры, — но отчего, как по нитке, молчаливо вытянулись в бесконечные шеренги, и выкованы из почернелого железа исхудалые лица, и стройно, как музыка, темнеют штыки?

И отчего лицом к этим шеренгам стоят такие же бесконечные ряды одетых и обутых солдатских фигур, но врозь, куда попало, покачнулись штыки и оттиснулись на лицах растерянность и жадное ожидание?

Как тогда, необозримая громада пыли, но теперь она осела осенней отяжелелостью и отчетливо прозрачна степь, и отчетливо видна каждая черта на лицах.

Тогда среди безграничного взбаламученного людского моря зеленел пустой курган и чернели на нем ветряки; а теперь среди людского моря пустая полянка и на ней темнеет повозка.

Только тогда буйное разливалось по степи человеческое море, а теперь затаилось и молча стояло в железных берегах.

Ждали. И молчаливая, без звуков, без слов, торжественная музыка разливалась над необозримой толпой в синем небе, в синей степи, в золотом зное.

Показалась небольшая толпа людей. И те, что стояли в шеренгах с железными лицами, узнали в этой подходившей кучке своих командиров, таких же исхудалых, почернелых, как и они сами. И те, что стояли рядами против них, узнали своих командиров, одетых, с здоровыми обветренными лицами, как и у них самих.

И шел среди первых Кожух, небольшого роста, почернелый до самых костей, исхудалый до самых костей, оборванный, как босяк, и на ногах шмурыгали разбитые, с разинутыми почернелыми пальцами опорки. На голове замызганно обвисла рваными полями когда-то соломенная шляпа.

Они подошли и сгрудились около повозки. Кожух взобрался на повозку, стащил с головы ошметку соломы и оглядел долгим взглядом и железные шеренги своих, и бесчисленно терявшиеся в степи повозки, и множество печальных безлошадных беженцев, и ряды главных сил. Было в них что-то расшатавшееся. И у него шевельнулось глубоко запрятанное, в чем и сам бы себе не признался, удовлетворение: «Разлагаются...»

Все, сколько их тут ни было, все смотрели на него. Он сказал:

— Товарищи!..

Все знали, о чем здесь будут говорить, но мгновенная искра пронизала смотревших.

— Товарищи, пятьсот верст мы йшлы, голодные, холодные, разутые. Козаки до нас рвались як скаженнии. Нэ було ни хлеба, ни провианту, ни фуража. Мерли люди, валились под откосы,

падали под вражьими пулями, нэ було патронов, голыми руками...

И хоть знали это — сами все вынесли, и знали другие по тысячам их рассказов — слова Кожуха блеснули неиспытанной новизной.

— ...дитэй оставляли в ущельях...

И над головами, над всем над громадным морем пронеслось и впилось в сердце, впилось и задрожало:

— Ой, лишенько, диты наши!..

От края до края колыхнулось человеческое море.

— ...диты наши!.. диты наши!..

Он каменно смотрел на них, выждал и сказал:

— А сколько полягло наших под пулями в степях, в лесах, горах, поляглы навик вики!..

Все головы обнажились, и до самого края бесчисленно поплыло могильное молчание, и, как надгробная память, как могильные цветы, в этой тишине тихие женские рыдания.

Кожух постоял с опущенной головой, потом поднял, оглядел эти тысячи и поломал молчание:

— Так за що ж терпели тысячи, десятки тысяч людей цыи муки?.. за що?!

Он опять посмотрел на них и вдруг сказал неожиданное:

— За одно: за совитску власть, бо вона одна крестьянам, рабочим, нэма у них билш ничого...

Тогда вырвался из груди неисчислимый вздох, стало нестерпимо, и скупо поползли одинокие слезы по железным лицам, медленно поползли по обветренным лицам встречавших, по стариковским лицам, и засияли слезами дивочьи очи...

— ...за крестьянскую и рабочую...

«Так вон оно що! Так вот за що мы бились, падалы, мерлы, погибалы, терялы дитэй!»

Точно широко глаза разинулись, точно в первый раз услышали тайную тайну.

— Та даите ж, людэ добрии, мени казаты, — кричала, горько сморкаясь, баба Горпина, продираясь к самой повозке, цапаясь за колеса, за грядку, — та дайте ж мени...

— Та постой, бабо Горпино, нэхай же батько кончае, нэхай росказуе, а тоди ты!

— Та не трожьте мене, — отбивалась локтями старая и цепко лезла — никак ее не стянешь.

И закричала, расхристанная, с выбившимися седыми клочковатыми волосами, с сбившимся платком, закричала:

— Ратуйте, добрии людэ, ратуйте! Самовар у дома вкинулы. Як мени замуж выходить, мамо в приданое дала тай каже: «Береги ёго, як свет очей», а мы вкинулы. Та цур ёму, нэхай пропадае! нэхай живе наша власть, наша ридна, бо мы усю жисть горбы гнулы та радости не зналы. А сыны мои... сыны мои...

И захлюпала старая старыми слезами не то неизбывного горя, не то смутной, самой ей непонятно блеснувшей радости.

И опять по всему людскому морю взмыло тяжким и радостным вздохом и побежало до самых до степных до краев. А на повозку хмуро, молча лез Горпинин старик. Ну, этого не стянешь, — здоровенный старина, насквозь проеденный дегтем, земляной чернотой, и руки как копыта.

Вылез и удивился, что высоко, и сейчас же забыл это, и, обветренный, стоеросый, как немазаная телега, захрипел голос:

— Во!.. старый коняка, а добрый був возовик. Цыганы, сами знаете, наскрозь лошадей видють, скрозь ему лазили, и у роти, и пид хвост, кажуть,

дэсять годив, а ему два-ад-цать три!.. Смоляной зуб!..

Засмеялся старик, в первый раз засмеялся, собрал вокруг глаз множество морщинок-лучинок и хитро засмеялся детским, шаловливым, так не вязавшимся с его глыбисто-земляной фигурой смехом.

А баба Горпина потерянно хлопнула себя по бедрам:

— Боже ж мий милий! Бачьте, добрии людэ, чи сказився, чи що! Мовчав, мовчав, цилый вик мовчав; мовчки мене замуж узяв, мовчки любив, мовчки бив, а тут забалакав. Що таке буде? Чи с глузду зъихав, бодай ёго, чи що!..

Старик сразу согнал морщинки, насунул обвисшие брови, и опять на всю степь захрипела немазаная телега:

— Побилы коняку, сдох!.. Всё потеряв, що на возу, пропало. Ногами шли. Шлею зризав и ту покинув; самовар у бабы и вся худоба дома пропала, а я, як перед истинным, — и заревел стоеросовым голосом: — не жали-ю!.. нэхай, нэ жалко, нэхай!.. бо це наша хрестьянска власть. Без нэи мы дохлятина, як та падаль пид тыном, воняемо... — и заплакал скупыми собачьими слезами.

Валом взмыло, бурей прошлось из конца в конец:

— Га-а-а-а!.. Це ж наша громада-а! Наша ридна власть!.. Нэхай живе... бувай здорова, совитска власть!..

Из конца в конец.

«Так от воно, счастя?!» — огненно обожгло в груди Кожуха, и челюсти дрогнули.

«Так от яке воно!.. — нестерпимо-радостно своей неожиданностью зажглось в железных шеренгах исхудалых, в тряпье, людей. — Так от за

вищо мы голоднии, холоднии, замученнии, нэ за шкуру тильки свою!..»

И матери с незаживающим сердцем, с невысыхающими слезами, — нет, не забыть им никогда голодно-оскаленных ущелий, никогда! Но и эти страшные места, страшная о них память претворялись в тихую печаль и тоже находили свое место в том торжественном и огромном, что беззвучно звучало над бескрайно раскинувшейся по степи человеческой громадой.

А те, что стояли одетые и сытые множеством рядов лицом к лицу с железными шеренгами исхудалых, голых людей, те чувствовали себя сиротами в этом неиспытанном торжестве и, не стыдясь просившихся на глаза слез, поломали ряды и, все смывая, двинулись всесокрушающей лавиной к повозке, на которой стоял оборванный, полубосой, исхудалый Кожух. И покатилось до самых до степных до краев:

— Оте-ец наш!! Веди нас, куды знаешь... и мы свои головы сложим!

Тысячи рук протянулись к нему, стащили его, тысячи рук подняли его над плечами, над головами и понесли. И дрогнула степь на десятки верст, всколыхнутая бесчисленными человеческими голосами:

— Урра-а! урра-а! а-а-а... батькови Кожуху!..

Кожуха несли и там, где стояли стройные ряды; несли и там, где стояла артиллерия; пронесли и между лошадьми эскадронов, и всадники оборачивались на седлах и с восторженно изменившимися лицами, темнея открытыми ртами, без перерыва кричали.

Несли его среди беженцев, среди повозок, и матери протягивали к нему детей.

Принесли назад и бережно поставили опять на

повозку. Кожух раскрыл рот, чтоб заговорить, и все ахнули, как будто увидели его в первый раз:

«Та у ёго глаза сыни!»

Нет, не закричали, потому что не умели назвать словами свои ощущения, а у него глаза действительно оказались голубые, ласковые и улыбались милой детской улыбкой, — не закричали так, а закричали:

— Уррра-а-а нашему батькови!.. Нэхай живе!.. Пидемо за им на край свита... Будемо биться за совитску власть. Будемо биться с панами, с генералами, с ахвицерьём...

А он ласково смотрел на них голубыми глазами, а в сердце выжигалось огненным клеймом:

«Нэма у меня ни отца, ни матери, ни жены, ни братьев, ни близких, ни родни, тильки одни эти, которых вывел я из смерти... Я, я вывел... А таких миллионы, и округ их шеи петля, и буду биться за их. Тут мой отец, дом, мать, жена, дети... Я, я, я спас от смерти тысячи, десятки тысяч людей... Я спас от смерти в страшном положении»...

Выжигалось огненно в сердце, а уста говорили:

— Товарищи!..

Но не успел сказать. Раздвигая толпу солдат направо-налево, бурно рвалась матросская масса. Всюду круглились шапочки, трепстали ленты. Могуче работая локтями, лилась матросская лавина все ближе и ближе к повозке.

Кожух спокойно глядел на них серыми, с отблеском стали, глазами, и лицо железное, и стиснутые челюсти.

Уже близко, уже тонкий слой расталкиваемых солдат только отделяет. Вот наводнили все кругом; всюду, куда ни глянешь, круглые шапочки, и ленты полощутся, и, как остров, темнеет повозка, а на ней — Кожух.

Здоровенный, плечистый матрос, весь увешанный ручными бомбами, двумя револьверами, патронташем, ухватился за повозку. Она накренилась, затрещала. Влез, стал рядом с Кожухом, снял круглую шапочку, махнул лентами, и хриповато-осипший голос — в котором и морской ветер, и соленый простор, и удаль, и пьянство, и беспутная жизнь — разнесся до самых краев:

— Товарищи!.. Вот мы, матросы, революционеры, каемся, виноваты пред Кожухом и пред вами. Чинили мы ему всякий вред, когда он спасал народ, просто сказать, пакостили ему, не помогали, критиковали, а теперь видим — неправильно поступали. От всех матросов, которые тут собрались, низко кланяемся товарищу Кожуху и говорим сердечно: «Виноваты, не серчай на нас».

Такими же просоленными морскими голосами гаркнула матросская братва:

— Виноваты, товарищ Кожух, виноваты, не серчай!

Сотни дюжих рук сволокли его и стали отчаянно кидать. Кожух высоко взлетал, падал, скрывался в руках, опять взлетал — и степь, и небо, и люди шли колесом.

«Пропал, — всю требуху, сукины сыны, вывернут!»

А от края до края потрясающе гремело:

— Уррра-а-а-а нашему батькови!.. уррра-а-а-а!..

Когда опять поставили на повозку, Кожух слегка шатался, а глаза голубые сузились, улыбаются хитрой улыбкой.

«Ось, собаки брехливые, выкрутылысь. А попадись в другом мисти, шкуру спустють...»

А громко сказал своим железным, слегка проржавевшим голосом:

— Хто старое помяне, того по потылице.

— Го-го-го!.. хха-ха-ха!.. Урра-а-а!

Много ораторов дожидаются своей очереди. Каждый несет самое важное, самое главное, и если он не скажет, так все рухнет. А громада слушает. Слышат те, которые густо разлились вокруг повозки. Дальше долетают только отдельные обрывки, а по краям ничего не слышно, но все одинаково жадно, вытянув шею, наставив ухо, слушают. Бабы суют ребятишкам пустую грудь, либо торопливо покачиваются с ними, похлопывая, и тянут шеи, боком наставляя ухо.

И странно, хотя не слышат или хватают с пятого на десятое, но в конце концов схватывают главное.

— Слышь, чехословаки до самой до Москвы навалились, а им там морды дуже набилы, у Сибирь побиглы.

— Паны сызнову заворушились, землю им отдай.

— Поцилуй мени у зад, и тоди нэ отдам.

— Слыхал, Панасюк: в России Красна Армия.

— Яка така?

— Та красна: и штани красны, и рубаха красна, и шапка красна, сзаду, спереду, скрозь красный, як рак вареный.

— Буде брехать.

— Тай ей-бо! Зараз аратор балакав.

— И я слыхав: солдатив там вже нэма, — вси красноармейцами прозываються.

— Мабуть, и нам красни штани выдадуть?

— И дуже, балакають, строго — дисциплина.

— Тай куды дущей, як у нас: як батько схотив всыпать пид шкуру, вси як взнузданнии стали ходить. Гля, як идуть в шеренге — аж як по нитке.

А по станицам проходилы, никто вид нас не плакав, не стонав.

Перекидывались, хватая у ораторов обрывки, не умея высказать, но чувствуя, что, отрезанные неизмеримыми степями, непроходимыми горами, дремучими лесами, они творили — пусть в неохватимо меньшем размере, — но то самое, что творили там, в России, в мировом, — творили здесь, голодные, голые, босые, без материальных средств, без какой бы то ни было помощи. Сами. Не понимали, но чувствовали и не умели это выразить.

До самой до синевы вечера, сменяя друг друга, говорили ораторы; по мере того как они рассказывали, у всех нарастало ощущение неохватимого счастья неразрывности с той громадой, которую они знают и не знают и которая зовется Советской Россией.

Неисчислимо блестят в темноте костры, так же неисчислимы над ними звезды.

Тихонько подымается озаренный дымок. Солдаты в лохмотьях, женщины в лохмотьях, старики, дети сидят кругом костров, сидят усталые.

Как на засеянном небе тает дымчатый след, так над всей громадой людей неощутимым утомлением замирает порыв острой радости. В этой мягкой темноте, в отсвете костров, в этом бесчисленном людском море погасает мягкая улыбка, — тихонько наплывает сон.

Костры гаснут. Тишина. Синяя ночь.

1924

РАССКАЗЫ

НА ЛЬДИНЕ

I

Мохнатые сизые тучи, словно разбитая стая испуганных птиц, низко несутся над морем. Пронзительный, резкий ветер с океана то сбивает их в темную сплошную массу, то, словно играя, разрывает и мечет, громоздя в причудливые очертания.

Побелело море, зашумело непогодой. Тяжко встают свинцовые воды и, клубясь клокочущей пеной, с глухим рокотом катятся в мглистую даль. Ветер злобно роется по их косматой поверхности, далеко разнося соленые брызги. А вдоль излучистого берега колоссальным хребтом массивно поднимаются белые зубчатые груды нагроможденного на отмелях льду. Точно титаны в тяжелой схватке накидали эти гигантские обломки.

Обрываясь крутыми уступами с прибрежных высот, к самому морю хмуро надвинулся дремучий лес. Ветер гудит между красными стволами вековых сосен, кренит стройные ели, качая их острыми верхушками и осыпая пушистый снег с печально поникших зеленых ветвей. Сдержанная угроза угрюмо слышится в этом ровном глухом шуме, и

мертвой тоской веет от дикого безлюдья. Бесследно проходят седые века над молчаливой страной, а дремучий лес стоит и спокойно, сумрачно, точно в глубокой думе, качает темными вершинами. Еще ни один его могучий ствол не упал под дерзким топором алчного лесопромышленника: топи да непроходимые болота залегли в его темной чаще. А там, где столетние сосны перешли в мелкий кустарник, мертвым простором потянулась безжизненная тундра и потерялась бесконечной границей в холодной мгле низко нависшего тумана.

На сотни верст ни дымка, ни юрты, ни человеческого следа. Только ветер крутит столбом порошу да мертвая мгла низко-низко ползет над снеговой пустыней.

Раз в году заходит и сюда беспокойный человек, нарушая угрюмое безлюдье дикого побережья. Каждый раз, как ударит лютый мороз и проложит крепкие дороги через топи и тундры, а на море в мглистой дали обрисуются беспорядочные очертания полярных льдов, грозно надвигающихся с океана, — с далеких берегов Мезени и из прибрежных селений, через тундры и перелески старого леса, скрипя железными полозьями по насквозь промерзшему снегу, тянутся оригинальные обозы: низкие ветвисторогие северные олени, запряженные в длинные черные лодки на полозьях, гуськом идут друг за другом, осторожно ступая по крепкому насту, а рядом тяжелой, увалистой походкой широко шагают косматые белые фигуры.

И с угрюмой досадой видит старый лес, как раскидываются станом на несколько верст по его опушке незваные гости.

II

Стоит Сорока на торосе, в руках длинный багор держит и пристально смотрит в холодную даль. А там, почти на самой черте горизонта, сквозь мглистую изморозь смутно выделяются и растут неправильными очертаниями белые груды. Сорока застыл в напряженном ожидании. Все приметы к тому, что быть промыслу: птица крячет, с моря низко по ветру летит, и ветер-глубник встал. Мгла ползет над самой землей, за верхушки сосен цепляет, бор зашумел. Да, должен промысел попасть. И зорко всматривается он в холодную даль, старается разглядеть, нет ли добычи: над самым морем ходят туманы — не различает глаз.

День погасал. Ветер гудел в сосновом бору и в вихре крутил порошистый снег. Отовсюду ползли безжизненные серые зимние сумерки, заволакивая пустынный берег. Там и сям из-за массивных ледяных глыб виднелись косматые белые фигуры с длинными баграми в руках, напряженно всматривавшиеся в мглистую даль. Море глухо шумело. Вдали безобразною белою грудой смутно надвигалась громада льдов.

Глянул Сорока по берегу, смотрит — за соседним обломком льда Ворона стоит с багром, туда же глядит. Посмотрел на него Сорока, и темно стало у него на душе. Здоровый мужик Ворона, совик на нем олений, добрый, бафилы новые: стоит себе, на багор слегка оперся, глядит на море, видно, не тужит: попадет промысел — Ворона новую шхуну пустит, еще пуще торговать начнет; не попадет — горевать не будет.

Да и сам Ворона надрывать себя на промыслах очень не станет: для него набьют зверя покрутчики. И Сорока пошел от него покрутчиком и за то,

что Ворона снабдил его теплой одежей, должен отдать ему половину добычи.

Ветер зашумел, разорвал туман и колеблющейся пеленой отнес безжизненную мглу к самому горизонту. Глянул Сорока, встрепенулся. Позабыл и Ворону, и олений совик его новый, и свою досаду на него, и то, что он должен отдать ему половину добычи, — позабыл все Сорока и впился зоркими глазами в посветлевшую даль.

А там, насколько хватало глаз, тянулась, надвигаясь к берегу, изрытая, изборожденная ледяная равнина, уходя в холодную серую дымку далекого горизонта. Громадные синеватые глыбы, стоймя торчавшие над белесоватою массою мелкого льда, медленно поднимались и с треском рушились, выжатые снизу напором прибывающей воды. Тяжело надвигались ледяные поля, и смешанный гул висел над ними, не похожий на морской прибой. Точно бог весть откуда смутно докатывались глухие раскаты урагана.

Видит Сорока, едва глаз улавливает — черными точками реют птицы. Загорелись у него глаза. «Есть!» Собрал он в кольца ременную веревку, попробовал багор, взял палку кривую, приготовился, ждет, пока льды подойдут к самому берегу.

Огляделся, видит — день совсем кончается. Недолог бывает он на этом далеком берегу. Чуть-чуть выглянет солнышко из-за туманного горизонта холодными лучами на каких-нибудь полтора часа — и снова спешит опуститься почти в той же точке, откуда и взошло.

Сквозь разорванную мглу скользнул последний безжизненный луч, заиграл мириадами радужных искорок в снежинках, отразился во льду тороса и на мгновение бледно осветил и глухо рокочущее льдистое море, и этот бесприютный, одетый

печальным саваном берег, и сотни разбросанных вдоль него человеческих фигур.

На заискрившихся снежных сугробах прибрежных холмов там и сям темными пятнами выступили закоптелые, насквозь пропитанные дымом убогие промысловые избушки.

Снова зашумел ветер, набежал мглой и разом задернул погасавшее светило. Безжизненный, унылый колорит лег на всю окрестность.

III

Первые воды прилива добежали до берега и омыли подножье тороса. Смолкли шумевшие до того волны, придавленные тяжкой грудой. И как придвинулись ледяные поля к самому берегу — гул пошел окрест и рокотом отдался в глубине бора. Послышалось могучее шипение, шорох, треск ломающихся глыб, словно надвигалось стоногое чудовище. Передовые льдины, столкнувшись с торосом и сжатые тяжело напиравшей массой, рассыпая белую пыль, ползли на вершину, громоздились в причудливые горы. Звуки смешивались в хаотический гул. Тонкая ледяная пыль висла в воздухе и уносилась ветром. Движение ледяной массы, встретив преграду, превратилось в колоссальную энергию разрушения: в несколько минут вдоль всего берега ломаными очертаниями тяжело поднялись новые громады.

Только подошел лед к берегу, как несколько сот промышленников кинулись вперед.

Сорока спустился на лед одним из первых. Прыгая со льдины на льдину, скользя, проваливаясь по пояс в наметенный ветром снег и лед, он бежал вперед. Ледяные обломки с грохотом вали-

лись по его следам. Всем его существом овладела одна мысль, неотступная, напряженная, как дрожащая струна, отдававшаяся в груди с каждым ударом быстро стучавшего сердца: «Кабы напасть, поспеть... Царь небесный... Владычица!..» Осколки льда брызгами летели из-под бафил. Ветер свистел в ушах и бил в лицо ледяными иглами, одевая бороду и усы пушистым инеем. А он ничего не замечал и бежал все вперед.

Спускалась ночь. Берег неясными очертаниями терялся в мглистой дали. Он остановился на мгновение и, затаив дыхание, чутко насторожил слух. Кругом было пусто и шумел ветер. Необозримая ледяная равнина уходила в сгущавшиеся сумерки. Он пробежал версты две и стал уставать. «Господи, не напасу... пропущу! — с отчаянием думал он, — а надо ворочаться, воды уйдут!»

При одной мысли, что он вернется с голыми руками, по нем пробегала дрожь. Курная избушка, семья, дети ждут... Он припал ко льду и чутко приник ухом: откуда-то справа донеслись звуки, чрезвычайно похожие на плач дитяти. Мгновенно слетела усталость, он кинулся в ту сторону и опрокинулся навзничь: перед ним зияла темная щель. Пришлось обегать. Обливаясь пóтом, он наконец различил в начинавшей быстро сгущаться темноте неясные очертания каких-то темных масс.

В один прыжок Сорока был там. Здесь расположилась целая семья тюленей: громадные неуклюжие звери безобразными темными глыбами неподвижно лежали на льду. Заслышав человека, они всполошились и, опираясь на передние ласты, высоко подняв уродливые головы, неуклюже поволокли свое тяжелое тело. Очевидно, в присутствии врага они худо чувствовали себя на льду, далеко от своей родной стихии.

Нагнав ближайшего, Сорока изо всех сил махнул ему палкою между глаз. Зверь припал головою ко льду, в воздухе свистнул багор, железное острие до самого крючка вбежало в переносицу. Капли горячей крови брызнули в лицо, и громадный зверь, которого в другое место и ружейная пуля не берет, неподвижно вытянулся на льду. Меткими ударами Сорока положил еще несколько зверей.

Привычной, слегка дрожащей от волнения и усталости рукой быстро снимал он с убитых зверей шкуры и толстый слой сала. Снимает Сорока шкуры, спешит, а сам прикидывает, сколько выручит. Весело и легко стало Сороке, и сам себе ухмыляется в бороду. Если каждый раз будет так удачливо, сразу хозяйство станет на ноги.

А время не ждет, бежит — того и гляди, начнется отлив. Заспешил он, схватил кожи и сало, скатал все в большой юрок, прикрутил ременной лямкой, накинул на плечо и поволок по льду. Трудно было тащить по неровной, изрытой поверхности шести-семипудовый юрок.

Ночь, темная, глухая, спустилась на шумевшее льдом море. Холодная непроницаемая мгла ползла со всех сторон и все гуще и гуще заволакивала пустынную равнину, над которой лишь бежал холодный ветер да шумел в ледяных глыбах.

Сорока шел наугад, руководясь ветром да какими-то неуловимыми для непривычного человека и лишь знакомыми поморам приметами. Он напряженно всматривался в окружающий мрак, постукивая иногда перед собою багром. Пот градом катился с него, но он не чувствовал усталости: не с пустыми руками ворочается, только бы добраться.

Хорошо знал Сорока: воротится он домой, вся

добыча уйдет за долги, за то, что снаряжал его на промысел, вся добыча уйдет кулаку Вороне, а все-таки радостно тащил он тяжелый юрок, и пот градом катился.

«Чтой-то берегу все нету?» — мелькнуло у него.

Он огляделся кругом: глухая ночь мрачно глядела на него мертвыми очами. Острое предчувствие кольнуло его.

«Ох, не запоздать бы, давно ужс с берегу, — время!»

Он перекинул лямку на другое плечо и еще быстрее потащил юрок. Назойливая мысль, что опоздал, что пойдет отлив и его унесет в мо̀ре, так и сверлит мозг. Налегает Сорока на туго натянувшуюся лямку, надрывается, чует — упустил время. Колени подгибаются, спотыкаться стал. Впереди сквозь непроницаемую завесу мрака мигнули два-три разрозненных огонька: стало быть, берег близко.

Бежит Сорока из последних сил. Трудно дышать, в висках стучит, в горле пересохло, больно воздух холодный глотать.

Хочется остановиться хоть на минутку, но он делает усилие над собой и, перехватив на ходу раз-другой холодного снегу, еще сильнее наваливается...

Что-то зашуршало и зашелестело. Впереди смутно обрисовалась громада торосов, лед дрогнул и заскрипел.

«Бросить юрок — успею добежать!» — мелькнуло у него на мгновение.

Но он не бросил, а сделал страшное усилие и, волоча юрок, побежал...

IV

Занесенная совсем с крышей глубоким снегом, печально чернеет промысловая избушка. Из отверстия, проделанного в крыше, вырываются легкие клубы дыма и, подхватываемые ветром, быстро исчезают.

Внутри избушки темно, и только огонек, разложенный в углу, на груде камней, освещает неверным, колеблющимся красноватым отблеском черные бревенчатые стены без окон, закоптелую плоскую крышу, спускающуюся с нее махровой бахромой нагорелую сажу и длинные грязные нары вдоль стен. В воздухе легкими слоями висит едкий дым. На нарах расположились дюжие фигуры промышленников. Их набилось человек двадцать. Это один из отрядов той промысловой армии в несколько сот человек, которую ежегодно высылает к безлюдному берегу Белого моря неумолимая нужда и тяжелые жизненные условия Севера.

Медленно и скучно тянется время. Злую шутку сыграло родное море: в несколько часов побелело оно льдами, немало добычи принесло к берегам, — да вдруг набежала непогода, расколола и сломала ледяной покров и безобразными грудами раскидала его на сотни верст. И приходится коротать долгие полярные ночи и серые зимние дни, а единственное средство развлечения — табак и песня, — безусловно, изгнано.

«Море чистоту любит, молитву, — говорят промышленники, — а то ежели с табаком, да с песней, да с сквернословием, так и не вынешь ничего: вдруг ветер падет с берегу и всю кожу отобьет, да и тебя вглубь вынесет».

В углу, вокруг красноватого костра, клубив-

шего смолистый пахучий дым, сидят и лежат промышленники. Они коротают тоскливое время, слушая сказки и разные бывальщины.

Снаружи захрустел снег под чьими-то тяжелыми шагами... Дверь распахнулась, ворвавшийся холодный ветер колыхнул красноватое пламя костра и заклубился дымом. Вошел мужик в совике. Покрытое инеем лицо, точно поросшее белым мохом, угрюмо выглядывало из мехового капюшона.

— Сороки нетути, — проговорил он низким голосом, — унесло!

Все разом смолкли. И у каждого мелькнуло в голове: холодный простор, льды да звездное небо, а во льду человек бьется и стынет.

— Што же сидите? — сурово проговорил старик. — Ступайте к карбасу!

Человек восемь поспешно стали надевать «рубахи».

Старик вышел и посмотрел на море. Оно зеркальным простором уходило в морозную даль, и с вышины звездное небо гляделось в него. В синеватой дымке недвижно дремал старый лес, и вдоль берега, словно исполины на страже, молча подымались ледяные утесы. В застывшем ночном воздухе висела мертвая тишина.

Через минуту небольшой карбас отчалил от берега и, далеко оставляя за собой колеблющийся фосфорический след, потонул в морозном сиянии.

V

Ветер упал. Затихавшие волны несли изломанные, рассеянные остатки ледяных полей, словно разбитые обломки гигантского корабля. Тучи

поспешно сбегали с синего свода, унизанного ярко мерцавшими звездами, и долгая северная ночь, прозрачная и холодная, как синие льды, раскинулась над глухо рокотавшим морем, которое, словно сердясь, еще не улеглось от недавней бури.

Постепенно море очищалось от льда, и только одинокие глыбы там и сям тихо покачивались волной. На одной из таких льдин, смутно рисуясь на синем фоне далекого горизонта, неясно выделялся темный силуэт высокой фигуры.

Это был Сорока.

Он искусно работал багром, и гибкий шест бурлил и пенил холодную воду. Неуклюжая глыба тихо подвигалась вперед. Бесконечным простором расстилалась вокруг водяная гладь.

Сорока поднял голову: вверху сквозь тонкий пар мороза блестела золотая Медведица, — по ней надо держать путь. Сорока наваливается на багор, толкает вперед тяжелую льдину, а в голове несвязно теснятся темные думы: далеко море вынесло, мороз лютый ударил, другие сутки во рту ничего не было. Налегает Сорока на багор, старается, слышит — слабеть стал. Приостановился на минутку, снегу перехватил, огляделся кругом: водная пустыня в голубоватом сумраке тянулась без конца и пропадала.

Сбежали последние легкие тени тучек, морозное небо фосфорически заискрилось мириадами блесток. Море улеглось необъятно, и в нем дробились звезды.

Чует Сорока — не кончить добром: охватило холодное море, а в очи неподвижно глядит побелевший мороз, неслышно подбирается, острыми иглами проникает в стынущее тело.

Работает Сорока, старается согреться работой, а в голове смутной вереницей бегут смутные думы.

«Господи, вынеси... ребята малые, несмысленые... не подымут силу... кому надоть... Хозяйки нетути...» Лезут в голову думы, что дома ничего нет, что, напромышляй он промыслу, поправился бы хоть сколько-нибудь и Вороне отдал бы долги. Все бы сделал Сорока, да вот вернется ли? Вспомнил избушку, темную, дымную. Придет, бывало, с промыслов Сорока и распарит и согреет грешное тело. Вспомнил, как еще мальчиком ходил с отцом на промысел. Кругом шумел морской прибой и ходили ледяные горы... Тропки на болотах вспомнил, птицу пернатую, зверя лесного, что ловил. Бедность свою вспомнил, и, как подумал обо всем Сорока, горько стало ему. Налег на багор и мысленно окинул пространство, что надо пройти: «Ох, не добраться!» И опять стало жалко себя. Неужели же так-таки ему и пропадать?

Не верится Сороке. Много годов хаживал он на море. По неделям, по месяцам приходилось жить. Кругом море, льды да небо. Бывало, далеко уносило, без хлеба, без огня, без помощи, на волос от смерти бывал, а выносило же. Вот те все вернутся домой: хата теплая... ребятишки... с промысла продадут... хозяйства поправят... а его будет носить по морю безжизненным куском льда. И у него дома ребята, и хозяйство, и промысел есть, а вот не вернется! Защемила тоска, жалко помирать, а знает — замерзнет, обессилел. Тяжелая слезинка выжалась из глаз, сползла по суровому лицу и повисла замерзшей капелькой на обледенелых усах. Поднял голову и недоумевающе посмотрел затуманившимися очами на далекое небо, отливавшее холодным блеском, точно ждал ответа. Но стояло ночное безмолвие над застывшим миром.

А сверкающий купол медленно, но непрерывно совершал свой урочный поворот вокруг маленькой

звездочки в хвосте золотого крючка Медведицы.

На сверкавшем небе пронеслось дымчатое облачко, и звезды искрились сквозь его тонкое тело, а из-за края зловеще разгорался сполох, зажигая небо волшебными бегущими огнями.

Из последних сил бьется Сорока, слабее и слабее гнется длинный шест; занемели руки, не слышно ног, клонит отяжелевшую голову. Хочется ему хоть на минутку присесть, да хорошо знает, зорко следит белый мороз: только останешься без движения, он обоймет, повеет и проникнет насквозь холодным дыханием. Борется Сорока с дремой и не думает уже: мысли спутались, оборвались и неясно проносились, точно по ветру клочья безжизненного тумана. Понял Сорока — не жить ему, и опять вспыхнули в его холодеющем мозгу далекие родные картины, вспыхнули и погасли. Понял Сорока, теперь уже никто ему не поможет, не поспеет, не услышит.

— Братцы, пропадаю... отцы родные!..

И этот безумный вопль дико нарушил ночное безмолвие, пронесся над водной гладью и, как бы подымаясь все выше и выше, замер в тонком морозном тумане. Только дальние льды послушным эхом отразили ненужный вопль о помощи да маленькая звездочка сорвалась и скатилась, и снова все стихло.

А сполох все разгорался. На одной половине небо ярко горело звездами, а на другой половине потухли все звезды, и зловещая мгла мрачно глядела оттуда. Словно из гигантского жерла, вылетал оттуда белый клуб дыма и, расстилаясь, быстро проносился по небу, сквозя яркими звездами и потухая в зените. Каждый раз, как вспыхивала эта дымчатая пелена, казалось — вот-вот раздастся

оглушительный удар и дрогнет заснувшее море. Но в неподвижном воздухе стояла все та же немая тишина. Только из жерла бесконечно вспыхивали колеблющиеся огнистые полосы и быстро проносились, играя всеми цветами.

Сонливое состояние стало овладевать Сорокой. Надоело, лениво-тяжело было стоять на ногах, и он присел на корточки. Приятная теплота разлилась по телу. «Вишь, мороз-то менее стал», — мелькнуло у него. Тихая дрема туманила голову. Что-то смутное, неясное, давно забытое то всплывает несвязными обрывками в круговороте воспоминаний, то снова тухнет и тонет в бесконечных картинах прожитой жизни.

Стала представляться глухая ночь в глухой тундре. Во мраке носился ураган, и его бешеный гул, словно похоронный звон, уныло звучал над одинокой юртой, погребенной под снежным заносом. К самой юрте боязливо жались олени. А в юрте сидит он, Сорока, самоед и его семья. Сидит Сорока на куче оленьих шкур, бочонок в руках держит и ведет торг: покупает у самоедов оленей. Не продают — без оленя в тундре издохнешь. Поднес Сорока самоеду стаканчик — повеселел тот; поднес другой — стал самоед сговорчивее, поднес третий — запел самоед. Пел он обо всем, что было перед глазами. Стал пить водку и запел: «Ах, водка, хорошая водка!» В костер дров подкинули, он запел: «Ах, огонь, горячий огонь!» Залаяла собачонка, он пел: «Ах, собака, белая собака!» И щемящей тоской теперь повеяло на Сороку от этой давно слышанной песни.

Напоил Сорока самоеда допьяна, напоил и самоедку и купил у них за грош всех оленей. Утром улеглась буря. Он согнал оленей, только оставил самоеду трех, чтоб не пропал совсем. Уехал Соро-

ка, а самоед остался в тундре. И теперь Сорока никак не может отвязаться от этого самоеда: смотрит он на него сквозь узенькие щелочки посоловелыми от водки глазами и не то поет, не то плачет: «Олешки, олешки... ах, олешки!..» Хочет забыть об этом Сорока, мутится у него в голове, мысли мешаются, хочет отвязаться от этих мыслей и отдаться туманящей голову дремоте.

Он вздрогнул. Раздался гулкий протяжный удар, точно тяжелый артиллерийский залп. Где-то расселась ледяная громада, сжатая морозом. Отраженное дальними льдами упругое эхо с рокотом далеко покатилось по водной глади.

На мгновение он как бы очнулся. К удивлению, никак не мог разодрать глаз: они точно слиплись. И, как далекая зарница в глухую полночь, мелькнуло смутное сознание опасности. В воздухе опять повисла мертвая тишина, и прежнее оцепенелое состояние овладело им. Ему надоело усиливаться поднять свои отяжелевшие веки. Опять дрема отуманила голову, и несвязные думы, точно легкие тени в лунную ночь, бежали смутной вереницей. Чудилось ему, что жило мертвое море и тихо дышало бесконечным простором, и тонкий пар его дыхания подымался к далеким звездам, а в его недрах совершалось неведомое. Казалось, весь мир замолк, и та прежняя жизнь потухла, затаилась в этой загадочной пустоте, наполненной биением какой-то другой, незримой жизни. Чудилось, неслышно веет тихий ветер, и звучит смутный, едва уловимый звон, и легкий туман колеблется над морем.

И сквозь морозный туман чудится Сороке: разбегаясь фосфорическим блеском, змеятся две светлые волны. И плывет на него, не касаясь воды, полупрозрачная, смутно-неясная лодка. Ледяная

глыба дрогнула, зашаталась, взволновала спокойную поверхность; расходясь, побежали серебряные круги. Отраженные в колышущейся глади звезды задрожали, запрыгали и расплылись колеблющимся золотом. Только что показавшийся месяц уродливо вытянулся, заколебался и лег длинной полосой до самого горизонта. А над морем тихо спустился сумрак и покрыл все...

Сияя величавой красотой Севера, тихо дремлет над спокойным морем полярная ночь, затканная тонким искристым, морозным туманом. А над нею, сверкая причудливыми переливами фосфорической игры, разметалась звездная ткань. В темной пучине колебались повисшие яркие звезды. С вышины задумчиво льется голубоватое сияние. Мертвая тишина неподвижно повисла над застывшим морем, и чудится в этой сверкающей переливчатой красоте безжизненный холод вечной смерти. Мягкий синеватый отсвет озаряет необъятную водную гладь, подернувшуюся тонким льдистым слоем, и в морозной дали неподвижно скорчившуюся на одинокой льдине фигуру, опушенную белым инеем.

1889

МЕСТЬ

I

Было холодно. С серого зимнего неба попархивали снежинки, и резкий восточный ветер, ни на минуту не останавливаясь, упорно тянул по льду поземку, местами дымившуюся тонкой снежной пылью. Куда ни глянешь — везде пустынно, ровно, бело. Только позади темнели невысокие глинистые обрывы морского берега, размытые и неровные, слегка запорошенные теперь снегом.

В громадных розвальнях, заполненных сетями, веревками, топорами, шестами, «стрекачами» для пробивки льда, теплой одеждой, провизией, котлом для варки пищи, поленьями дров, привалившись к задку, дремал, укрытый теплым кожухом и полстью, старик. Молодой парень сидел на передке, свесив из саней обутые в валенки ноги. Пара маштаков бежала ровно и споро, не останавливаясь, зная, что еще долго так придется бежать.

Парень не правил лошадьми, а, засунув под сиденье концы вожжей, привалившись к саням и глубоко засунув руки в рукава, задумчиво глядел под передок, как под полозьями неустанно все в одну и ту же сторону бежал снег. Иногда он менял

положение, выпрастывал руки, больше свешивал ноги и чертил ими по снегу или начинал разговаривать с лошадьми тем особенным тоном и голосом, которыми обыкновенно кучера в дороге разговаривают с своими лошадьми.

— Но, но, милаи, но, резвыи!.. Эй, ягнятки! Много пробегали, немало осталось... Но, детки!

Или вытаскивал из-под себя кнут и начинал хлестать ближайшего коня долго и настойчиво. Тот сначала отмахивался хвостом, как от надоедливой мухи, но потом, видя, что от него не отстают, точно желая сказать: «Эк его, привязался!» — неловко и неуклюже переваливаясь, пускался вскачь, прыгая всеми четырьмя ногами. Мужик, очень довольный, переставал хлестать, натягивая вожжи и запихивая опять кнут под себя, а конь, попрыгав еще раза два-три, с сознанием, что наконец удовлетворил каприз возницы, снова начинал бежать ровной рысью. Мужик опять примащивался в санях, подставляя ветру то спину, то бок. Ему нечего было делать, было холодно и скучно.

— Аж наскрозь тебя продувает... Удивительное дело... — говорил он сам с собой, глядя, как из-под лошадиных копыт, из-под полозьев саней дымил порошей морозный ветер и неустанно, без перерыва по всему пространству гнал сухой снег, неведомо куда и зачем.

Иногда Никита соскакивал и бежал рядом с санями, хлопая и махая накрест руками. Или, отставая, шел некоторое время шагом, потом пускался бегом догонять далеко ушедшие сани. Лошади же, видя, что возница нагоняет их, и опасаясь, что он начнет их сейчас хлестать, подхватывали сани и неслись во всю рысь, так что Никита что есть духу должен был бежать за санями, пока наконец, улучив минуту, изнемогая и запыхав-

шись, переваливался брюхом через грядку саней, красный от напряжения и ворча на лошадей: «Вот, идолы, проманежили как!» — а на самом деле очень довольный, что кони сыграли с ним эту штуку.

Берег давно пропал, кругом курилась белая равнина. Казалось, это была степь, ровная и гладкая, по которой сплошь тянула поземка.

Но это было море.

И как бы в доказательство этого, нарушая унылое однообразие окружающей обстановки и состояние скуки и монотонности Никиты, потрясая воздух, грянул громовой раскат и тяжело покатился к самому краю равнины.

Никита подобрал вожжи, лошади насторожили уши, спавший рыбак проснулся, выставил из-под полсти голову и стал осматриваться, щурясь от белого снега.

— Где? Впереди али сзади?

— Впереди, — проговорил Никита, привстав в санях на колени и всматриваясь вперед.

Саженях в пятидесяти среди снега темнела водная полоса, протянувшись до самого горизонта. Когда подъехали, щель разошлась сажени на три.

Никита слез, обошел лошадей, поправил дугу и проговорил:

— Што жа, рубить, видно, надо, куда объезжать: сколько видно — пошла.

Из саней, приподняв полсть, вылез бородатый с проседью, широкоплечий, здоровый старик лет пятидесяти, прошел ко все расходившейся щели и внимательно осмотрелся кругом.

— Делать нечего, — сказал он, — придется рубить. Экая беда — время зря сколько пропадет!..

Они достали из саней топоры и «стрекачи» и

стали вырубать во льду у самого края большую четырехугольную глыбу. Отделив ее от остальной массы льда, они вывели ее баграми на воду, поставили длинной стороной поперек щели так, что она концами уперлась в края матерого льда, и перевели по ней лошадей с санями, как по мосту.

Тронулись дальше. Никита уселся на облучок, а старик залез под полсть. Но не успели они проехать и полсотни саженей, как снова раздался гул лопнувшего почти под самыми ногами лошадей льда. Лошади испуганно шарахнулись. Щель быстро расходилась.

Парень и старик торопливо соскочили, чтобы не дать ей совсем разойтись, надвинули сани, сколько возможно было, на лошадей, так что хомуты у них оказались на головах, гикнули и хлестнули коней. Лошади рванулись и совсем с санями перенеслись через угрожающе темневшую в расщелине воду.

Снова лошади бегут своей привычной побежкой, покачиваясь крупами, в такт потряхивая головой и гривой. И Никита опять, свесив ноги, глядит на убегающий мимо снег, на мелькающие лошадиные ноги, которые, выворачивая копыта, то и дело показывают ему отбеленное железо подков, разговаривает с лошадьми и с ветром и согревается, бегом догоняя сани. Кругом все так же однообразно и скучно.

Старик лежит под полстью и прислушивается — не лопается ли опять лед. Его стало беспокоить, как бы не переменился ветер; тогда ведь в какие-нибудь три-четыре часа поломает лед и станет их носить по морю. Но зловещего гула больше не слышно, и лишь в санях шумит ветер да полозья повизгивают, скользя иногда по льду.

Старик немного успокоился и стал думать о

том, о чем он всегда думал, когда ничем не был занят: о своем хозяйстве, о рыбе, о сетях, о том, что того-то надо прикупить, то-то переменить, что надо бы столько-то пудов рыбы поймать, чтобы обернуться этот месяц, что не надо взгадывать — сколько поймаешь рыбы, потому что тогда ничего не поймаешь. Потом он стал высчитывать, сколько пришлось ему за красную рыбу и за судака. Судака он продал хорошо, а красную рыбу продешевил. И как только он вспомнил про это, у него засосало опять «у самой души», как он выражался.

Старик всячески берег деньгу, и малейшая потеря его обыкновенно долго мучила. Единственный способ заработать был рыбный промысел, и потому все помыслы его сосредоточивались на нем. С самого детства, сколько он себя помнит, он ничем другим не занимался. Весь мир для него сосредоточивался на этом мутном, заплесневелом море с низкими глинистыми берегами. Все города, какие ни существуют на свете, он представлял себе в виде Ейска, Ростова, Таганрога, Мариуполя, да и то в виде тех их частей, где помещался рыбный базар. «Расею», о которой иногда приходилось говорить, он представлял себе в виде прикубанских, донских и приднепровских степей, которые со всех сторон надвинулись на Азовское море. В самом море он знал каждый уголок, каждую ложбинку, углубление. Во всякую погоду днем и ночью ходил в баркасе без компаса и приходил туда, куда нужно. Знал, когда и какая рыба ловится, где она держится косяками, и немилосердно истреблял ее крючьями и разными другими недозволенными снастями, приговаривая, что рыба — божий дар и что хватит ее на всех, хотя последние годы все чаще и чаще стал жаловаться, что рыбы стало меньше и что год от году

она все хуже ловится. Семья у него была большая: восемь душ, — из них пять сыновей, которые рыбачили вместе с ним. Пока дети были маленькие, семья испытывала страшную нужду, почти нищету. Обзавестись своим баркасом, своими снастями не было сил. Хозяин ходил на рыболовные заводы простым работником-поденщиком. Кое-как, однако, с величайшими усилиями удалось обзавестись своими снастями, но в первый же год сети вмерзли зимой в лед — и все пропало, и опять пришлось браться за поденщину. Так было несколько раз. Но когда дети подросли и стали помогать, семья окрепла: завели свои снасти, два баркаса и пару лошадей.

У старика была и своя хатка на берегу. Он облюбовал себе местечко на косе пустынного берега, наделал саманных[1] кирпичей, наменял на рыбу черепицы и поставил хату. Но через несколько лет к нему предъявило иск о сносе хаты соседнее село, которому принадлежала береговая земля. Старик не признавал никаких судов, твердил, что это — бичевник, что у моря земля божья, что «государственное имущество»[2] разрешило рыбакам селиться на берегу безданно, беспошлинно, чтоб они ловили христианскому народу на пропитание рыбу, и что без рыбаков все поделаются нехристями: будут жрать в посты говядину. Кончилось тем, что явился судебный пристав с полицией и рабочими и сровняли хату с землей. Упрямый старик отступил немного и поставил новую хату: с этой начиналась та же история.

---

[1] Саманные — из глины с примесью соломы и навоза. (Здесь и далее *прим. А. Серафимовича.*)

[2] «Государственное имущество» — министерство государственных имуществ.

Несмотря на свое скопидомство, он всегда первый являлся с помощью, как только у какого-нибудь рыбака случалось несчастье. Прибегут, скажут, что дядя Влас потонул, или что затерло его льдами, или унесло льдом в море и он замерз, — и старик сейчас же нагружает кого-нибудь из сыновей мешком-другим рыбы и отправляется к семье погибшего. Но деньгами он никогда не помогал, а только натурой. И кажется, если бы перед ним помирали целые семьи от голода, он не дал бы ни полушки, а скорее бы отдал половину улова, — с деньгами он не мог расстаться.

Сыновей своих держал в строжайшем повиновении, не позволял им ни курить, ни пить. Себе в два-три месяца разрешал в виде отдыха «погулять», однако дома никогда не пил, а шел в город и там уже напивался до положения риз. И здесь он старался, если представлялась малейшая возможность, не истратить ни копейки, а расплатиться натурой: входил в соглашение с содержателем гостиницы или трактира, который доставлял ему определенное количество водки, а старик взамен приволакивал ворох рыбы, и хотя стоимость рыбы во много раз превышала стоимость водки и гораздо выгоднее было бы продать рыбу и на вырученные деньги купить водки, — старик был в восторге, что погулял, не истратив ни копейки.

Перетерпел он на своем веку много: два раза тонул на захлестнутом водой баркасе, и его носило по морю целые сутки; раз затерло льдами, и его едва успели спасти товарищи, а несколько лет назад унесло на льду в море со всем — с лошадьми, санями и снастями. Лошади замерзли, сани затерло льдом, и они пошли ко дну, и остался он один среди льда, кругом шумело холодное

море, а над головою низко висело серое зимнее небо. Его вынесло из Таганрогского залива в самое море, пронесло мимо Бердянска, мимо Геническа, но с берега не могли разобрать черную точку среди льда; и ниоткуда не было помощи. Он жевал куски голенищ своих сапог, глотал снег, но потом, когда увидел, что спасения нет, лег на лед и перестал бороться со смертью. Его сняли уже около Керчи, закоченевшего, в бессознательном состоянии, и доставили в больницу. Здесь ему отрезали все пальцы на левой ноге и правое ухо. И странно, с тех пор он иногда чувствовал, что чешутся пальцы на ноге, которых у него не было. Вот и теперь. Старик замечал, что это у него к перемене погоды, и с беспокойством отвернул полсть и огляделся кругом.

II

Лошади понуро стояли. Поземка все так же тянула, а недалеко одиноко торчали вбитые в лед колья, и маленькие флажки трепетали на их верхушках; они означали места, где были поставлены сети.

Старик и Никита достали топоры и пробили лунки, которые затянуло морозом. Стали выбирать сети, но там ничего не было. Старик хмурился, ворчал. Ему подозрительно было, что в сетях не оказалось ни одной рыбы. Соседи рыбаки, возвращавшиеся с моря, говорили, что рыба хорошо идет. Спустили опять сети, сели в сани и тронулись дальше. Проехали версты две, впереди опять показались вбитые в лед колья и бившиеся на них по ветру привязанные лоскутки.

Старик велел остановиться Никите, а сам, вни-

мательно осматриваясь кругом, пошел к лункам. Тут он опустился возле них на колени и стал шарить голой рукой по снегу и по краям лунки, потом поднялся и кликнул Никиту. Тот торопливо подбежал.

— Что, али *был?* — проговорил он.

— *Был*, и недавно — лунки только что успело затянуть, ледок-то совсем еще тонкий.

— Следов не видать?

— Следов и не будет видать — вишь, поземка тянет, все заметет, и время такое выбирает. Теперича засыпем сети, к крайним вдаримся — може, там накроем *его*.

И старик и Никита торопливо вытаскивали из саней привезенные сети, топоры, секачи и стали рубить во льду новые лунки. Они работали напряженно, и целые тучи ледяных брызг летели из-под топоров, обдавая их лица и платье. Наконец у Никиты топор со всей рукоятью ушел в лед, и оттуда фонтаном ударила вода, разливаясь по льду.

Вырубили по прямой линии на расстоянии двух саженей одна от другой еще десяток лунок. Оставалось «засыпать» сети — самое тяжелое и неприятное дело.

Никита привязал к концу длинного шеста веревку, которая шла от сложенной на льду сети, погрузил шест в лунку и стал в воде голыми руками направлять его так, чтобы он подо льдом прошел как раз ко второй лунке.

В холодной ледяной воде руки разом закоченели — ветер нестерпимо жег их морозом. Было так холодно, что Никита делал над собой страшные усилия, чтобы выдержать и не бросить все. Старик крючком ловил во второй лунке просовываемый подо льдом шест, и когда он наконец зацепил его

и придержал, Никита мог немного отогреть руки. Он вскочил, торопливо вытер их о кожух и яростно, что было силы, стал махать ими накрест, хлопая себя в бока и плечи.

А над снежной равниной быстро вечерело. Небо стало чистое, и на нем показалась луна, круглая и белая. Угасающий дневной свет не давал ей светить. В сумерки эти два человека, лошадь и сани казались еще более одинокими, затерянными среди безлюдной пустынной равнины, над которой все так же проносился морозный ветер.

Никита не согрел рук, но они хоть немного отошли; невыносимо кололо в пальцы. Опять надо было снимать рукавицы и лезть голыми руками в ледяную воду. И Никита, усиливаясь удержать дрожь и не попадая зуб на зуб, снова стал возиться с шестом в воде, прогоняя его подо льдом через все лунки, в которых ловил его крючком старик. Наконец шест прошел к последней лунке, откуда его и вытащили. Никита перебежал к этой лунке и стал быстро выбирать из нее веревку, которую за собой протянул шест. Вода бежала с бечевы, затекала Никите за рукава и намерзала там на рубахе и на овчине тулупа. Старик у первой крайней лунки спускал в воду аккуратно сложенную на льду сеть, расправляя ее и вытягивая.

Но вот у Никиты бечева кончилась, и из-подо льда показалась сеть, которая протянулась саженей на тридцать. Никита перестал выбирать и закрепил конец к наскоро вбитому в лед колу. Потом они со стариком снова схватили топоры и на другом месте стали отчаянно, чтобы согреться, рубить новые лунки. После этого Никита снова принялся болтаться в воде голыми руками, пропихивал шест и с отчаянием смотрел, как старик,

срываясь и не попадая, вылавливал его из другой лунки. Он уже не чувствовал кистей рук, а сведенные судорогой пальцы не разгибались. Он все чаще и чаще принимался отогревать руки, махать и хлопать ими о полы тулупа, но как только принимался за работу, мороз, становившийся к ночи злее, беспощадно леденил его до костей; мучения холода становились невыносимыми. Так они проработали несколько часов.

Уже давно сумерки сменились морозной ночью. Луна поднялась высоко и необыкновенно ярко озаряла теперь всю равнину искристым морозным сиянием. В снегах играли синие огоньки. Белая подвижная пелена колебалась по всей равнине. Лошади прозябли и выражали нетерпение, переступая с ноги на ногу, и иногда слегка ржали, повернув голову к хозяевам.

Покончив работу и поставив шесть новых сетей, рыбаки убрали топоры и бечевы в сани и тронулись. Прозябшие лошади пошли во всю рысь. На этот раз старик стал править ими, а Никита залез под полсть, но он и там не мог согреться. Его трясло, зубы неудержимо стучали, — казалось, холод проник внутрь его, в нем дрожал каждый мускул, и, тщетно напрягаясь, он старался подавить эту дрожь.

— Али зазяб? — проговорил старик.

— Зазяб.

— Бежи.

Никита вылез из саней и пустился за ними бегом. Он утомился от работы, а прозябшие лошади быстро уносили сани, и он делал усилие, чтобы не отстать, спотыкался, увязал в сугробах, но все-таки бежал. И только когда почувствовал, что совсем стал изнемогать и что от усталости и мороза стало перехватывать дыхание, он с уси-

лием нагнал сани, ввалился в них и снова залез под полсть. Приятная, живительная теплота стала разливаться по всем его членам.

Старик помахивал на лошадей и зорко всматривался в искрившуюся, залитую лунным сиянием снежную даль. Везде было пусто, но он почему-то все ждал, что вот-вот что-то зачернеет, покажется вдали. Но морозная даль была обманчива: темная черта горизонта порой казалась у самой дуги лошади, и там мерещилось что-то, но сейчас же отодвигалось куда-то очень далеко, и до самого края белела тянувшая поземка. Проехали несколько верст. Лошади согрелись и пошли тише. Старик перестал всматриваться в даль и задумчиво подгонял лошадей. Поправляясь на облучке, он случайно поднял голову и... остолбенел: саженях в ста вправо стояла лошадь, запряженная в сани, и недалеко человек копался и что-то делал во льду, он, видимо, не замечал подъезжавших, увлеченный своей работой.

— Никита! — проговорил старик сдавленным, хриплым шепотом.

Тот высунул из-под полсти голову.

— Гляди, *он!*

Никита выскочил из-под полсти как ужаленный.

— Тише!.. — И старик, собрав вожжи, вдруг неистово погнал коней во всю лошадиную мочь. Они понеслись во весь карьер к человеку, который что-то делал во льду.

III

Когда Петро Дранько возвратился из солдат, надо было приниматься за устройство своего хозяйства. Отец его умер, жена с ребятишками

ходила на работу из-за хлеба, и у Петра, кроме трудовых рук, ничего не было. Он тоже пошел в работники, а летом ходил на рыбные заводы.

Но под конец надоела ему такая жизнь, и он задумал обзавестись собственным хозяйством. Два года работали они с женой на чужих людей, как волы, а летом Петру посчастливилось: тянул из части тоню, вышел богатейший улов, и на его долю пришлась хорошая добыча. Сколотили так несколько десятков рублей, купил он себе старенький баркас, сетей и стал в море рыбачить. Семья кое-как перебивалась. Дело бы, вероятно, и совсем наладилось, если бы Петро успел окрепнуть, стать на ноги. Но в первые же зимние месяцы случилось несчастье — вмерзли его сети: когда внезапно усиливаются морозы, лед утолщается, и в него снизу вмерзают сети, отодрать которые уже нет возможности. Этот риск неизбежно несет всякий рыбак, но у Петра не было запасных денег и сетей, а в море у него пропало снастей рублей на пятьдесят, и он был разорен. Опять предстояла поденщина, опять нужно было слоняться по чужим дворам.

Когда Петро, убитый, возвращался по льду домой после осмотра своих пропавших снастей, кругом было пусто, и морозный восточный ветер заметал следы саней и лошади, которую он нанимал у своего соседа.

Вдруг лошадь неожиданно провалилась передними ногами в лунку, затянутую тонким ледком и заметенную снегом. Петро встал, выпростал лошадь и стал осматривать, не оборвала ли она чужой сети. Он потянул за веревку — сеть пошла из-подо льда, но оказалась целой, и в ней там и сям блеснула чешуей рыба. Вид этой добычи разом разбудил в Петре рыбака-охотника. Он забыл все

окружающее и торопливо стал выбирать из сети рыбу. Рыбы было много, и он набросал на льду целую кучу. И только когда опростал всю сеть, он с испугом оглянулся. Кругом по-прежнему никого не было. Тогда он бросился к другим сетям, которые тоже оказались битком набитыми рыбой; тут, по всей вероятности, прошел косяк. И он трясущимися руками накидал рыбы полные сани, но ее было так много, что он не мог поместить всю и остаток опять побросал под лед и затем уехал. Мороз затянул лунки, а ветер замел и заровнял снегом его следы. Никто не узнал об этом посещении.

Петро продал рыбу и не только возместил свои убытки, но у него остались еще свободные деньги. Он решил опять честно рыбачить и не заглядывать в чужие сети. Но в первый же свой выезд не мог утерпеть и снова набрал из чужих сетей рыбы.

Жизнь Петра изменилась; ему стало легче и веселей жить — стал он захаживать в гостиницы, в трактиры. Постоянное присутствие денег и уверенность, что они и завтра и послезавтра будут, тянули к доступным удовольствиям и наслаждениям. Жена Петра, привыкшая к вечной нужде и работе женщина, сначала не понимала, откуда это у них постоянно деньги и почему так удачливо Петро возвращается с моря, но потом постепенно тоже вошла во вкус легкой и свободной жизни, и у них началось разливанное море: гости, гульбища, попойки.

Петро сделался форменным мародером, «ледяным вором». Это было опасное ремесло. Рыбаки добывали себе хлеб у моря суровым трудом. Когда они уезжали зимою по льду, никто не был уверен, что они вернутся не с отмороженными руками и ногами или — что навеки не останутся посреди

моря. Никто из них не был уверен, что завтра же он не потеряет все свои снасти, инструменты, лошадь, сани — все, что необходимо для промысла, и не превратится из домовитого хозяина в нищего; смерть, увечье и разорение постоянно глядели им в глаза. Поэтому-то они с такой страшной ненавистью относились к ворам чужого улова, которые без всякого риска забирали себе хлеб, добытый тяжкими усилиями. Рыбаки расправлялись с ними подчас так же, как крестьяне расправлялись с конокрадами, но это — при том условии, если вора накрывали на месте преступления.

Петра давно подозревали, что он обирает плоды чужих трудов, но с поличным поймать не могли; он сделался необыкновенно наглым и смелым вором. Чтобы отвести глаза соседям и другим рыбакам, он держал сани, лошадь и все необходимое для рыболовства и ставил в разных местах сети, сам же следил за тем, где кто ставит сети, и исправно обирал их перед приездом хозяев, причем забирал не все, а часть улова оставлял, чтобы не возбуждать подозрений. Он так освоился с своим ремеслом, что работал уже совершенно хладнокровно.

И сегодня он объехал целый ряд сетей и сейчас трудился над последними. Возле лунки лежала большая куча рыбы. Он так был увлечен своей работой, что не слышал, как к нему во весь опор мчались на паре два рыбака, и только тогда, когда удары кованых копыт раздались совсем возле, Петро, точно над ним гром разразился, вскочил и что было мочи кинулся к своим саням. Но было уже поздно. Никита кинулся на него и со всего размаху ударил в висок. Петро покачнулся, свет перевернулся у него в глазах, но он сейчас же

оправился, и они сцепились, как два зверя, и, разом поскользнувшись, тяжело грохнулись на лед.

— Н-нет... не да-амся... не ддамся!.. — хрипел Петро, катаясь с Никитой по льду и делая нечеловеческие усилия сломить парня; он знал, что пощады ему не будет. «Только бы до саней, только бы до саней добраться!» — мелькало у него в страшном напряжении борьбы.

Никита, как молодой борзой, вцепившись в кабана, все позабыл в мире и, задыхаясь, бессмысленно твердил:

— Я те да-ам... я те дам по чужим сетям лазить!.. Я те дам!..

Они катались по льду клубком, сгребая снег и болтая по гладкой поверхности ногами. Старик с искаженным лицом бегал за ними, стараясь ударить колом вора, но, опасаясь задеть сына, отбросил кол и навалился на врага. Он вцепился ему в горло.

— А-а, мучитель, попался-таки, разоритель, губитель ты наш, враг рода человеческа!.. Напился ты нашей крови, будя тебе измываться. Не станешь теперь труды наши честные обирать. Погулял на наши кровные денежки, на наши мороженые ноги, калеченые увечья!.. Будя!..

Старику все припомнилось: вся его долгая жизнь, почти все время давившая бедность, его тяжелые труды, все беды, какие с ним когда-либо случались, и то, что у него нет правого уха и что на левой ноге отрезаны пальцы. Все это теперь ставилось на счет этому отчаянно боровшемуся человеку и давило старика чисто животной злобой, от которой он задыхался.

Петро, у которого перехватило горло, разом обессилел, глаза у него выкатились. Никита быстро поднялся, притянул веревку, привязанную

к сети, и мертвой петлей захлестнул вора под мышками.

Старик отвалился от своей жертвы, как напившийся паук, бросился вместе с Никитой к крайней лунке, и они стали торопливо вытравлять оттуда мокрую, быстро твердевшую на морозе веревку.

Петро приподнялся на руки, огляделся кругом как будто ничего не понимающим, удивленным взглядом: что это? где это он и что с ним хотят делать? Чувство облегчения, что его, по крайней мере, не задушат сейчас, овладело им. Он не думал уже о сопротивлении и, хотя его никто не держал, не пытался развязать затянутый под мышками смерзшийся узел. Кругом все так же белела снежная пелена, так же неподвижно стояла в санях лошадь, так же искрилось морозное сияние над пустынным ледяным простором. Но когда его взгляд упал на извивавшуюся, черневшую по снегу веревку, которая, перегнувшись, спускалась в нескольких шагах в лунку, и он увидел, как торопливо выбирали два человека с напряженными лицами из дальней лунки противоположный конец веревки, — ужас и отчаяние охватили его. Он вдруг упал перед ними на колени и стал, как на исповеди, бить земные поклоны:

— Отпустите... отпустите... братцы... Сироты... по миру... пойдут... Братцы... не с радости на это дело пошел... есть надо... семеро ребят... Братцы, лошадь, сани — все ваше... коровенка дома, деньги, какие есть, — все отдам; не губите христианской души... Братцы, какая вам корысть с того, что загубите... отпустите... век буду молитвенник ваш... Пропадет семья, некому выкормить... Пожалейте...

Он кланялся, не поднимаясь с колен, стукаясь в холодный лед, без шапки, с разорванным донизу во-

ротом, с окровавленным лицом. Правое ухо у него совершенно побелело, но он ничего не замечал и все быстрее и быстрее бил земные поклоны.

А те из всех сил выбирали веревку голыми, скрюченными, начинавшими уже коченеть, неслушавшимися руками, из-под которых бежала намерзавшая на рукавах вода. Вдруг они с напряжением уперлись и стали тащить веревку изо всех сил.

И в ту же секунду Петро пошатнулся, веревка, обхватывавшая его и свободно лежавшая на снегу, вытянулась, как струна, и медленно потащила его к лунке. Он закричал так, как животное, которое ударили ножом в горло, но неловко, и оно, захлебываясь, напрягает все силы в безнадежной борьбе со смертью. Несчастный опрокинулся, цепляясь за малейшие неровности, хватаясь зубами за лед, вонзая в него ногти, из-под которых брызнула кровь, но... все напрасно! — до лунки оставалось только три шага... два... потом один...

— Карраул-уул... ратуйте! топят... карау-ул!.. ратуйте, кто в бога верует! Погибаю!..

Но кругом было пусто, и, покрывая этот белевший простор, покрывая готовящееся совершиться преступление, неподвижно и безучастно стояла безмолвная морозная месячная ночь.

Возле выступила лунка с намерзшими краями, через которые, перегибаясь, скользила веревка. В глубине ее чернела вода.

— Так будьте же вы трижды прокляты, анафемы, жадные звери, — жрите человечью кровь... Чтоб вас покарал господь, чтоб у вас отнялись ноги, чтоб вам не видать детей... нате! жрите человечину... Помните мое предсмертное слово, правда откроется, быть вам обоим на катор...

Он не договорил, неуклюже перевернулся,

протиснулся в узкую ледяную дыру, и вода с глухим шумом расступилась... Затем все стихло. Надо льдом остались только два человека. Они изо всех сил тащили из противоположной лунки веревку.

Сначала веревка шла свободно и легко, потом в ней стали слышны толчки, что-то шло подо льдом, задевая за него и цепляясь за нижние края лунок, потом стало тяжело тащить, как будто сеть захватила много рыбы или зацепила бревно. В лунке что-то забурлило, зачернелось, вода расступилась, и оттуда показалась голова, затем плечи и туловище человека, с которого струилась вода. Лицо побагровело и вздулось, но он был еще жив и медленно перевел глаза на вытащивших его людей.

Рыбаки бросились опять к противоположной лунке, схватили конец, прикрепленный к колу, и стали выбирать веревку из лунки. И начинавший уже обмерзать человек вдруг шевельнулся, протиснулся опять назад в лунку и опять ушел под лед, а когда он показался в первой лунке, его протащили подо льдом еще раз и вытащили, наконец, на поверхность. Он покрылся льдом, как панцирем. Голова, волосы, ресницы, неподвижно открытые глаза, борода, платье — все блестело при лунном свете.

Рыбаки подняли, поставили и подержали его с минуту; сбегавшая вода все больше и больше намерзала у ног, образуя пьедестал. В закоченевшие руки своей жертвы они сунули длинный костыль, на который этот мерзлый человек опирался, потом бросились в сани и погнали лошадей, не тронув рыбы и оставив на произвол судьбы свои сети. Лошади пошли ходкой рысью, отбивая по льду коваными копытами.

Старик и Никита не чувствовали угрызения

совести, но испытывали то состояние, которое, вероятно, испытывают присяжные, когда осудят на долгую каторгу отца большого семейства, который стоит перед ними бледный, худой, истомленный и теперь, в сущности, жалкий и безвредный человек. Осудить его нужно — за ним вопиет преступление, но кто же прокормит его галчат, которые хотят есть?..

Через минуту сани затерялись среди снежного простора.

IV

Долго стоял Гнедко, понуро опустив шею, прижав уши. Он весь заиндевел, точно поседел, и шерсть на нем сделалась пушистой и белой, а у ноздрей и губ намерзли сосульки. Ветер становился злей, пробирал до костей морозом и набивал возле ног бугры снега. Гнедко стал дрожать. Он уже раза два поворачивал свою заиндевевшую голову и глядел из-за дуги на хозяина; он давно ждал, что тот вот-вот подойдет к задку саней, пороется там, вытащит охапку сена, прикрикнет на него, когда он станет тянуться за сеном, и бросит ему под морду. Но хозяин, высокий и неподвижный, стоял не шевелясь на одном и том же месте, задумчиво опираясь на длинный костыль. Гнедко слегка заржал, давая знать, что он голоден и продрог.

Поведение его хозяина сегодня было в высшей степени странно. Что это — хозяин, Гнедко был уверен: когда уезжали на серой паре в санях два человека, он хорошо заметил, что между ними хозяина не было.

Гнедко постоял еще несколько времени, потом

заложил оба уха назад, тронул сани и тихонько пошел. Он ожидал, что раздастся обычный окрик: «Куда, дьявол, прешь!» — и потому, пройдя шагов десять, остановился и подождал. Но по-прежнему кругом было пустынно и безлюдно, по-прежнему сплошь тянула по льду поземка, было холодно, в санях шумел ветер, и высокая темная фигура стояла не шевелясь.

Тогда Гнедко окончательно решился и потихоньку, мерным шагом отправился домой, везя за собой сани, то прижимая, то навастривая правое ухо, точно соображая дорогу.

V

Месяц, стоявший посредине неба, стал склоняться к краю льда и уже не так ярко светил над снежной равниной. Вода в лунках затянулась льдом, и его занесло снегом. Занесло снегом и кучу мерзлой рыбы, и место борьбы людей, и следы от полозьев. В морозном воздухе носились снежные кристаллы, играя в месячном свете, а низом над всей равниной шевелилась все та же белая снежная пелена гонимой студеным ветром пороши. Месяц совсем закатился, ледяная равнина потемнела.

Один за другим проходили серые зимние дни и морозные светлые ночи. Проезжавшие случайно рыбаки с удивлением подъезжали к странному человеку, одиноко и неподвижно стоявшему посреди замерзшего моря, но когда они подходили к нему, то с ужасом замечали, что неподвижно открытые глаза его побелели и в лунные ночи весь он отсвечивал льдом, и они поспешно отъезжали от этого ужасного места.

«Мародеры» тоже натыкались на место казни, гнали прочь лошадей и, когда отсюда ехали обворовывать чужие сети, вели уже себя в высшей степени осторожно.

Проходили дни, недели. Ветер переменился, море взломало, и громадные ледяные глыбы, с шумом и треском напирая друг на друга, носились из конца в конец расходившегося моря. По странной случайности то место, где стоял темный призрак, откололось одной громадной глыбой, которая носилась везде, и когда ее прибивало к берегу, где образовался затор, прибрежные жители со страхом глядели на неподвижно стоявшего день и ночь замерзшего человека. Подойти к нему нельзя было — кругом был мелкий лед. Наконец в одну глухую ночь буря искрошила весь лед, и ледяное привидение исчезло навсегда.

1897

СТЕПНЫЕ ЛЮДИ

I

В Предкавказье свирепствовала чума на рогатом скоте, и, чтобы не пропустить эту страшную эпизоотию дальше на север, поставлен был кордон, растянувшийся на много сотен верст, с ветеринарными пунктами, через которые только и разрешалось прогонять гурты скота после осмотра его ветеринаром.

Казак Иван Чижиков с двумя товарищами служил в кордоне на посту у «Соленого колодца». Служба была нетрудная, но скучная и томительная. Кругом на сотни верст ни жилья, ни поселения, ни хуторов. Голая солончаковая степь тянется без конца и края с бугра на бугор, по балкам и оврагам. Изредка вдали зачернеет кибитка, разбитая калмыками табунщиками, да пройдет косяк степных лошадей.

По целым дням лежал Иван на спине под шалашиком из бурьяна, где было нечем дышать, но, по крайней мере, не палили прямые лучи солнца, лежал, подложив руки под голову, подняв колени, рассеянно, без слов мурлыча песню, или курил цигарки из горькой сухой травы за неимением табаку. Соскучившись лежать, Иван поды-

мался, медленно, методически снимал с себя рубаху, порты и, оставшись в чем мать родила, садился на корточки и начинал разглядывать на свет свое серое от грязи и пота белье. Он разглядывал, разыскивая и убивая насекомых, серьезно, сосредоточенно нахмурившись, точно читал трудную и вместе увлекательную книгу. В шалашик заходили и два других казака, так же молча раздевались, присаживались на корточки и так же начинали охотиться, лениво перекидываясь отрывочными фразами.

Изредка казаки шли к колодцу, доставали воды и начинали стирать осторожно, чтобы не расползлось, свое белье. Солнце немилосердно палит, но голое общество, сидя на корточках перед колодцем, сосредоточенно продолжает свое дело.

— Братцы, сказывают, нам нового етеринара пришлют.

Казаки некоторое время молча продолжают стирать.

— Брешут... давно говорят, а он все тут живет.

— Сказывают, кубыть, непорядки за им открылись: дюже уж шкуры дерет со скотопромышленников.

— А он, что ж, думаешь, дерет на себя одного, что ли? Посылает, кому следоваить.

— Этот черт, по крайности, хочь ругается только, а другого пришлют, так под суд пошлет. На Белоглинском кордоне двух казаков под суд отдали.

Снова молчание. Спины становятся под солнцем чугунно-красными. Вымыв белье, казаки растягивают его по бурьяну, и солнцем мгновенно высушивает. И опять нечего делать; все так же простирается палимая солнцем степь, так же высоко стоит белесовато-мутное небо.

Но большей частью казаки убивают время

сном. Спят по целым часам, по целым дням, тяжело раскинувшись по земле, с побледневшими влажными лицами, открытыми ртами, и надоедливые мухи ползают и сосут хоботками в углу глаз, в носу, во рту, заставляя беспокойно мычать и стонать спящих. Спят казаки, и снится им станица, раскинувшаяся по горе. Внизу Дон с косами, песками, заливчиками; паром не спеша тянется по канату; на той стороне перелески дубового леса, луг, озера, мочажины. В станице свое хозяйство, базы, скотина, широкий двор, куры, ребятишки, баба... вся жизнь, полная привычного хозяйского уклада. Но почему-то они не пользуются этой жизнью, в которой только и есть смысл, а проводят день за днем среди безделья, одиночества и изнуряющего зноя. Почему? Ответа не было, а вместо того кто-то наваливался на них, и они в изнеможении, не будучи в состоянии проснуться, неподвижно лежали с тяжелым храпом, и мухи ползали по иссохшему рту и щекотали в носу. А кругом все тот же зной над иссохшей, истрескавшейся степью, то же побелевшее от жары небо, то же безлюдье, однообразие.

Иногда на казаков нападало беспричинное озлобление, и они с ожесточением начинали ругаться по самому малейшему поводу и без всякого повода.

— Эй, дьявол конопатый, почему на место не ставишь ведро?

— Да ты што за цаца? Не можешь лишнего шага ступнуть? — сразу принимая вызывающую позу, останавливается небольшого роста с веснушчатым лицом Чижиков.

— Я те так ступну, аж жарко станет!..

— Мне и так жарко, — вон рубаха взопрела... так тебя и вот как!

Отборные скверные ругательства повисают над степью. Казаки изощряются в сквернословии, как виртуозы.

— Да ты што... ты грозить, што ль?.. — и Блинов подходит к Чижикову с угрожающе сдвинутыми бровями и толкает его.

— А ты што, бить? — говорит тот в свою очередь, придвигаясь к Блинову, и слегка сует ему кулаком в живот.

Пот льется с обоих; воспаленные от зноя глаза лихорадочно блестят, и солнце немилосердно жжет черные, точно обугленные, и теперь возбужденные влажные лица...

— Бугай!!.

Это, по-видимому, невинное слово является искрой в пороховом погребе: Чижиков кидается на Блинова, и они начинают бить друг друга кулаками, тяжело дыша горячим, обжигающим воздухом, приговаривая отрывистые угрозы и ругательства.

Каждая станица носит какую-либо кличку, которая, как бы она невинна ни была сама по себе, считается очень обидной. Достаточно казаку сказать: «сургуч», «рак», «каланча», «в церкви сом ощенился», «в чемодане попа удушили» и пр., чтобы он полез с кулаками. И это вовсе не от злобы, а скорее по традиции.

В станице, где жил Чижиков, в давнопрошедшие времена как-то ожидали приезда архиерея. Это было большим событием для патриархальной станицы, где все без исключения граждане ложатся с курами и встают с петухами, где на улицах, густо поросших колючкой, лопухом, репейником, с заходом солнца не встретишь живого человека, где отдаленность событий измеряется ярмарками и стрижкой овец. С самого утра бабы и девки в урод-

ливых ситцевых кофточках, пестрых ярких юбках, щелкая семечки, казаки, старые и молодые, в мундирах, в «чекменях», в форменных фуражках, — все поглядывали на уезженную, пыльную дорогу, которая подымалась за станицей на гору, заслонявшую горизонт; но там никто не показывался. Нащелкали груды семян, шелуха которых белела по всем улицам, немало выпили в ожидании водки, а архиерея нет как нет. Наступил вечер, всех утомило напрасное ожидание, как вдруг на горе по дороге показалось большое облако пыли. Измученные долгим ожиданием часовые-добровольцы кубарем скатились с колокольни и бросились оповещать народ, что показался архиерейский поезд. Все кинулись за станицу, взволнованные и торжественно настроенные, зазвонили в церкви, старики вышли с хлебом-солью, а молодежь стала палить из ружей. Но когда клубившееся по дороге облако подошло ближе, все увидали, что это было возвращающееся с поля стадо, и шедший впереди общественный бугай в избытке силы и страсти рыл землю копытами и рогами, подымая облака скрывшей его пыли. Добровольцев-часовых жестоко побили, хлеб-соль съели, и все с горя напились.

Имел ли место в действительности такой случай или нет, — неизвестно, но только с незапамятных времен достаточно было самому почтенному гражданину этой станицы сказать: «Ну, как бугая встревали?» — чтобы привести его в ярость. Напоминание об этом событии, брошенное Блиновым, послужило непосредственным поводом к бою.

Третий казак, не принимавший участия в ссоре, бросился на обоих противников и, чтоб восстановить нарушенный мир, стал, сверхъестественно ругаясь, награждать кулаками того и другого:

— Дьяволы!.. белены объелись!..

Но обозленные бойцы кинулись на умиротворителя и начали совместно и беспощадно бить его, пока наконец все трое, изнеможенные, избитые, задыхающиеся, не остановились, продолжая еще некоторое время переругиваться и укорять друг друга, потом пошли к колодцу, промыли раны, замыли кровь и сели чинить разорванные рубахи.

Вечерело. Степь терялась в сизой мгле. На очистившемся небе понемногу высыпали звезды. Хотя степь до самой зари не могла охладиться от поглощенного за день жара и остывала, как стынущая печь, но это было единственное время, когда можно было дышать. Казаки сидели около колодца, возле тлели и дымились кизяки, и над ними кипел котелок с пшеном.

Чижиков, охватив руками колени и положив на них подбородок, глядел в темнеющую степь одним глазом: другой у него весь заплыл сине-багровым кровоподтеком. Блинов лежал на боку, вытянувшись по жесткой земле длинным телом и тяжело сопя разбитым и вспухшим, как большая груша, носом. Умиротворитель на корточках мешал в котелке тихо кипевшее пшено, и, когда сквозь пепел тлеющего кизяка несмело пробивался огонек, он, дрожа по земле колеблющимся кружком, робко освещал склонившееся над котелком все в фонарях и ссадинах лицо кашевара.

Казаки не держат зла друг на друга. Как только прошел первый пыл боя, спустился вечер, кузнечики завели свою тонкую сверлящую песенку, стало легче дышать и в котелке, поплескивая, начала кипеть каша, — у заброшенного среди степи колодца снова наступила тишина и спокойствие.

— Да-а... пришел брат из Питенбурга, — рассказывает Блинов, все так же лежа на земле и

подперев голову рукой, — ну, на радостях выпили, почитай, целую неделю гуляли, а *ее* не позвали. Народ гуторит: «Глядите, не позвали гулять, наделает *она* вам делов». Ну, брат смелый был: «А говорит, чтоб ей сдохнуть!» Глядь, а *она* тут как тут, глянула только на него глазами, ну, ничего не сказала. Хорошо. Об рождество у кума Прокопия гулянка была, брат был, и *ее* позвали. Сидят за столом, так брат, а так, супротив, — *она*. Вот брат и отставит рюмку, брешешь — не влезешь! Только *она* отвернется, брат скорей за рюмку, а *она* опять тут как тут, шею вытянет, — брат опять отставит, так до трех разов. В четвертый не утерпел: сразу рюмку к роту, только стал опрокидывать, а *она* в рюмку шмыг! Он совсем с водкой и проглоти...

— А-а!.. вишь ты!..

— Ну, в горнице этого никто не заметил, а брат-то знает, что в ем сидит, да молчит, потому все одно уж не поможешь... Жарко в горнице, несть числа жарко, народу страсть набилось, и выпили все здорово. Вот вышел брат просвежиться. На дворе мороз ядреный, вышел он, лег и стал кататься по снегу. Просвежился немного, а его как кольнет изнутря. Он аж закричал: «Ой, што ты?» А *она:* «Посулил мне издохнуть, сам высохнешь». Ну, он пошел в горницу, напился в лоск. С тех самых вот пор и стал сохнуть, кашляет, одни мослы остались. Пришло лето, собрался раз брат на бахчу поехать, запрег маштака в дроги и поехал. Дело было к вечеру. Пока то да се, выехал, и ночь. Едет, темно, только-только што дорога при звездах маячит, глядь, а наискосок от дороги белое. Конь полыхнулся, храпит, ушьми сторожится, нейдет. Вдарил коня, конь дернул, а *она* — сиг к нему на дроги! Глядит брат, диковина!

то конь легко бёг, дроги легкие, на железном ходу, а то по щетку ногами в землю уходит, как в песок, кубыть сто пудов везет, весь вытягивается, ажно пар с него пошел. Чует, брат, *она* позадь его на дрогах сидит, а не смеет оглянуться... Вот оглянулся, а у *нее* глаза, братцы мои, висять...

Рассказчик замолчал, поднялся и сел. В темноте неясно виднелись неподвижные фигуры слушателей.

— Ну?

— Тут брат память потерял. Нашли его на другой день в буераке, лежит без памяти, возле конь стоит... И, братцы мои, диковинное дело: конь у брата вороной был, добрый конь, прямо сотню хочь сичас за него; глядим, а он весь побелел, в мыле, шатается...

— С натуги, стало быть...

— И за своего коня не признаешь, хочь шкуру с него сымай... А на брата как глянули, а он весь седой... Недолго, сердешный, маялся: через неделю закопали...

Кузнечики и сверчки по-прежнему сверлили воздух. Степь безмолвно и неподвижно простиралась в темноте. Вверху горели звезды. Кашевар сплеснул сбегавшую пену и снял котелок. Все трое уселись вокруг, достали деревянные самодельные ложки, хорошенько облизали их и стали носить кашу из котелка в рот, поддерживая ложку куском черного хлеба.

— Где же *она* теперича?

— Да там же, на хуторе.

— Чего же вы так?

— Да што ж с *ней* сделаешь? Возьмись за *нее,* так все семейство перепортит.

Казаки едят некоторое время молча, с шумом втягивая губами воздух с горячей кашей.

— Теперича моя-то баба ждет не дождется, такая ее мать, — заговорил Чижиков, — письмо небось получила. — И он крепко выругался, выражая удовольствие, что скоро увидит семью, родных, знакомых, хозяйство, знакомые места и наконец прекратится эта постылая жизнь в степи без дела и с постоянной думой о хозяйстве, которое день ото дня расшатывалось и хирело.

— Гляди, она тебе подарочек приготовила.

Казаки засмеялись. Чижиков потемнел и насупился.

Звезды по-прежнему горели в темной вышине, одни подымались все выше и выше, другие спускались и пропадали за темным краем степи. Долго разговаривали казаки о ведьмах, о порче, о хозяйстве, о службе, о бабах, пока наконец не посветлело в одном месте небо и в степи не стало виднее.

II

Единственным нетерпеливо и долго ожидаемым событием, разнообразившим монотонную жизнь казаков, был прогон гуртов скота.

Вот на самом краю что-то зачернелось, шевелится и расползается по степи. Ближе, ближе... Видны уже конные на исхудалых, измученных лошадях с длинными, как змеи, ременными бичами, которыми они громко щелкают в воздухе, и рогатые головы крупного черкасского скота. Конные разъезжают по степи, подгоняют отстающих, бьют бичами и сердито покрикивают охрипшими, надорванными голосами.

— Ребята, гурт!..

Казаки вскакивают, как от электрической искры, высыпают из шалаша и, прикрыв ладонями

глаза от слепящего солнца, жадно всматриваются в проходящий гурт. Подъезжают конные, приподнимают шапки.

— Здорово дневали.

— Доброго здоровья.

— Н-но и жарко, мочи нет.

— Тепло... Это откеда же гурт гоните?

— Это, милый человек, из благополучных местов.

— Оно и видно из благополучных: вон сивый бык к вечеру протянет ноги.

— Что ты! Что ж мы, себе лиходеи, что ли: один бык заболел, все стадо пропало.

— А как ежели благополучно, так гоните через етеринарный пункт, потому нам строго-настрого не приказано пропущать скот.

— Нельзя ли у вас маленечко отдохнуть в шалашике?

— Пожалуйте.

Скот стоит, понурив головы. Гуртовщик слезает с лошади, отирая катящийся с лица пот и расставляя ноги, потом, согнувшись, пролезает в шалашик. Казаки пролезают за ним. Появляется водочка.

— Ну, как по газетам слышно, как теперича агличанка?

— Агличанка теперя молчит, а вот будто Китай подымается. Пожалуйте по рюмочке! Как же, господа честные, с гуртом будем?

— Да абнакновенно: к етеринару.

— По пятачку с головы?

— Как возможно! Мы присягали.

— По рюмочке пожалуйте!.. По шесть копеек, вот как перед богом.

— Покорно благодарим. Беспременно на пункт вам гнать придется.

— Милости просим... Вот мать пресвятая богородица, чтоб не сойтить мне с этого места, одна рубаха на плечах осталась... семь копеек...

— Мы душой рады для хорошего человека, — для хорошего человека отчего же не сделать?.. Главное, присягали, присяга... Опять то сказать: себя оберегаем, потому вы прогоните гурт, станет, упаси господи, скотина падать, а у нас там хозяйство, своя скотина. Опять же етеринар... и не увидишь, наскочит глазастый дьявол, как черт ему говорит...

Долго в шалашике слышится: «по рюмочке... покорно благодарим... главное, присяга... потому для доброго человека»... Наконец и гуртовщик и казаки вылезают из шалашика распаренные, красные, как из бани, с посоловелыми глазами. Казаки считают скот и получают по двугривенному с головы. Конные снова разъезжают по степи, хлопают бичами, и гурт уходит.

В виде разнообразия иногда наезжает ветеринар с пункта. Он с места начинает кричать и страшно ругаться.

— Это что такое?.. Да тут гурт целый прошел, следы кругом...

— Никак нет, вашскблагородие! Это прошлого месяца, што на пункт к вашему вашскблагородию заворотили который...

— Врете, мерзавцы: следы-то свежие, а через пункт за эти дни ни одной головы не прошло.

— Слушаем, вашскблагородие! — говорят казаки, держа под козырек и прямо и смело глядя ветеринару в глаза с таким видом, как будто хотели сказать: «Хоть режь, а мы не виноваты».

— Сгною в тюрьме мерзавцев!.. Сами себя ведь, подлецы, губите. Дома-то ведь скотина есть? Ведь присягали вы, негодяи, так вас и этак!..

— Так точно, вашскблагородие, есть скотина, по тому самому и оберегаем себя... а главное, што как присягали и присяге своей по гроб жисти...

Долго кричит ветеринар до хрипоты и потом уезжает. Казаки провожают его, и их невинные, покорные, безответные лица широко расплываются...

— Ишь расхорохорился, носастый черт!.. мало загребает.

Казаки знают, что, если ветеринар и не пропускает за взятку без осмотра скота, зато он всегда может на больший или меньший срок задержать здоровый скот и тем причинить гуртовщику огромные убытки. Понятно, что последний предпочитает откупиться.

Ветеринар уезжает, и опять зной, скука, безделье, побуревшая степь, мертвые солончаки, марево и столбы пыли.

Так провел Иван Чижиков свою службу. Наконец подошел срок. Собрал он свои пожитки в сумочку, зашил в тряпочку и повесил на гайтане на шею тридцать семь рублей сорок девять копеек, собранные им за службу; перекинул через плечо старую шинелишку, сумку, взял пику, помолился и отправился степью.

III

Среди бесплодного солонцеватого степного пространства, над которым стоит огромное, горячее, мутное небо, виднеется затерянная человеческая фигура.

Куда ни глянешь, везде истрескавшаяся сухая земля, горький, жесткий полынок, бурые обнаженные плешины глинистых солончаков, на кото-

рых ничего не растет. Сухой знойный ветер ходит по степи, и степь курится пылью, как пожарище. Уходя верхушками в молочное небо, ходят, крутясь, черные смерчи. Мелкая, едкая, горячая, иссушающая пыль лезет в рот, в нос, в уши идущему человеку, покрывая серым налетом волосы, исхудалое, почерневшее от загара лицо, по которому ползут, мешаясь с грязью, капли пота, старую шинель и холщовую сумку, перекинутые через плечо, форменную казачью фуражку на голове, засаленную и затрепанную, и короткую черную пику с сияющим на солнце острием.

Зной струится и колеблется над буграми. Неутолимая жажда мучает и палит. На самом краю степи вдруг показывается длинной полосой вода, неясные силуэты деревьев, ветряных мельниц, строений, маня к себе покоем, отдыхом и свежестью. Немного погодя эта светлая полоса воды отделяется от горизонта вместе с силуэтами деревьев, подымается, держится некоторое время на воздухе, тает, и опять везде одна голая, сожженная, безлюдная степь.

С усилием передвигает казак побуревшие от солнца, от горького полыня сапоги, то и дело перекладывая с плеча на плечо шинель, сумку и пику, и отирает катящийся с лица пот.

Идет он уже второй день. Второй день его немилосердно палит солнце, обжигает горячий ветер, ест пыль, и кругом, насколько глаз хватает, курится, как пожарище, степь.

«Приду домой, перво-наперво полведра старикам, ребятишкам гостинцев, бабе платок...» При воспоминании о бабе лицо у Ивана разъезжается... «Н-ну... да-а... Полведра четыре рубля пятьдесят копеек... Избу в нонешнем году перекрыть бы... пару бычков... молодых дюже надо прикупить...»

Как наяву, стоят базы, навесы, плетни, скирды.

Он вздыхает, останавливается и оглядывает степь: сизый полынок, горелая изжелта-бурая трава, между которой сквозит потрескавшаяся земля, обманчивое марево и одинаковая, однообразная степная даль. И в этой дали блестит полоса воды настоящей, а не марево. Возле ни деревьев, ни кустарников, ни зелени; берега скучны, пустынны и плоски; белеет на солнце отложившаяся соль.

Иван, изнуренный и усталый, пускается дальше, не надеясь уже когда-нибудь дойти до жилья или до места, где бы можно было передохнуть.

На горизонте обозначилась черная точка. Нельзя было разобрать — человек это, лошадь или бугор. Но немного погодя темное пятнышко обозначилось яснее, стало приближаться и через минуту Иван разглядел, что это был всадник. Он скакал прямо на Ивана. Иван остановился и стал ждать. Великолепный степной скакун золотистой масти стлался над самой землей. Старая, в морщинах калмычка в синих штанах, с выбившимися из-под шапки жидкими седыми косичками, сидела на нем верхом. Проскакивая мимо Ивана, она слегка задержала лошадь, а Иван крикнул ей, махая рукой:

— Эй, бачка, постой! Нет ли баклажки с водой? Смерть пить хочется!

Калмычка на скаку перегнулась к нему, странно взмахнула рукой; в ту же секунду в воздухе со свистом развернулся аркан, и, прежде чем успел опомниться казак, волосяная петля мгновенно стянула его поперек, туго притянув к туловищу руки. Калмычка перекинула ногу через натянувшийся от подпруги аркан, дико гикнула, и лошадь понеслась карьером. Натянувшийся, как струна, аркан с размаху кинул казака о землю

и поволок за бешено мчавшейся по степи лошадью.

Оглушенный, не понимая, что все это значит, казак тянулся и вертелся на конце аркана, как круглое бревно. То он тащился на спине, и солнце сверху ярко било ему в глаза; то перед ним мелькали откидывавшиеся задние лошадиные ноги, развевавшийся хвост и раздувавшиеся синие штаны; то он ничего не видел, тащился ничком, и иссохшая трава и потрескавшаяся, пышевшая жаром земля сдирала с лица кожу, рвала рубаху, штаны, шинель. Шапка с него свалилась, пика выпала. Он бился о землю головой, ногами, грудью, спиной, животом, переворачивался, крутился, задыхаясь, не будучи в состоянии крикнуть и теряя сознание.

А старуха с диким воем неслась, подпрыгивая и хлопая босыми ногами по начинавшим уже взмыливаться бокам лошади. Она выкрикивала дикие слова, и горячий ветер трепал ее широкие синие штаны, растрепанные косички жидких, седых, выбившихся волос и густую гриву стлавшегося по земле скакуна. Старуха не оглядывалась назад, но чувствовала, как тянулся и дергался у нее под ногой аркан, волочивший за собой казака.

Уже потемнела золотистая шея скакуна, белая пена клочьями летела назад, и сквозь широко раскрытые розовые ноздри вырывалось тяжелое дыхание.

Впереди показалась котловина. Калмычка направила туда лошадь и, опрокинувшись на спину, что есть силы натянула поводья. Скакун закрутил головой и, роняя пену и оседая на задние ноги, с трудом остановился. Сзади недвижно лежал на конце тянувшегося змеей по земле аркана туго стянутый петлей, изодранный, в лохмотьях, окровавленный человек.

Калмычка спрыгнула на землю, привязала конец повода к передней ноге лошади и, бормоча и выкрикивая что-то, подошла к неподвижно лежавшему казаку. Она схватила его за ноги, с усилием потащила, и голова казака с запекшейся на изодранном, исцарапанном лице кровью безжизненно переваливалась по земле из стороны в сторону.

— Будь ты проклят, волк лютый... издыхай, как собака, и пусть черви сожрут тебе все нутро.

И калмычка продолжала тащить казака, часто дыша, и пот, смешиваясь с грязью и пылью, сползал по ее загорелому, темному, как дубленая кожа, морщинистому лицу и падал на открытую, такую же дубленую грудь. Калмычка поминала своих детей, свою кибитку, скотину, лошадей... Упоминала про железную дорогу, про больших начальников и лютых волков.

Ей было пятьдесят восемь лет, и она помнила те времена, когда калмыки вольно кочевали со своими кибитками по степям; а теперь их согнали в станицы, предлагают заниматься земледелием и забирают сыновей на службу. Нужно строить избы, справлять сыновей в полк, покупать шинели, мундиры, сёдла, пики, шашки, белье. Нужно было много продавать, чтобы иметь на всё деньги.

Приехал раз купец покупать скот. Калмыки согнали все, что можно было продать: лишних лошадей, баранов, скот. Купец осмотрел, поторговался, поладил, угостил водкой, достал из кармана шестьсот сорок девять рублей тридцать копеек новенькими кредитками, вручил калмыкам, согнал скот и уехал.

Часть денег старуха спрятала, а остальные раздала членам семьи для покупок. Но при первой же расплате калмыков арестовали с фальшивыми деньгами. Долго не могли они взять в толк, в чем

тут дело; но когда на требование властей старуха наотрез отказалась возвратить остальную часть фальшивых денег, всю семью посадили в тюрьму. Только в тюрьме раскусили калмыки, в каком скверном деле их обвиняют и какую скверную штуку сыграл с ними купец, которого они не знали и не могли указать. Чтобы освободить истомившуюся после степной вольной жизни в тюрьме семью, старший сын старухи взял вину на себя, заявив властям, что это он покупал и потом сбывал фальшивые кредитки; его же мать и братья не подозревали этого, так как не умели различить настоящих денег от фальшивых. Его сослали в Сибирь, а семья разорилась. Двух братьев взяли в полк, младший спился и умер от чахотки.

И вот теперь старая калмычка припомнила все это, волоча за ноги одного из тех, которые пришли и забрали их землю, лишили вольной жизни, разорили, обманули, посадили в тюрьму, забрали детей куда-то далеко, а степь перерезали длинной насыпью, положили сверху железо, поставили столбики и пустили по ней телегу с дымом и огнем. Калмычка потащила казака к краю узкой, круглой дыры. Это был степной колодец, глубокий, полуобвалившийся. Ноги казака, согнувшись в коленях, свесились в черную дыру. Оставалось лишь слегка толкнуть его. Калмычка торопливо стала развязывать аркан. Петля, сдавливавшая грудь казака, ослабела, он вздохнул и полуоткрыл глаза. Старуха, не замечая, сидела на кòрточках и торопливо снимала аркан.

— Восемь вас, девятый будешь... — бормотала она и взялась за его плечи.

У казака волосы стали дыбом. Он собрал все силы и с отчаянием ужаса схватился за калмычку. Не ожидавшая ничего подобного старуха дико

закричала и изо всех сил стала спихивать его в дыру. Казак посунулся в яму, и земля с шумом посыпалась из-под него. Судорожно прижавшись головой к краю ямы, он цеплялся ногтями за землю и последним усилием опять схватился за калмычку.

Началась борьба.

Они возились на самом краю, задыхаясь, цепляясь друг за друга, отрывая один у другого руки, роняя осыпающуюся вниз землю. Казак почти весь висел над ямой и каждую секунду ждал, что полетит вниз с калмычкой, которая делала нечеловеческие усилия, чтобы оторвать его от себя.

Со страшным напряжением казаку удалось стать коленом на землю. Он сдернул калмычку, и теперь она повисла над ямой... Он отодрал от себя одну ее руку, потом стал отдирать другую. Старуха, чувствуя, что вот-вот она полетит туда, где гниют сброшенные ею раньше люди, закричала, и крик ее разнесся по всей степи. Она кричала и звала своих детей, звала старшего сына, которого угнали в Сибирь, звала двух других, которые далеко служили в полку, звала самого младшего, которого берегла как свой глаз и от которого остались одни мослы; она звала их и кричала им, как их родила, выкормила, воспитала.

Но дети не слышали. Стоявшая в двух шагах лошадь, навострив уши, с удивлением глядела на возившихся людей. Степь по-прежнему, безлюдная и безжизненная, простиралась под палящим солнцем, даль дрожала и колебалась от зноя, и ветер подымал степную пыль.

Калмычка разом смолкла, последним усилием приникла к руке казака, и в его тело по самые десна вошли старые, изъеденные, пожелтевшие зубы. Казак взвыл от боли и отодрал от груди

вторую старухину руку, в судорожно сжатых пальцах которой остался клок его рубахи.— Ты будешь девятая, будь ты проклята!..

Перед ним мелькнули выступившие из орбит круглые глаза, пожелтевшее, как лимон, изрезанное морщинами лицо, синие штаны и грязные, заскорузлые подошвы босых ног... В следующее мгновение черная пустота все скрыла. Из глубины донесся звук, как будто в мокрую грязь упало что-то тяжелое.

Шатаясь, с дрожащими руками и подгибающимися коленями казак отошел от колодца. Он все еще не мог опомниться. На нем все было изорвано, рубаха, штаны висели клочьями, на руках, на груди, на вспухшем лице запеклась кровь.

Казак подошел к осторожно поводившей ушами лошади. Лошадь, храпя и натягивая головой привязанный к ноге повод, пятилась назад.

— Тпру-у!.. тпру-у!.. Стой, дьявол калмыцкий!.. А и конь важный! За такого коня две сотни зараз клади, а то и все три... Тпру-у, окаянный!..

Он отвязал повод от ноги и любовался великолепным скакуном, который, танцуя, ходил вокруг него.

— Нет, нельзя... увидят калмыки, убьют... По крайности, хоть подушонку да подпругу взять... Тпрурру!.. стой, милай!..

И он, поглаживая коня, расстегнул подпругу и снял с лошади старенькую, никуда не годную, плоскую, как блин, подушонку, из дыр которой лезла шерсть.

— Все дома пригодится.

Потом закинул на шею лошади повод и гикнул. Лошадь шарахнулась, понеслась по степи и через минуту скрылась из глаз.

Казак подошел к колодцу, послушал, поглядел

в черную пустоту, — у него шевельнулось тайное желание, чтобы старуха подала голос и ее можно бы было вытащить; но там было все неподвижно и тихо. Он подобрал подпругу, взял под мышку и пошел по тому направлению, по которому тащила его калмычка. Пройдя несколько верст, он нашел сумочку, пику, шапку, шинель. Запихав в сумочку подпругу и подушку, Иван сел наземь, достал из шапки иголку, которая всегда была заколота внутри шапки с намотанной на ней ниткой, разделся и, сидя под горячим солнцем, стал чинить свою одежу. Идти в таком изодранном виде было опасно.

Долго сидел и махал посреди степи длинной ниткой Иван, зашил прорехи, оделся и отправился дальше. Много он прошел, хотелось подальше уйти от рокового места. Вдали зажелтело полотно железной дороги, но Иван не пошел туда, а свернул и пошел стороной. Казалось ему, что первый, с кем он встретится, сейчас же скажет: «А зачем калмычку убил?»

Жар свалил. Солнце уже коснулось края степи. От казака легла через всю степь и шла с ним рядом длинная, косая тень.

Вдруг слышит Иван топот. Обернулся,— скачут к нему два калмыка. У него екнуло сердце. Калмыки, в форменных казачьих фуражках, подскакали и сдержали разгорячившихся лошадей. Один из них сидел на вороной лошади, другой на знакомом Ивану золотистом скакуне. Казак повернулся к ним и, взяв наперевес пику, угрожающе направил на них сверкавшее на солнце стальное острие с таким видом, как будто хотел сказать:«Сунься только!»

Но калмыки, сдерживая нетерпеливых лошадей, мирно заговорили:

— Здорово, бачка! Не видал старой калмычки?

Лошадь прибегла к кибитке, а ее нет... В хурул ездила.

— Нет, не видал.

— Вот чудно!.. Нет старухи. Всю степь изъездили, как скрозь землю провалилась...

— Не видал... не знаю... кабы видал, сказал бы...

«Вот полезут в сумку — подпругу с подушкой найдут...»

А калмыки постояли еще немного, «похурукали» между собой, повернули лошадей и поскакали назад.

Казак отер проступивший на лбу холодный пот, положил пику опять на плечо и пошел дальше.

Стемнело. Хотя и высыпали на небе звезды, но в степи было смутно и темно. Казак видел только темную землю под ногами да темный край, на который спускался звездный свод; а что было между ними, нельзя было видеть. Слышно было только, как кузнечики сверлили да ночные птицы разговаривали в темноте. Иной раз чудился конский скок. Тогда он останавливался и, придерживая дыхание, прислушивался; но кругом было тихо, одни кузнечики заполняли своим сверлением таинственную темноту ночи.

Казаку становилось жутко. Он теперь не только не боялся калмыков, но желал, чтобы они подъехали и заговорили с ним живым человеческим голосом. Боялся он, — и кровь стыла у него при одной мысли об этом, — что сначала он услышит конский топот, подскачет к нему всадник, сдержит лошадь, станет он всматриваться, а это — старуха на лошади с выпятившимися глазами, с морщинистым лицом, в синих штанах. Чувствуя, как холодеет у него затылок, казак среди молчания и темноты при слабом мерцании звезд шел, не смея под-

нять головы. Ноги у него подкашивались, но он не осмеливался и подумать сесть. Напрасно он ждал рассвета: все та же темная степь, то же молчание, теперь уже не прерываемое даже сверлящими звуками кузнечиков. Что-то заволакивало небо, потому что и звезды стали пропадать одна за другой. Становилось темно, как в погребе.

Впереди забелелась длинная фигура. Кровь ударила казаку в голову, но он, как очарованный, шел к ней, не спуская напряженно вытаращенных глаз. Бежать! Но разве от *нее* убежишь?.. Перед ним со страшной ясностью предстало, как *она* сигнула на дроги, конь побелел и стал уходить ногами в землю, а у *нее* вывалившиеся глаза висели по пояс. Белая фигура дожидалась его... Когда он подошел почти с помутившимся сознанием, он разобрал наконец, что это был длинный солончак, протянувшийся по степи и белевший в темноте. Чижиков в изнеможении опустился на шероховатую, жесткую траву, подложил под голову сумку, возле положил пику и лег, стараясь не смотреть по сторонам. Он не помнил, когда уснул. Ему казалось, что он задремал на несколько минут.

Проснулся он, точно его кольнуло что-то. Он открыл веки: яркий солнечный свет бил ему в глаза. Над ним стояли на лошадях вчерашние два калмыка...

Казак вскочил как ужаленный, схватил пику и крикнул не своим голосом:— Не знаю... не видал... не знаю... Чего вы пристали?

— Ты чего кричишь?.. Старуху, калмычку, ищем... Со вчерашнего дня пропала... Чего испужался?..

— Не лезьте ко мне, а то перепорю обоих... и лошадей! — И Иван с побледневшим и исказившимся от злобы лицом замахнулся пикой.

Калмыки отъехали, остановились шагах в десяти и стали о чем-то жарко говорить между собою, показывая плетями на Ивана. Потом ударили по лошадям и уехали прочь.

К полудню Иван пришел на казачий хутор, а через три дня добрался и до своей станицы.

IV

Встретила Ивана жена за воротами и упала ему в ноги. Он понял, в чем дело, взял плеть и стал сечь ее плетью нещадно и жестоко. Она валялась в ногах, отчаянно кричала и молила о пощаде. Всю вспухшую, с заплывшим синяками лицом он оттащил за косы и бросил посреди двора. На другой, на третий, на четвертый день продолжалось то же самое. Наконец казак устал, да и жизнь не ждала, надо было приниматься за работу. Деньги, какие он принес, пропили. Базы, сараи, курень требовали починки, скотину надо было гонять на водопой, на выпас, молотить хлеб, готовиться к пахоте, полоть бахчу, заготовлять на зиму одежу себе и ребятишкам, которые бегали по широкому двору, и среди них маленький кудрявый мальчик, не похожий на Ивана.

Сначала Иван часто попрекал жену, но мало-помалу обида и горе сгладились, и трудовая жизнь, полная бедности и заботы, потекла однообразно, так же, как и до службы.

Прошел год. Настала вторая зима. Корм скоту подобрался — надо было ехать в степь за сеном. Иван запряг лошадь в сани, положил полсть, вилы; краюху хлеба и стал потеплее одеваться, так как на дворе все крепчал мороз. Надел тулуп, валенки, стал надевать рукавицы, поглядел, а они все изо-

дрались — дыра на дыре, нельзя и ехать, руки отморозить можно. Иван стал рыться в старье, чтоб найти обрывки кожи, заплатать рукавицы, да вдруг вспомнил, что на полатях валяется изорванная седельная подушка, которую он принес два года тому назад, когда воротился с кордона, и забросил на полати. Иван полез наверх, достал подушонку и стал выкраивать из нее лоскуты кожи. Из подушки полезла шерсть, и вдруг вывалилась пачка кредиток. Иван оторопел, с секунду глядел на деньги, перекрестился, дунул на них, опасаясь, что это наваждение, потом схватил и бросился из куреня на баз, забился в угол под сарай и стал считать. Денег оказалось пятьсот сорок девять рублей.

Иван не поехал за сеном, а через три дня поехал в окружную станицу на ярмарку. Вдруг открылась масса нужд, которые, оказывается, не терпели ни малейшего отлагательства и которые тянулись из года в год. Надо было накупить овчины для тулупов на всю семью, досок для пристроя к куреню, пару молодых бычков, арбу и многое множество другого необходимого в хозяйстве. Веселый, хорошо и тепло одетый, немного выпивший, похаживал Иван от одной лавки к другой; купцы его ласково и приветливо встречали, и он наслаждался, чувствуя новое, незнакомое дотоле положение богатого человека, к которому относятся все с почтением. Вечером он пил чай в трактире и угощал откуда-то выросших вокруг него новых приятелей и друзей, как вдруг в трактир вошел урядник с двумя полицейскими и потребовал, чтобы Иван шел в станичное. Иван вытер вспотевшее лицо, расплатился с трактирщиком и отправился с урядником в станичное. Здесь его сурово встретил станичный атаман.

— Ты что же это, фальшивыми деньгами вздумал торговать?

Иван побледнел как полотно.

— Никак нет, вашскблагородие!

— Врешь! Пять человек купцов приходило и деньги представили.

— Никак нет... не могу знать... — бормотал Иван, все больше и больше бледнея, заикаясь и путаясь.

Ивана арестовали. Через полгода его судили в окружном суде. Он сидел, сгорбившись, осунувшийся и поседевший, и слушал прокурора и своего казенного защитника, мало понимая и мало интересуясь их речами. На вопрос, не сам ли он выделывал кредитки, он отвечал: «Никак нет», — а на вопрос, от кого же он их достал, так же неукоснительно отвечал: «Не могу знать».

Когда старшина присяжных после совещания стал читать, виновен ли Иван Михайлов Чижиков, казак такой-то станицы, в том, что... — Ивану с изумительной ясностью представилось, как калмычка кричала и звала своих сыновей, как мелькнули и скрылись в темной дыре ее босые ноги, как он шел по степи и степь становилась все глуше и темнее, как сначала кричали и сверлили кузнечики, а потом и они смолкли, потухли все звезды, и кругом стояла мертвая, черная темнота, как он заснул, потом вскочил уже при ярком дневном свете и закричал: «Не знаю... не видал... не знаю!..»

— Да... виновен.

На секунду в зале суда наступила тишина. Иван поднял дрожащую руку, перекрестился, потом поклонился судьям, публике и сделал земной поклон присяжным.

— Покорно благодарю... праведные судьи!.. правильно осудили...

И, обернувшись к председателю, с искривленным бледным лицом, по которому текли слезы, проговорил вздрагивающим прерывающимся голосом:

— Мне бы ее, вашскблагородие, старуху-то, мне бы ее выдернуть оттеда, выдернуть бы оттеда... а я ее... а я ее спихнул... Покорно благодарю... правильно!..

Его присудили к четырем годам каторги.

1902

БОМБЫ

I

Маленького роста, тщедушная, в оборванной юбке и грязной сорочке, все сползавшей с костлявого плеча, она, нагнувшись над корытом, усердно терла взмокшее, отяжелевшее белье в мыльной пене. Пар тяжело и влажно бродил под низким темным потолком. На широкой кровати в куче тряпья, как черви, копошились ребятишки.

Когда женщина на минуту выпрямлялась, расправляя занывшую спину, с отцветшего лица глядели синие, еще молодые, тянувшие к себе, добрые, усталые глаза.

Ухватив тряпками чугунный котелок, она лила кипяток в корыто, теряясь в белесых выбивающихся клубах, и опять, наклонившись и роняя со лба, с ресниц капельки пота, продолжала тереть красными стертыми руками обжигающее мыльное белье. Капал пот, а может, слезы, а может, мешаясь, то и другое. На дворе перед низким, почти вровень с землею, окном лежала, похрюкивая, свинья и двенадцать розовых поросят, напряженно упираясь и торопливо тыча в отвислый, как

кисель, живот, взапуски сосали. Петух сосредоточенно задерживал в воздухе лапу, повернув голову, прислушиваясь, шагая и для вида только редко постукивая клювом по крепкой земле, сдержанно переговариваясь с словоохотливыми хохлатками.

— Ох, господи Иисусе, мати божия, пресвятая богородица... И чего это...

Пена взбилась над корытом целой горой, и пузыри, играя радугой на заглядывавшем в окно солнце, лопались, тихонько шипя.

— Конца-краю нету!.. — как вздох, мешалось с плесканьем воды, с подавленным шепотом и смехом ребятишек, затыкавших руками друг другу рты.

Кто-то за дверью громко колол орехи, и их сухой треск то приостанавливался, то сыпался наперебой. Орехи, должно быть, были каленые, крепкие, и сыпалось их много. Потом начинали щелкать прямо перед окном, хотя на дворе никого не было, кроме свиньи с двенадцатью поросятами.

Между сухим треском коловшихся орехов вставлялись глухие удары, как будто кто сильно, с размаху захлопывал дубовые двери, и стены и пол вздрагивали, и чуть звенели подернувшиеся от старости радужными цветами стекла в низеньких окнах. При каждом тяжелом ударе свинья вопросительно хрюкала и шевелила длинными белесыми ресницами. А стертые, красные и припухшие руки продолжали тереть, и капали в мыльную воду не то пот, не то слезы.

— Мамуньке сказу...

— А ты не сказывай, а я те дам тоже такую.

— А я ее исть хоцу.

— А ее не едять... Вишь, крепка... — носился детский шепот и подавленный смех и возня.

II

В окно заглядывала темная ночь, шурша ветром и стуча дождем. Ребятишки спали. Марья возилась около печи, ставя тесто. Снаружи стукнули кольцом. Она отперла. Вошел муж с несколькими товарищами и *он*. Это было два года тому назад.

Вытерли ноги и прошли в чистую половину. Сели. У *него* было молодое, строгое и безусое лицо. *Он* сел под образами, и все молчали, покашливая в кулак.

Когда посидели, *он* сказал:

— Что же, больше никого не будет?

Муж откашлянулся и сказал:

— Нет... никого... Потому, собственно, погода, и народ занятой...

И хотя был очень молод, *он* сидел, нахмурив брови, и все глядели на пол, на свои сапоги, изредка украдкой поглядывая на *него*. *Он* сказал:

— Тогда приступим.

И, поднявшись, басом, которого нельзя было ожидать от такого молодого, сказал:

— Товарищи, вы видите перед собой социалиста.

Точно в комнату невидимо вошел кто-то страшный. Марья стояла за дверью и прижалась к притолоке. Все перестали покашливать, перестали смотреть себе на ноги и на пол, а, не отрываясь, глядели на *него*. А *он* говорил, говорил, говорил...

У Марьи дрожали руки, и она тыкалась возле печки без толку, брала то кочергу, то миску, то без надобности подымала полотенце и заглядывала на теплое пузырившееся тесто.

— Ах ты господи, кабы дети не проснулись!.. — шептала она.

А безусый все говорил. Марья ничего не разбирала, о чем шла речь, без толку возясь с посудой и схватывая только отдельные слова. И ей пришла дикая мысль, что *он* сейчас скажет: «Бабу повесить у притолоки, а ребят — в лежанку головой...» И хотя *он* этого не говорил и — она знала — не скажет, руки у нее ходили ходуном. Или скажет: «Будет им, хозяевам-то, носить шелки да бархаты, нехай твоя баба поносит... Сделать ей шерстяную юбку да кофточку шелковую...»

Но *он* и этого не говорил, и она знала, что не скажет. Слесаря, когда *он* к ним обращался: «Не так ли, товарищи?» — отвечали хрипло срывающимися голосами:

— Верно... это так.

Они робели пред ним, и это наводило на нее еще больший страх. А в окно все внимательнее заглядывала ночь, и шуршал ветер, и плескался дождь.

И когда ложилась с мужем, Марья проговорила, крестясь и испуганно глядя в темноту:

— Вась, а Вась... кабы беды не нажить?.. Сицилист вить... Мало ли что...

Муж сердито повернулся на другой бок.

— Молчи, ничего не понимаешь.

III

Свинья по-прежнему неподвижно лежала, и двенадцать розовых поросят, подкидывая мордами, толкали ее в живот. Очевидно, им уже нечего было сосать, но доставляло удовольствие колыхать этот большой, упруго подававшийся живот.

Важно и медленно густой, черный дым подымался над городом в нескольких местах, и орехи продолжали торопливо щелкать, и бухали дубовые двери... То вдруг все затихало, и это имело какое-то отношение к этому медленно и важно подымавшемуся дыму, и на мыльную воду, и на красные руки капали капли не то пота, не то слез...

Безусый приходил после того несколько раз, и хотя он больше не говорил, что он социалист, и она угощала его чаем, — все-таки продолжала его бояться и чуждаться.

По субботам маленькая комната битком набивалась рабочими. Красные и потные, они сидели чинно, пока *он* говорил, но понемногу вступали в разговор, разгорались, перебивали друг друга, стучали кулаками в грудь, и подымался такой содом, что хоть святых выноси.

Что-то странное, новое и непонятное вошло неуловимо в их домишко. Марье казалось, как будто проломили стену и через пролом стало светлее, и неслись с улицы звуки, но она боялась, что будет непогода, и сюда будет нести дождь и снег, и будет заглядывать осенняя ночь.

Очень хорошо она знала, что завод давит рабочих, что муж каждый день приходит истомленный, что у него, когда-то краснощекого, здорового и веселого, ввалилась грудь, впали щеки, и при каждом расчете излишка рабочих они дрожали. И все это было неизбежно привычно и тянулось, как тянется день, наступает вечер, ложатся спать, и опять день, и опять работа, ребятишки, заботы... Теперь же то, что было привычно, буднично и неизбежно и о чем не думалось, да и некогда было думать, теперь это называли вслух, об этом говорили, спорили, и оно обернулось к Марье какой-то иной, новой, тревожной и беспокойной стороной.

И опять ей показалось, что придет кто-то, строгий, недоступный и суровый, и скажет:

— Будет хозяевам-то с чаями да с сахарами... Пора и вам, сердягам, передохнуть...

И кто-то другой, ухмыляясь поганой рожей, скажет:

— А в тюрьму хочешь?!

Безусый стал приводить с собой товарища. Этот был постарше, с лысиной и черной бородкой. На обоих были синие блузы и высокие сапоги, но руки у них были белые и мягкие. Нельзя было понять, что они говорили, но у обоих были чистые и ясные голоса, и все хотелось их слушать.

— Вась, а Вась... — говорила Марья, ложась возле мужа.

Она виделась и успевала перекинуться с мужем двумя-тремя словами только перед сном. Уходил он до свету, а приходил ночью, черный, пропитанный железом, нефтью, усталый и сердитый.

— Вась, кабы беды не нажить... Не ровен час... У Микулихи, сказывают, забрали мужа и брата, ей-богу!.. Жандармы, сказывают, приходили, все обшарили, перину пороли, вот как пред истинным!..

— Много ты понимаешь!

Он сердито отвернулся к стене, но не захрапел, как это обыкновенно бывало, а полежал, молча и торопливо сел на постели. Ворот рубахи отстегнулся, показывая волосатую грудь.

— *Они* — благодетели наши... А то как же?.. Что я понимал! Пень бессловесный, и больше ничего...

Он посидел, строго покачивая головой, и почесал поясницу.

От синей полосы лунного света по всей

комнате лежали длинные, ломаные, уродливые тени.

— Блохноне множество.

— Блох — сила. Пропадать бы надо, а они кипят.

Он опять почесал поясницу.

— Главное, понять... Нашему брату, рабочему, понять только, а там захватит и поволокет... Все одно как пьяницей сделался — не оторвешься... Никак, кто-то калиткой стукнул?

Они прислушались, но было тихо, и лунная полоса по-прежнему неподвижно лежала на кровати и в комнате, прорезанная тенями. И в этой полосе сидел человек, всклокоченный, костлявый, с глубокими впадинами над ключицами. Жена глядела на него, и тонкая, щемящая боль кольнула сердце. Ей захотелось приласкать этого человека.

— Вась, а Вась... худой ты...

IV

Марья стала разбираться. Она понимала, что «эксплуатация» значит — хозяева мучат, что «прибавочная стоимость» — это, что хозяева сладко едят, сладко пьют вместо нее с мужем, вместо ее детей, и прочее.

И двоилось у нее: все это было старое и известное, и все это поражало остротой новизны и несло в себе зерно муки и погибели. И она внимательно слушала, когда в тесной комнатке стоял гул голосов, с тайной надеждой и радостью, что изменится жизнь, что еще в тумане и неясно, но идут уже светлые дни какой-то иной, незнаемой, но радостной, легкой и справедливой жизни. А когда оста-

валась одна и сходилась с соседками, сердито говорила:

— И чего зря языками болтают. Так, невесть что. И будто умные люди, из панов, а так абы что говорят. Ну, как это можно, чтоб хозяев не было? А кто же управляться будет, а страховку кто будет делать, а жалованье платить?

— И не говори!.. Вон у Микулихи-то забрали, доси не выпускают... Дотрезвонятся и эти.

Но когда приносили литературу, прокламации или мешочки со шрифтом и муж отдавал ей, она тщательно и бережно запрятывала и хранила их.

В глухую полночь пришли жандармы и арестовали мужа. Марья обезумела. Бегала в жандармское, в полицию, к прокурору, валялась в ногах и выла. Под конец ее отовсюду стали гнать. Потом она съежилась, замолчала, никого ни о чем не просила, и когда приходила на свидание в острог, глаза у нее были сухие и горячие. Она непременно приносила бублик, или пирожок, или яиц. Не волновалась, не плакала, не упрекала, а рассказывала о детях, о соседях, про заводских.

Дома работала как лошадь, и никто не знал, когда она спит. Надо было прокормить семью, и она билась как рыба об лед.

Раз как-то пришел безусый проведать и навести какие-то справки. Когда она увидела его, лицо исказилось, она схватила полено и бросилась на него.

— Вы погубители наши!.. Вы кровососцы... Будь вы трижды прокляты!.. И чтоб вас, анафемов...

Из тюрьмы муж вышел совсем больной и несколько месяцев был без работы. Это было самое тяжелое время для Марьи. Она работала с неослабной энергией, и одно только жгучее чув-

ство светилось в ее сухих и горячих глазах — ненависть. При одном имени: жандарм — она трепетала от злобы.

Снова по ночам стал таинственно собираться народ в их домишке. Назревали события. В воздухе пахло порохом и кровью. То там, то здесь находили убитыми городовых и шпионов.

V

Клубы черного дыма важно подымались над городом, свинья кормила поросят, грохот захлопывающихся дверей сливался в протяжный гул. Женщина торопливо домывала... Кто-то, несмотря на этот черный день, несмотря на трескотню и грохот, кто-то должен был носить тонкое чистое белье, не мог оставаться без белья. И ребятишки, возившиеся на кровати, не могли оставаться без хлеба. И она запаривала, намыливала и терла, терла, терла.

Низенькая дверь отворилась. Нагнув голову, торопливо шагнул молодой парень. Женщина разогнула спину, глянула и всплеснула руками.

— Савелий!..

У него было почернелое, осунувшееся — как будто он не спал целую неделю — лицо и темный сгусток запекшейся крови под правым глазом.

— Тетка Марья... во...

Он с усилием улыбнулся запекшимися губами, тяжело опустился на табуретку и завел веки. Потом торопливо вскочил и, глядя испуганными красными глазами, проговорил:

— Дай глотку промочить да достань поскорей... энти... знаешь, которые спрятать тогда приносили.

Она с отчаянием хлопнула руками.

— А мой-то, мой где?.. Что с ним такое?.. Что он не идет?.. Господи, да разнесчастная я, несчастная... Да милый ты мой соколик... Да куды же я теперь голову приклоню...

Она уставилась на парня злыми глазами и шипела:

— Где мой?.. Говори, где... не бреши... говори!..

Он бегал глазами по комнате и оглядывал себя.

— Вишь, шрапнель всю полу, как горохом, дырочки проделала...

Она взяла ведро и, рыдая и сморкаясь в руку, пошла во двор. Парень прислонился к стене, запрокинул голову; веки тихонько полузакрылись, рот открылся, показывая белые зубы. Он тихонько подсвистывал носом, покойно дышала грудь, и мирное, спокойное, счастливое выражение разливалось по измученному лицу.

Было тихо. Ребятишки притаились и хитрыми смеющимися глазами следили за спящим. В углу грызла мышь. Петух подошел к самому окну, постоял, поворачивая голову, и вдруг заорал что есть силы: ку-ка-ре-ку-у!.. Свинья хрюкнула, ребятишки прыснули со смеху.

Вошла Марья с оттягивающим руку ведром. Парень вскочил, как безумный, шаря у себя на груди и оглядывая комнату дикими глазами.

— Где?.. Куда?.. Постой!.. Фу-у, а я думал...

— Испей, касатик... Покормила бы тебя, — нечем, родимый: корочки сухой в доме нет. — И она опять заголосила: — Да куды мы денемся? Да куды мы голову приклоним?.. Да родимый ты наш батюшка!..

Он жадно пил, запрокидывая голову и проливая прыгавшую по одежде серебряными каплями воду.

— Спасибо, Ивановна!.. Прощай!.. Будь тебе, чего сама пожелаешь. — И вдруг нервно заторопился: — Скорей, скорей!..

— Да куды он их дел, не помню.

— В подполье будто, сказывал.

— Вытащил... Где-то в коробке под кроватью...

Она лазила на коленях, шаря рукой под кроватью, под скамьями, и вытащила небольшой ящик.

Оба нагнулись.

— Пустой!!

— Куды же делись?

— Взял разве?

— То-то, что нет... Послали. Непременно надо.

Ребятишки хихикали.

Странный звук пронесся по комнате. Парень стоял белей стены, протянув растопыренные пальцы. Марья, не поднявшись еще с колен, глянула по направлению его взгляда и застыла, и глаза у нее сделались огромные и круглые: перед сбившимися в кучу ребятишками лежали небрежно на кровати два металлических цилиндра, грубо обделанные напильником. Что-то в них было необыкновенное, потому что люди в застывших позах несколько секунд не могли оторваться глазами.

Потом Марья, как кошка, подобралась к перепуганным детям и с ненавистью прошипела:

— Тссс... нишкни!..

Парень, у которого лицо стало отходить, шагнул, осторожно взял и положил, пожимаясь от холодного прикосновения, один цилиндр за пазуху, а другой опустил в карман.

И когда был уже у двери, обернулся и покачал головой.

— Крошки бы от дому не осталось...

И из-за притворенной двери донеслось:

— Прощай, Ивановна. Спасибо... Не поминай лихом!

Свинья поднялась на ноги, постояла и подумала. Поросята играли, боком подкидывая мордами друг друга. Потом опять грузно легла на бок, и поросята снова взапуски, тыкая мордами, стали сосать ее.

Из орудий продолжали стрелять, и дым клубами подымался к небу.

Сыпались орехи, громко хлопали дубовые двери, и столб, густой и черный, медленно и важно подымался к небу. А Марья терла скользкое мыльное полотно, и пот, как роса, проступил на ее лице, и капли, соленые и едкие, капали в мыльную воду.

1906

У ОБРЫВА

I

Уже посинело над далеким поворотом реки, над желтеющими песками, над обрывистым берегом, над примолкшим на той стороне лесом.

Тускнели звуки, меркли краски, и лицо земли тихонько затягивалось дымкой покоя, усталости под спокойным, глубоко синевшим, с редкими белыми звездами небом.

Баржа и лодка возле нее, понемногу терявшие очертания, неясно и темно рисовались у берега. Отражаясь и дробясь багровым отблеском, у самой воды горел костер, и поплескивал на шипевшие уголья сбегавшей пеной подвешенный котелок, ползали и шевелились, ища чего-то по узкой полосе прибрежного песку, длинные тени, и задумчиво возвышался обрыв, смутно краснея глиной.

Было тихо, и эту тишину наполняло немолчное роптание бегущей воды, непрерывающийся шепот, беспокойный и торопливый, то сонный и затихающий, то задорный и насмешливый, но река была спокойна, и светлеющая поверхность не оскорблялась ни одной морщиной.

Всплеск рыбы, или крики ночной птицы, или

шорох осыпающегося песку, или едва уловимый шум пароходного колеса, или почудилось — и снова дремотное, невнятное шептание, то замирающее и сонное, то встрепенувшееся и торопливое, и светлый, ничем не нарушимый покой реки под все густеющей синевой надвигающейся ночи.

— «Ермак», никак, идет.

— Где ему!.. Теперича небось на Собачьих Песках сидит...

И человеческие слова, такие простые и ясные, прозвучали и погасли в этом непонятно-беспокойном шепоте спокойно-недвижной реки.

Короткая, притаившаяся у колебавшегося огня тень разом вытянулась, побежала от костра; уродливо перегнулась через обрыв и пропала в степном сумраке, откуда неслись крики перепелов и запахи скошенных трав, а над костром поднялся высокий, здоровенный, с длинными руками и ногами, в пестрядинной рубахе человек и, скинув ложкой сбегавшую через края пену, всыпал в бившую ключом воду пригоршню пшена. Вода мгновенно успокоилась, а тень скользнула по обрыву, вернулась из степи и опять притаилась у огня. Длинный человек сидел, неподвижно обняв колени, глядя на светлеющую реку, на пропадающий в сумеречной дымке лес, дальний берег.

Поодаль на песке, протянувшись, неподвижно и мертво чернела человеческая фигура.

Не было видно лица.

Спал ли он, или думал, или был болен, или уже не дышал — нельзя было разобрать.

Уже потонул в темнеющей синеве и не стал видим лес, и поворот реки, и дальние пески, только вода по-прежнему поблескивала, но уже черным, вороненым блеском, и звезды в ней бездонно повисли, яркие и бесчисленные.

И казалось, так и нужно, чтоб в эту синюю ночь у дремотно-шепчущей воды возле обрыва горел костер, и красный отсвет трепетал, неверно озаряя багровым светом костра высокую, нескладную, но точно выкованную фигуру человека, могуче охватившего руками колени, и неподвижную темную фигуру на песке, и третьего — с широкой бородой старика, со спокойным и строгим лицом, отлитым из бронзы.

Как будто кто-то задумчиво, без слов пел, и не было слышно голоса, и только представлялась потонувшая в ночной синеве река, и костер, и смутный обрыв, и в темной глубине чуть зыблемые звезды.

— Пришло время... Жисть-то она человеческая, как трава полезла...

Голос был ровный, спокойный, медлительный, и так было спокойно кругом, что нельзя было сказать, кому принадлежит голос.

И среди ни на секунду не прерывающегося, немолчного, дремотного шепота голос, казалось, принадлежал синей ночи, как и угрюмо стоящий обрыв, как ропот воды, как костер с беззвучно ползающими по песку тенями.

— ...как трава молодая на провесень из черной земли...

— Нда-а... Теперича полезла, ничем ее не уторкаешь.

И кто-то на том берегу смутно и неясно отозвался, слабея: «...да-а-а!»

Сидевший, обняв колени, замолчал. Молчал и тот, чей темно простертый силуэт смутно рисовался на песке. Молчал старик с бронзово-багровым шевелившимся лицом, изредка лениво вбрасывая в костер голыми руками выскакивающие оттуда раскаленные угольки, и в этом молчании

чудилась недоконченная дума, — думала сама синяя ночь.

Тонкий, щемящий крик пронесся над рекой.

Опять тихо, задумчиво-сумрачно, снова непрерывающийся беспокойно-торопливый шорох-шепот бегущей воды. Молчал в наступившей со всех сторон темноте смутно подымающийся обрыв, молчала степь за ним. Котелок лениво вскипал, сонно подергиваясь пеной.

Тонкий крик повторился против, над рекой. Водяной играл. А может быть, летела над самой водой невидимая птица, — нельзя было сказать. Ночь теснилась со всех сторон, молчаливая и темная.

— По реке далече слыхать... Хошь у самого Кривого Колена, и то будет слышно...

И оба наклонили головы, чутко ловя смутный, неясный звук. Ухо хотело поймать приближающийся шум пароходных колес, но звуки ночи, тихие, неясные, тысячу раз слышанные и все-таки особенные и странные, говорили об отсутствии человека.

Горел костер, у костра сидели двое, третий недвижимо чернел на песке.

II

Длинный поднялся, снял котелок. Тени засуетились, и одна опять скользнула вверх по обрыву и пропала в степи.

— Упрела.

Он поставил котелок и покрутил в песке.

— Часов девять есть... Охо-хо-хо...

И за рекой кто-то: «О-о-о-о...»

— Скажи парню, нехай садится с нами, вишь, отощал.

Старик достал из кармана ложку и вытер заскорузлым пальцем.

— Эй, паря!.. Хошь, поешь с нами. — Длинный наклонился над неподвижно черневшей фигурой.

— А?.. а?.. а?.. Куда... Постой!.. Братцы, держитесь!.. — закричал тот, вскакивая, трясясь.

— Что ты... что ты, парень... Говорю, поешь с нами...

Тот обвел вокруг удивленным взглядом, не понимая этой темноты, смутно рисующихся контуров, этого ночного молчания, заполненного немолчно шепчущим ропотом, этого трепещущего, красноватого, поблескивающего в воде отсвета, и провел рукой, как будто снимал с лица паутину. Он точно весь обмяк и улыбнулся бессильной, измученной улыбкой.

— Ишь ты... опять попритчилось.

При свете костра поражали исхудалость и измученность, завалившиеся щеки, черные круги, горячечно блиставшие, беспокойные, как будто глядящие мимо предметов глаза.

Сели кругом котелка, поджав на песке ноги, и стали есть и громко дули на кашу. И, повторяя движения, суетились по песку тени.

Долго и молча ели, и долго в дремотно шепчущий ночной ропот чуждо вторгался звук усердно работающих человеческих челюстей.

Первая острота голода притупилась; парень, на лице которого землисто отпечатался призрак смерти, вздохнул.

— У-ух-х!.. Маленько отошел.

И, опять улыбнувшись бессильной и измученной улыбкой, добавил:

— Два дня не ел.

— Да ты откуда?

— Из города. — И снова усталая и теперь доверчивая улыбка. — Из самого из пекла вырвался. Как и вырвался, сам не знаю...

— Да мы это догадались, как ты еще шел по берегу, — усмехнулся длинный, — да не стали расспрашивать, что человека зря беспокоить.

— Не бойсь, ничего... По степи патрули разъезжают, хватают, которые успели из города убежать. Ну схватят, разговор короткий — пуля либо петля. Мы не одного переправили... Артель-то на баржах, да и команда на пароходе свой народ... К нам вот не догадаются на баржу заглянуть, а... то бы была им пожива. Да ты в городу-то чем был?

— Наборщиком. — И он повел плечами, точно ему холодно было, и боязливо оглянулся.

Длинный черпнул, подул на ложку и, вытянув губы, с шумом втянул воздух вместе с кашей.

На реке завозился водяной или ночная птица. Всплеснула рыба, но в темноте не было видно расходящихся кругов. Старик ел молча.

— Все по реке шел, как чуть чего — в воду... Вчерашний день до самой ночи в воде сидел, закопался в грязь, а голова в камыше, так и сидел.

Он отложил ложку и сидел, осунувшись, и мысли, далекие от теплой ночи, от костра, бродили в голове, туманя глаза.

— Что было — страшно вспомнить... Крови-то, крови!.. Народу сколько легло!

И опять боязливо огляделся и передернул, как от холода, плечами.

— Устал я... устал, замучился, и... и не то что руками или ногами, душой замучился. Все у меня подалось, как обвисло...

И он опять обвел кругом, глядя куда-то мимо

этой темноты, мимо костра, реки, мимо товарищей, — точно заслоняя все, стояли призраки разрушения, развалины, и некуда было идти.

— Главное что!.. — вспыхивая, заговорил он. — Трудов, сколько трудов убито. Нашего брата разве легко поднять да вбить в башку?.. Ему долби да долби, его учи да учи, а он себе тянется, как кляча под кнутом, с голоду сдыхает да водку хлещет... Покуда все наладилось, да сгрудились, сбились в кружки, да читать, да думать стали, да расчухали, ой-ей-ей, сколько времени, сколько трудов стоило!.. А сколько народу пропало по тюрьмам, да в ссылке, да на каторге, — да какого народу!.. Кирпич за кирпичом выводили, и вот тррахxx!.. Готово! Все кончено!.. Шабаш!..

И он отвернулся и опять глядел, не замечая, мимо синеющей ночи, мимо шепчущих звуков, мимо тихого покоя, которым веял дремлющий берег.

— А-а-а-а... — И он мерно качался над костром, сдавливая обеими руками голову, точно опасаясь, что она лопнет и разлетится вдребезги. И качалась тень, уродливая, изогнувшаяся, так же держась обеими руками за голову, тоже уродливую и нелепо вытянутую.

Но, обходя развалины, разбитые надежды и отчаяние, о чем-то о своем немолчно и дремотно журчали струи, чуть-чуть глубоко колебалось во влажной тьме звездное небо. Несколько хворостинок, подкинутых в костер, никак не могли загореться, и едва уловимый дымок, не колеблемый, как тень, скользил вверх.

И этот покой и тишина, погруженные в ночную темноту, были величаво полны чего-то иного, глубокого, еще не раскрытого, недосказанного.

— Глянь-ко, паря, вишь ты: ночь, спокой, все

спит, все отдыхает, — и голос старика был глубоко спокоен, — всё: и зверь, и человек, и гад, трава и та примялась, а утресь опять подымется, опять в рост... Все спокой, тишь... да-а!..

Над водой удалялись тонкие тилиликающие звуки, — должно быть, летели на ночлег кулички.

— Да-а, спокой... Потому намотались за день, намаялись, натрудили плечи, руки, лапы... во-о... И заснула вся земля, а наутресь опять кажный за свое, — птица за свое, зверь за свое, человек за свое. Только солнушко проглянет, а тут готово, начинай снаизнова. Так-тось, паренек...

Долго стояла тишина. Рабочий, сутулясь и подняв голову, глядел на дымчатую дорогу на небе. Длинный уписывал кашу.

— Дедушка, — болезненно раздался надтреснутый голос, — да ведь все наутро проснутся, а энти, которые в городе лежат, ведь они-то уж не подымутся.

— А ты ешь, паренек, ешь, — говорил старик, вытирая ладонью усы и бороду. — Да-а... мужичок, хрестьянин вышел пахать... Вспахал. Вспахал, взял лукошко и зачал сеять. Высеял, заскородил, дождичек прошел, и погнало из земли зеленя, погнало, словно те выпирает. Да-а, радуется хрестьянин. Нашему брату что: вспахал, посеял, собрал и сыт. Да-а. Колоситься зачало. И вот откуда ни возьмись туча, черная-пречерная. Вдарила грозой, градом, все дочиста сровняла, где хлеб был — одна чернота. Вдарил об полы сердяга! Что же, думаешь, бросил, руки опустил? Не-ет, ребята-то бесперечь есть хотят. Пошел на чугунку, на чугунке стал зарабатывать. И отрежь ему колесами ноги. Поболел, поболел и богу душу отдал. Что же, думаешь, тем дело кончилось? Не,

слухай, парень. Нивка его не осталась сиротой, зачали ее пахать да сеять братаны да зятья. Опять пробились зеленя, опять стал наливаться колос. И сколько ни изводили мужика, — и на войну-то его гнали, и по тюрьмам гноили, и нищета давила, и с голоду пух и помирал, а кажную весну зеленели нивы, да-а...

Он помолчал.

Стояла сама себя слушавшая тишина.

А?

И кто-то, внимательный, полувопросом, полуутвердительно отозвался из-за реки: «А-а-а!..» Наборщик молча стал носить из котелка.

— Ишь звезда покатилась, — проговорил длинный и рыгнул.

— Так-тось, братику... Сколь ни топчи траву, она все распрямляется, все тянется кверху. И народ, сколь его ни дави, сколь ни тирань, а он, братику, помаленечку распрямляется. Пущай жгут, пущай бьют, ноне город разорят, завтра деревню сожгут, а наместо того приходится громить пять городов, приходится жечь сто деревень — народ распрямляется, как притоптанная трава. Глядим мы на тебя давеча, идешь ты, ковыляешь, глядишь исподлобья, и кажут тебе вокруг только вороги, и к нам ты подошел — и нас боишься. А мы сметили давно, что ты за птица, да я Митюхе говорю: «Не трожь его, пущай обойдется». Ан вот теперь и оказалось, дело-то одно делаем. Вона у нас, — старик мотнул головой на баржу, — чего хошь, в каждой деревне выгружаем. Пущай народ любопытствует, пущай трава выпрямляется... Охо-хо-хо!..

И за рекой: «Хо-хо-хо-о!..»

III

— Да вы чего тут стоите, дядя?

— На перекатах, вишь, не проходят баржи, глубоко сидят, а река нонче рано обмелела, так пароход часть отгрузил и пошел через перекаты. Потом вернется, с этой баржи снимет часть грузу и поволокет.

Наборщик лениво лазил в котелок. И вдруг мягко, с улыбкой огляделся кругом. И впервые увидел тихую, молчаливую, задумчиво-спокойную ночь, тонко дрожащие в глубине звезды, дремотный шепот невидимо бегущей воды. Глубоко вздохнул и проговорил:

— Ночка-то!..

Усталость, мягкая, зовущая ко сну и отдыху, овладевала.

— Теперь хоть и вздремнуть бы, — две ночи глаз не смыкал.

— Погодь трошки, махотка с кислым молоком еще есть.

И длинный лениво поднялся, вместе со своей тенью прошел к лодке, покопался и, держа в руках небольшую миску, вернулся и сел. Тень тоже подобралась на свое место.

— Ну, ешьте. Доброе молочко.

В неумолкаемый ропот бегущей воды, который забывался, сливаясь со стоявшей вокруг тишиной, грубо и непрошено ворвался чуждый звук. Был неясный, смутный, неопределенный, но разрастался, становился отчетливее и наполнял ночь чем-то, чего до сих пор не было.

Трое повернули к обрыву головы и стали слушать.

И костер, дрожа и колеблясь отсветом, беспокойно взглядывал красными очами на выступив-

ший на секунду из темноты обрыв. Тени торопливо и испуганно сновали по песку, ища чего-то и не находя, с усилием вытянулись, перегнулись и заглянули через обрыв в степь. Оттуда, все приближаясь, неслись дробные, мерно топочущие звуки.

Ближе, ближе... Чувствовалось, что там наверху иссохшая, крепкая и звонкая земля.

Костер, истратив последние усилия и догадавшись, в чем дело, стал погасать, засыпая и подергиваясь пеплом, и тени разочарованно расплылись, сливаясь со стоявшей вокруг чернотой, но головы все так же были обращены к обрыву.

Топот оборвался. Над ровно обрезанным по звездному небу краем обрыва темно вырисовывался уродливый силуэт чудовища. Оно неподвижно вздымалось, широкое и неровное, как глыба, оторвавшаяся от горы, загораживая ярко игравшие звезды.

Несколько секунд стояло молчание, поглотившее все звуки ночи.

— Эй... Что за люди?

Голос сорвался оттуда хриплый и грубый, и за рекой нехотя и глухо повторили его.

— А тебе что?.. — лениво и небрежно бросил длинный, таская ложкой молоко.

— Что за люди?! Мать... — И грубая ругань оскорбила насторожившуюся ночную тишину.

Длинный по-медвежьи, неповоротливо поднялся.

— Чего надо?.. Ступай... отчаливай... Неположенного ищешь...

Костер осторожно глянул из-под полуспущенного красневшего века, и на минуту можно было различить над самым обрывом в красноватом отблеске конскую голову и над ней человеческую

и рядом еще конскую голову и над ней человеческую. В ту же секунду блеснул длинный огонь, и грянул выстрел, и, негодуя, понеслись по реке, по лесу, будя ночную тишь, рокочущие отголоски, долго перекликаясь и угрюмо замирая.

И уже не было тихой ночи, ни темной реки с дрожащими звездами, ни дремотного шепота, ни обрыва, ни смутной степи, откуда неслись крики перепелов и медвяные запахи скошенных трав. Стояло тяжелое и жестокое в своей бессмысленности.

— Казаки!.. — шептал наборщик, поднявшись. — Прощайте, побегу...

Старик придержал за руку:

— Погодь...

— Ничего...

— Не пужай... не из пужливых... А вот только кого-нибудь зацепишь версты за три, за четыре позадь леса, неповинного, — так это верно... Пуля-то куда летит... Сволочи!.. — Длинный тяжело и злобно погрозил кулаком.

Костер снова подернулся пеплом, и темные силуэты над чернотой обрыва шевельнулись, стали делаться меньше, понижаясь и прячась за край.

Звезды снова играли, небеспокоимые, из степи несся удаляющийся, замирающий топот, оставляя в молчании и темноте неосязаемый след угрозы и предчувствия. Напрасно торопливый, бегущий шепот воды старался по-прежнему заполнить тишину и темноту дремой и наплывающим забвением, — молчание замершего вдали топота, полное зловещей угрозы, пересиливало дремотно-шепчущий покой.

Снова сели.

— Поисть не дадут, стервы!

— Подлый народ!.. Земли у него сколь хошь, хочь обожрись, ну и измываются над народом...

Было тихо, но ночь все не могла успокоиться, и тихий покой и сонную дрему, которыми все было подернуто, точно сдунуло; стояла только темнота, с беспокойной чуткостью ждущая чего-то. И как бы оправдывая это напряженное ожидание, среди тьмы металлически звякнуло... Через минуту опять. Головы снова повернулись, но теперь они внимательно глядели низом в темь вдоль берега.

Снова звякнуло, и стал доноситься влажный, торопливо размеренный хруст прибрежного песку. И в темноте под обрывом над самой рекой зачернело, выделяясь чернотой даже среди темноты ночи. Ближе, ближе. Уже можно различить темные силуэты потряхивающих головами лошадей и черные фигуры всадников.

Они подъехали вплотную к костру, сдерживая мотающих головами, сторожко похрапывающих лошадей, сидя прямо и крепко в седлах, и концы винтовок поблескивали из-за спин.

— Что за люди?

— А тебе что?

Все трое поднялись.

Сыпалась отборная ругань.

— Шашки захотели отведать? Так это можно... Две половинки из тебя сделаю... Что за люди, спрашиваю?

— Ослеп, что ль?.. Сторожа при барже.

— Рябов, вяжи их, дьяволов, да погоним к командиру.

Молодой казак, с серым лицом, выпятившимися челюстями, спрыгнул с коня и, держа его в поводу и звякая оружием, подошел.

— Знаем мы этих сторожов. Поворачивайся-ка...

— А тебя, сволочь длинная, всю дорогу нагайкой буду гнать, чтоб ты не огрызался, погань проклятая.

— Связать недолго, — спокойно заговорил старик, — и угнать можно, самое ваша занятия, но только кто кашу-то потом расхлебывать будет? Нас-то угонят, а баржа доверху товаром набита, к утру ее ловко обчистят. Пароход-то придет, голо будет, как за пазухой... нда-а! Пожалуй, смекнет народ, — казачки и обчистили, для того и сторожов угнали, они на этот счет мастаки...

— Бреши больше, старый черт, — и в голосе бородатого казака послышалась неуверенность, — погоди, Рябов... Покажь пачпорт, ты, сиволдай.

— Да ты что, али только родился, мокренький... — усмехнулся длинный, — пачпорта обыкновенно у хозяина, ступай к капитану, он те и пачпорта даст.

Казак в нерешительности натягивал поводья.

— А этот?

— И этот сторож... водоливом на барже...

— Брешешь, сучий подхвостник... Не видать, что ль, — из городу убег. Ага!.. Его-то нам и надо... Погляди, Рябов, може, которые разбежались. Погляди, нет ли следов от костра в энту сторону.

Молодой сунул в уголья хворостинку, подержал, пока вспыхнул конец, и, наклонившись и освещая, прошел несколько шагов, внимательно вглядываясь в песок, по которому судорожно трепетали тени.

— Нету, оттуда следы, как раз из города шел.

— А-а, сиволапые, отбрехаться хотели, люцинеров укрывать. Погодите, будет и вам, не увернетесь! А между протчим, Рябов, обратай-ка этого.

— Веревки-то нету.

— А ты чумбуром[1], чумбуром округ шеи. Погоним, как собаку.

Молодой взял свободный конец свешивающегося от уздечки длинного ремня, за который водят лошадь, и подошел к наборщику.

— Ну ты, паскуда, повернись, что ль.

Тот оттолкнул его, пятясь назад.

— Пошел ты к черту...

Металлически звякнул затвор. Наборщик невольно поднял глаза: на него глядело дуло винтовки, целился с лошади бородач.

— Ежели еще шаг, на месте положу!..

Рябов накинул на шею чумбур и стал завязывать петлей, бородач закинул винтовку за плечи. Рабочий равнодушно и устало глядел во мглу над рекой. Ночь стояла густая, мрачная, и давила со всех сторон, и нечем было дышать.

Старик и длинный как-то особенно переглянулись и продолжали спокойно глядеть на совершающееся.

— Завязал? Ну, садись, и айда! Да гони нагайкой перед конем.

Молодой, вдев одну ногу в стремя, взялся за луку и напружился, чтоб разом вскочить в седло, и в темноте чернел чумбур от морды лошади к шее человека.

Дед подошел к молодому, и в тот момент, как тот заносил ногу в седло, наклонился к нему, что-то сообщая по секрету, потом тот, отвалившись от коня, прильнул к дедову плечу и крикнул перервавшимся голосом.

В ту же самую минуту длинный подошел к бородатому казаку, сидевшему на лошади, и, протягивая с чем-то ладонь, проговорил:

---

[1] Чумбур — длинный ремень к уздечке.

— Никак, потерял, ваше благородие?

Казак перегнулся с седла, разглядывая, и вдруг почувствовал, как с железной силой толстая змея обвила шею. Он мгновенно толкнул ногами лошадь, чтобы заставить ее вынести, но другая змея, такая же толстая, с такой же железной силой обвилась вокруг поясницы, и огромная лапа из-за спины сгребла поводья и так натянула, что лошадь, закинув голову и приседая на задние ноги, пятилась и уперлась задом в обрыв.

— О-го-го!.. Сво...о...лочь!.. Ря...бов... ссу...ды...

— Нни...чего... дя...дя...

— По...го...ди, я... тте ша...шшкой!

— Го...жу... Ва...лись...ка!..

Они тяжело, прерывисто и хрипло обдавали друг друга горячим обжигающим дыханием, лошадь билась под тяжестью двух людей, и с обрыва на них сыпались глина и ссохшиеся комья.

— Ого-го-го... Рря...бов...

Казак изо всех сил старался выпростать руку и все искал головку шашки, но облапивший его дьявол с нечеловеческой силой ломал спинной хребет, и, несмотря па отчаянное нечеловеческое напряжение, бородач тяжело, грузно гнулся с седла. Уже поднялись тускло поблескивавшие стремена на раскорячившихся ногах, уже под брюхо бьющейся лошади лезет взмокшая от пота голова. Что-то хрустнуло, и под вздыбившейся лошадью ухнула земля от тяжко свалившихся тел.

Ночь невозмутимо и мрачно стояла над ними, дожидаясь, и в ее тяжелой тишине лишь слышалось хриплое дыхание да задавленные стоны, а проклятья и брань застревали в бешено стиснутых зубах.

Лошадь почувствовала свободу и, наступая на конец волочившегося по песку повода и низко кланяясь каждый раз головой, пугливо побежала прочь от того места, где тяжело ворочался черный ком.

Дед с освободившимся наборщиком туго вязали молодого, беспомощно лежавшего на песке.

— Эй, давай-ка чумбур!.. — хрипел длинный, наступив коленом на грудь задыхающегося казака.

Дед с наборщиком поймали лошадь, подбежали к лежавшему на песке хозяину, и в захрустевшие в суставах руки жестко впился ремень.

— Фу-у, дьявол, насилу стащил, еще бы трошки, вырвался бы, лошадь увезла бы. Ну, давай же молоко доедать, никак не дают повечерять... Возжакайся тут с ними, с иродами.

IV

Они сели в кружок, веселые, торопливо дышащие, отирая потные лица, и снова принялись за ужин.

— Ну, этот молодой и крякнуть не поспел, как дедушка его зараз на песок.

— А этот — здоровый, откормился кабан...

— Ишь, а то за шею... ах ты моченая голова!..

Подбросили хворосту, и костер, совсем было задремавший, снова глянул, и снова засуетились по песку тени. Неподвижно лежали связанные казаки, и неподвижно стояли над ними лошади, понурив головы.

— В прошлом году стояли тут на перекате, — заговорил длинный и, отложив ложку и отвернувшись, шумно высморкался, придавив ноздрю паль-

цем, — так гроза сделалась, н-но и гроза! Мимо шар си-ний пролетел, так и отнесло меня духом сажени на две. И вдарился этот шар в дерево саженях в пятидесяти по берегу, — от дерева лишь пенек остался, ей-богу!

— Прошлое лето грозовое было, в городе два дома спалило.

Бородатый казак понемногу приходил в себя от изумления, от неожиданности всего совершившегося и, сам себе не доверяя и скашивая глаза, оглядывал, что мог, в своем положении. Да, он лежал, туго связанный чумбуром, над ним стояла лошадь, а те преспокойно таскали кислое молоко, белевшее у них в ложках. Рябова не было видно, он лежал у него за спиной.

— Да вы что же это, пропойцы сиволапые, али головы вам своей не жалко, али обтрескались?

— Как не жалко — жалко, — усмехнулся длинный, — потому и связали вас.

— Да вы что же думаете, нас двое, что ли? Там целая сотня стоит, патрули везде ездют... Завернут сюда, тут уж вам беспременно расстрел... Развязывай зараз!

— Да за что же нам расстрел, ежели никаких казаков у нас не будет?

— А ты бреши, да не забрёхивайся. Слышь, зараз развязывай!.. Мать вашу...

— За что же расстрел, ежели казаков у нас не будет? — невинно продолжал длинный. — Ты трошки потерпи, за́раз поедим, коней ваших расседлаем, в штаны вам и за пазуху песку насыпем, да и в реку обоих.

Воцарилось гробовое молчание. У казака глаза сделались круглыми, и даже в темноте белели белки. Он стал часто и трудно дышать и, пересиливая себя, проговорил глухо:

— Не пужай, не испужаюсь... Казак — не иголка, все одно дознаются... Лошадей не утопите, по лошадям и до вас доберутся.

Длинный весело загоготал, и так же весело откликнулось ему из-за реки.

— Мели, Емеля, твоя неделя... Об нас не тужи, станишничек... Лошадей мы расседлаем, ссдла вам на шею для верности; они чижолые, не всплывете, а лошадей выведем в степь, сымем уздечки, ухнем, только их и видали, так и пойдут писать по степи. А в степи им, брат, хозяева зараз найдутся. К хутору прибьются, кажный с превеликим удовольствием приблудную лошадь возьмет для хозяйства. А нет, так конокрады бесперечь по степи ездют, обрадуются дареному коню, зараз обратают. Так-тося, станишничек...

Замолчали. Ночь над казаками стояла густая, черная, полная предсмертного ожидания и не ждущая пощады... И вдруг среди неподвижной, грозно молчащей мглы раздались хлюпающие, переливающиеся, прерывистые, воющие звуки, как будто выл молодой волк, подняв морду. Бородач насупился и, скосив глаза, следил, как носили ложки с молоком. Делали это не спеша, умирать ведь не им, и страшно было спокойствие этих людей. А волчьи прерывистые ноты раздирали ночную тишь, испуганные носились над рекой и горькими, рыдающе-воющими отголосками пропадали в сумрачно и неподвижно раскинувшейся степи.

— А-а, жидок на расправу, а людей неповинных, беззащитных убить али искалечить — это ты можешь. Как с-собаку за шею привязал. Не то что там за руку али за пояс, а за шею, а-а!..

Бородач стиснул зубы и процедил:

— Не вой, сволочь!..

Но волчий вой все носился у него за спиной и

над рекой и над степью. И бородач с напряжением следил за спокойно ужинавшими людьми и одного только мучительно, с замирающим трепетом хотел, чтоб никогда не кончилось это молоко, — но глубже опускались ложки.

— Братцы, — заговорил он глухо, — отпустите...

— Вишь, паренек, — заговорил спокойно старик, — ехал ты убивать и калечить людей, ни об чем не думал, а теперича сам лежишь и ждешь. — И, забрав с ложки губами и вытерев усы, продолжал: — Да-а, придет время, так-то и народ нежданно-негаданно подымется, и будете вы лежать и ждать, и будете удивляться, и душа у вас смертно заскорбит и возопиет: эх, кабы воротить, по-иному бы жили.

— Служба наша такая, разве мы от себе... У меня дома хозяйство, семья, тоже скучаешь, сладко ли по степи шаландаться...

— Что служба!.. Ежели тебя служба заставит образа рубить, али будешь?

— А как же! Потому присяга престол-отечеству... — И ему чудилось, как проворно убегает время на этом пустынном, темном, молчаливо ожидающем берегу, и уже с самого дна берут опускающиеся ложки.

— Присяга!.. — Голос старика зазвучал желчью. — Присяга!.. Вот она, присяга, — и старик вдохновенно поднял руку, — перед святыми звездами, перед ясным месяцем, перед темным лесом, перед чистой водой, перед зверем лесным, перед птицей полевой, перед человеком, потому жисть она — человеческая, а не перед попом волосатым, ему абы хабары. Вот она, присяга истинная! Вот кому присягали мученики. Вот кому должон присягать всякий, у кого душа не в мозолях... А вы,

несчастненькие, замозолилась у вас душа, тыкаетесь, как слепые щенята... Жисть, вот она кругом, — он широко повел рукой, — ей присягать надо, а не попу, а вы ее топчете конями, да колете пиками, да рубите шашками, да бьете из ружей... Ишь пустил пулю, куда она полетела!..

Темно и неподвижно было кругом. Не было ни живой, говорящей смутным говором в темноте воды, ни смутно прислушивающегося леса за рекой, ни пропадающего в двух шагах берега. Зато с отчетливостью меди краснели в темноте озаренные профили лиц сидевших вокруг костра, — только это и было.

Казак не мог оторвать от них глаз. И чем больше глядел, тем большей силой наполнялись они. Сидели они, как будто отлитые из меди, неведомые богатыри темноты и ночи.

— Охо-хо! Жисть-то она человеческая! — проговорил старик, положил ложку, отер залезавшие в рот усы, потом опять взял и стал неторопливо носить от горшочка к волосатому, заросшему рту, и казак, не отрываясь, следил за ней, белевшей. — Как она выходит... К примеру, по хозяйству сколько заботы примешь: с плугом ходишь, землю месишь-месишь... Потом сердце изболится, покеда щетинкой зеленой пробьется, да все на небо поглядаешь, дожжичка просишь. А там перышко выгонит, да пойдет в трубку, да в колосок, да нальется, а ты все ходишь округ нее, округ пшенички, округ травки-то...

— Звезда покатилась, — проговорил длинный и рыгнул.

Казак повел глазом и увидал темную реку, без счету полную дрожащих звезд, услышал смутное лепетание сонной воды, но все это точно отодвинулось от него, словно это прошлое стояло перед

памятью, прошлое, в котором и семья, и хозяйство, и привычная, вросшая в самое сердце степная работа, — все это в прошлом, а настоящее — это темь, и в темноте у костра медно озаренные профили людей.

Лошадь стояла, горестно опустив голову, с печально отвернутыми ушами. По реке удалялось тилиликанье невидимо махавшей над водой ночной птицы.

Старик помолчал, глядя из-под седых насупленных бровей за реку, где смутно чудился лес.

— Травка растет, ты ее побереги, прут гонит из земли, ты его обойди, не сломи... Человек — нешто он дешевле пшеницы, подумай-ка, живой ведь он, и вон звезды-то, звезды-то всем одинаково светят, а ты приехал тиранить, да убивать, да в тюрьму сажать. Присяга!!. Нет больше присяги, как жисть человеческая, самая дорогая, братику, присяга. Вот ты ехал, думал: сила — ты, ан теперя сам лежишь и ждешь...

Казак, закусив губы, с нечеловеческим напряжением напрягся, но сыромятные ремни только глубже въелись.

— Братцы! — заговорил он, отдаваясь бессилию. — Братцы, али я...

Лица ужинавших зашевелились, и костер полностью озарил их, и столько было в них спокойной решимости, что казак отвел глаза. Вытерли ложки, спрятали... и подошли.

Весь сегодняшний день промелькнул перед казаком, и с поразительной отчетливостью все встало в том роковом порядке, в каком привело его сюда, к гибели, к бессмысленной смерти. С тоской прислушался: тревожно метались за спиной воющие причитания, из степи не доносилось ни звука. Да и кто мог подъехать? Не было

спасения, не было пощады, да и не могло быть, потому что он сам их не щадил.

И это молчание было страшнее смерти. Он вслушивался — вслушивался, болезненно напрягаясь. И вдруг услышал: неслось бесчисленное треньканье кузнечиков, то самое треньканье, что всегда наполняло живую степь и теперь звучало последним прощанием.

Должно быть, к Рябову уже приступили, потому что воющие причитания торопливее и тревожнее неслись оттуда и вдруг смолкли.

У бородача екнуло сердце. Над ним нагнулся длинный и стал возиться с ремнем. И ремень ослаб и выдернулся. Казак быстро поднялся. Рябов, прыгая на одной ноге и звеня оружием, садился в седло. Наконец вскочил, лошадь пошла карьером и скрылась в темноте.

— Ого-го-го!.. Ноги в зубы взял, — засмеялся длинный. — Вали, дядя, и ты!

Казак, сдерживаясь и едва справляясь с охватившей его радостью жизни, наружно спокойно подошел к лошади, попробовал подпруги, потом сел и тронул поводья.

— Прощайте, ребята!

— Прощай, паря...

Лошадь не спеша пошла рысцой, хрустя влажным песком, и ночная мгла постепенно поглотила ее.

По-прежнему сонно колебалось дремотное шептание струи, и из темной воды глядело бесчисленными звездами ночное небо.

— Ну, теперя хоша и спать.

— Котелок надо побанить.

И длинный усердно стал оттирать песком, нагнувшись над водой, внутренность котелка.

— Одначе они тягу дали.

— Помирать никому не хочется.

— Исажары как высоко. Поздно... О-о-ха-ха-ха!..

И по реке кто-то сонно и замирая много раз зевнул. Тишина стояла в степи, над рекой, над чудившимся во тьме лесом, навевая чувство покоя, отдыха.

— Тебя как звать-то?

— Алексей.

— А по отцу?

— Николаич.

— Ну, вот что, Миколаич: полезем на баржу спать, там у нас и солома есть. Нешто искупаться перед сном?

— Доброе дело.

Они подошли к самой воде, чуть колебавшейся темным густым отблеском масла и живой изменчивой линией отделявшейся от неподвижно темневшего берега. Стали раздеваться, и разом руки застыли у поясов, а головы повернулись к обрыву.

— А?

— Неужто?.. — коротко и подавленной тревогой прозвучало.

И головы все так же напряженно были обращены к степи: оттуда, все делаясь отчетливее и нарастая, несся приближающийся топот. И опять слышно было, что там земля иссохшая, крепкая и звонкая, и это почему-то вселяло особенное беспокойство. Тревога, как невидимая черная птица, реяла в нахмурившейся ночи. Только старик, не обращая внимания, по-прежнему копался в лодке.

— Эхх!.. — досадливо крякнул длинный, завязывая пояс. — Сказывал, не выпущать... Теперь расхлебывай... Ишь карьером лупят, спешат, кабы не упустить.

— На ту бы сторону, что ли, переехать, — проговорил Алексей, и тоска зазвучала в его голосе.

— Ничего, ребята, ничего, — спокойно проговорил старик, продолжая копаться.

Вот уже близко, уже над самым обрывом, потом звуки помягчели и пошли влево — в объезд поехали к спуску. Несколько минут стояла ненарушимая тишина. Потом стал доноситься, приближаясь, мокрый хруст песка. Двое, не отрываясь, глядели в ту сторону.

— Эхх!.. — все досадливо чмокал длинный. — Зря отпустили.

Вырисовался среди темноты силуэт лошади. Рысью подъехал бородач и, сдержав разгоряченного коня, заговорил:

— Вот что, ребята... Перегоните зараз баржу на ту сторону, а парень нехай уходит через лес. Энта стерва поехал докладывать командиру сотни... Хотел перестрелять вас оттеда, с обрыва, насилу уговорил... Сказываю, дескать, живьем надо взять их. А тоже мне наседать-то на него не приходится: зараз доложит, что люцинеров покрываю... Глядите, к утру взвод пришлют, туго вам придется...

— Хо-о!.. часа через два пароход придет, к утру нас и след простынет.

— А-а, ну так... То-то, я думаю, ворочусь, скажу... Ну, прощайте!

— Счастливого, дядя... Спасибо тебе...

— Спасибо и вам... — Он придержал немного коня. — Тоже и у нас — не пар, ну, положение такое. А старик у вас — правильный человек.

Лошадь ходко пошла. Некоторое время из степи доносился удаляющийся топот, потом смолкло. Над чертой обрыва свободно, незатеняемые, играли звезды, играли по всему небу, играли в темной глубине реки...

1907

ЗАРЕВА

Песчаная отмель далеко золотилась, протянувшись от темного обрывистого, с нависшими деревьями берега в тихо сверкающую, дремотно светлеющую реку, ленивым поворотом пропавшую за дальним смутным лесом.

Вода живым серебром простиралась до другого берега, который весь отражался высокими белыми меловыми обрывами гор. И белым облачкам находилось место в глубине, и синевшим пятнам неба, только солнце не могло отразиться четко и ярко и плавилось серебром по всей живой, играющей поверхности.

В синем просвете расступившихся гор золотились кресты издали белевшего монастыря. Но и монастырь отсюда кажется спокойным, молчаливым, без звучащих колоколов. Только светлые, прозрачно набегающие морщины моют золотистый песок, да чуть приметно шевелятся темные листья задумчиво свесившихся над обрывом с размытыми весеннею водою корнями деревьев.

Ясная, светлая, задумчивая улыбка, улыбка тихого созерцания, лежит на облаках, на белых отражениях гор, на синеве неба, на серебряно-светлой, лениво-ласковой реке.

И эта тихая улыбка, эта задумчивость созерца-

ния не нарушается присутствием человека. Даже наполовину вытащенный на отмель каюк, выдолбленная из дерева лодка, кажется не делом человеческих рук, а почернелым от времени, свалившимся с родного берега лесным гигантом, много лет лежащим наполовину в воде и ласково омываемым веселыми струйками.

И рыбачья избушка, приютившаяся под самым темным, с нависшими деревьями обрывом, скорей напоминает старый-престарый, почернелый от дряхлости и дождей гриб с наклонившейся шляпкой.

Все заворожено тихой ласковой, незнаемой таинственной жизнью, которою живет природа вне человеческого сознания.

Далекий слабый удар колокола донесся оттуда, где торопливо, растерянно и с ненужной тревогой блистали в воздухе мелькающим блистанием золоченые кресты. Он приплыл оттуда, слабо колеблясь, стирая эту особенную таинственную улыбку, эту задумчивость созерцания, и поплыл над водой, все слабея, теряя жизнь и вместе с рекой пропадая за поворотом.

Пропала улыбка дня, — просто белели облака, меловые обрывы, сверкала под солнцем река, и было видно, что около каюка песок был истоптан человеческими ногами, валялись чешуя, кости и рыбьи объедки.

Из избушки вышел человек, старый, но крепкий, с сивой бородой, крепкими морщинами, с сердито взлохмаченными бровями. Приложил козырьком черную, просмоленную ладонь и поглядел туда, где беспокойным трепетом сверкали кресты и откуда плыли все те же слабые, обесси-

ленные расстоянием, едва гудящие удары колокола.

Шершавые усы сердито шевельнулись.

— Ну, завыли!

И, двигая бровями, как наежившийся кот шерстью, повернулся, и, тяжело ступая по хрустящему песку, подошел к разостланной бечеве с навязанными крючьями и стал подтачивать их напильником и протирать сальной тряпкой, чтобы не ржавели в воде.

Рыбу он держал в плетенках, спущенных на веревке в реку, и два-три раза в неделю к нему приезжали скупщики закупать.

В праздники, когда отойдет в монастыре обедня, на той стороне, под белыми горами, зачернеют люди, забелеют бабьи платки и юбки и доплывет:

— Афиногены-ыч!..

А у него только шевелятся брови, и спокойно доделывает свое: спускает рыбу в плетенки, или перебирает крючки, насаживая наживу, или наращивает оборвавшийся конец бечевы.

— Афиноге-е-ны-ы-ыч! По-да-ва-а-ай!..

Откликаются белые горы, доносит зеркало реки, шепчут нависшие деревья.

Долго сидят крохотные игрушечные люди под белыми горами у самой воды, а у деда шевелятся сердитые брови, шершавые усы.

Покончив с последним крючком, аккуратно распустив и свернув пальцами бечеву, Афиногеныч берет прислоненное к избушке длинное узкое весло, идет к каюку и, напружившись и навалившись могучими плечами, сталкивает его со скрипучего песка на весело колеблющуюся, ждущую воду. И каюк, освободившись от неподвижной тяжести, тоже начинает шевелиться, покачиваться

и легко поворачиваться, точно заражаясь вольным, веселым задором.

Весло мерно и сильно проходит, изламываясь, в прозрачной воде, и под круглым, тупым черным носом бежит стекловидный вал, далеко разбегаясь двумя морщинами.

А солнце уже высоко, и нет расплавленного серебра, — синяя река, синее небо, — и только в одном месте безумно-ослепительно играет и колеблется нестерпимый блеск.

Уже слышны голоса, говор и смех, но люди еще маленькие, еще не отчетливы промоины, расщелины обрывов, — по воде далеко слышно. Вот и белые отражения гор задрожали под каюком, заволновались, запрыгали, уродливо вытягиваясь и расплываясь. Ближе и ближе...

Каюк мягко насовывается на берег. Люди толпятся, торопясь поскорее забраться в колышущуюся под ногами, живую, вертучую лодку, а Афиногеныч сердито подымает весло.

— Куды-ы? За перевоз подавай... Не пущу... Куды лезете? Перевернете, идолы березовые!

Развязывают затянутые узелками уголки платочков, достают кисеты.

— Афиногеныч, я те отдам после... Вот как перед господом, отдам.

— Ну, после и перевезу.

— Да что ты, зверь лютый, утроба ненасытная, пропасти на тебя нету. Никогда копейки не поверит... Жри, чтоб ты подавился!

Старуха нищенка низко кланяется и причитает:

— Смилуйся, государь ты батюшка, пожалей старуху лєдащую!..[1] Только и подали на паперти три копеечки... на цельную на неделю.

---

[1] Л е д а щ а я — худая, плохая, слабая.

— Подавай, сказываю! А нет, так отчаливай... Неколи мне тут с вами тары-бары растабарывать.

Нищенка торопливо роется, моргая красными, слезящимися глазами, подает деньги и лезет в колышущуюся, зыбкую лодку. Афиногеныч суров и неумолим. И только когда все отдали по копейке с рыла, он наваливается на весло, отталкивается от берега, и опять впереди бежит, разбиваясь, стекловидный вал, и зыблются отражения.

В лодке стоит говор, Афиногеныча ругают и живодером в сквалыгой[1], но добродушно, — и он, как будто речь не о нем, сосредоточенно бурлит живую, игристую воду веслом. Вода у самых бортов бежит мимо, лодка загружена, и все сидят смирно, цепко держась за влажные, скользкие края, — при малейшем движении вода хлынет и наружу вывернется круглое черное дно. Белые горы позади все ниже, а навстречу бежит золотистая отмель, свесившиеся деревья, почернелая избушка.

На другом берегу все весело выбираются на песчаную отмель и гурьбой направляются в деревню. Выбирается и старушонка со слезящимися глазами. Афиногеныч аккуратно прилаживает на берегу каюк, ставит весло и, обернувшись, неодобрительно и сурово смотрит вслед плетущейся нищенке. И говорит:

— Ну, куды пошла? Не успеешь с голоду сдохнуть?.. Поспеешь.

Та в недоумении останавливается. Он нагибается над плетенкой и начинает выбрасывать на облипающий ее песок трепещущую рыбу.

— А?.. — растерянно говорит старушонка.

---

[1] С к в а л ы г а — скаред, скупец, скряга.

— Сулка...[1] Уха из нее добрая... Ребятишки-то знают, как выхлебать... Вот те карасиков, тоже хорошо в уху... Стерлядок...

Старуха, по-прежнему растерянная и радостная, набирает полон подол живой, ворочающейся рыбы и униженно кланяется.

— Спасет те Христос, касатик, мать пресвятая богородица...

— Ну, ну, ступай, ступай! Всем одинаково кланяетесь — и кто дает, и кто в шею бьет.

Афиногеныча недолюбливают и сторонятся, но, когда собираются в монастырь, идут к нему, чтобы не делать большого крюка на паром. Хмурый и молчаливый, он перевозит.

Иногда усядутся у обрыва под деревьями посидеть и передохнуть.

— Привел господь, сподобился отстоять утреню и обедню. Дюже хорошо отец Паисий нонче говорил, до слезы даже: любите, грит, друг друга...

— Пели нонче уж хорошо.

— Чисто андельскими голосами.

— Энто, как сделает чернявенький: о-о-о... у-у... а-о-о...

Мужик перекосил лицо, сделал рот круглым и заскрипел на всю реку. Низко летевшие чайки шарахнулись. А Афиногеныч:

— Это ангелы так поют?.. А потом, вчерась вечером, — хмуро говорит он, ни к кому в особенности не обращаясь, — пятерых бабенок перевозил... для монахов... на святое дело... Ядреные бабенки...

Все хмуро замолкали. И как-то иначе глядели

[1] Сулка — рыба, судак.

горы, отмель, иначе золотились кресты. Но потом вскипало раздражение, и с слегка вспотевшими лицами ему кидали злобно:

— Глядим мы на тебя, Афиногеныч, не то ты богопротивник, не то ты беспоповник, не то бусурман, — лба не перекрестит, так бесперечь и живет, ни ему праздники, ни ему воскресный день.

Старик хмуро копается и говорит:

— Рыба вон ходит в воде, тоже праздников нету... — И перебивая самого себя и усмехаясь: — Был я молодой и крепкий, были у меня товарищи. Знали мы праздники. Бывальча, как праздник, народ перепьется, как свиньи, в грязь рылом тыкаются, потому в праздники полагается скотиной ходить, — перепьются, ну нам праздник: заберемся в церкву да кружку-то и опорожним... Праздник!

На него сыплются ругательства:

— Нехристь!

— Святотатец!

— Иуда-предатель!

— Известно, ты — конокрад, вор и душегубец. Удивление, как господь тебя терпел! Одного тебе надо было — кнутовище в зад. Рыба!.. Да ты хуже рыбы, хуже скота бессловесного! Богопротивник. Церкви даже божии не жалел, что же уже после того... Одно слово — животная!

Было что-то, что упруго сдерживало раздражение. Ведь его надо было избить, изувечить, спустить связанного в воду... Его ругали, а он рассказывал:

— Верно, промышлял лошадьми, с товарищами... Жрать надо было, не святой Антоний, утроба требовала хлеба и протчего... Промышлял.

И, опять рассмеявшись каким-то своим мыслям, продолжал:

— Под весеннего Миколу к помещику забрались. Конюшня каменная, крепкая. Замок никак не свернем... Ах, ешь тя мухи с комарами! Зачали возле притолоки стену разбирать. Разобрали, — ан в стене железный болт заложен, лошадь-то не пройдет, не подогнется. Что тут делать? Скоро светать... А конь — аглицкий жеребец, для приплоду, тысяч десять, а то и больше стоит. Влезли в конюшню, наклали досок на тарантас, с тарантаса — на сеновал, завязали коню глаза, ввели на сеновал, а в барское окно — трах! — камнем. Выскочили с ружьями, с револьверами к конюшне, — стена разобрана. Отомкнули двери, отворили, коня нету. Хлопают об полы, дивуются, как лошадь могла под болт пролезть, — стало быть, на коленки стала. А мы лежим на сеновале да слушаем. Зараз нарядили погоню человек десять с ружьями, и пан с ними, и залились в степь, — больше, дескать, некуда. Ну, мы подождали трошки, наклали опять досок, свели коня, вывели через двери, прихватили с базу двух меринов да помаленечку и уехали в другую сторону.

Шершавые усы и брови шевелятся.

— Гореть тебе в пещи огненной!

— Го-о-о!.. Ничего, проживу, еще вспоминать будете.

Они хмуро и раздраженно уходили, ругая его, но с странным ощущением, что — да, будут вспоминать, будут его вспоминать. Чем? И мешались в душе неприязнь и раздражение с странным чувством глухого и смутного удивления перед этим человеком.

По-прежнему каждый день загоралась зорька над лесом, загорались кресты в монастыре, а вечером за поворотом, отражаясь, потухал красный

закат, но долго в сумерках белели стены монастыря.

Уютно чувствовалось Афиногенычу на его пустом, безлюдном берегу. Одни у него были разговоры — с немыми рыбами, которые его хорошо понимали, и он их отлично понимал. Да чайки вели с ним деловые сношения, постоянно летая и подбирая остатки рыб. Для них у него находилась добродушная шутка, улыбка из-под жестких усов; для людей оставались колкие, язвительные, насмешливые слова. И ничто его не связывало с людьми.

— Афиногеныч, — говорили ему, — и живешь-то ты не по-людски: ни у тебя роду, ни племени, ни семьи, ни у тебя детей...

А у него шевелились усы и брови.

— Будет того, что вы щенков плодите... первонаперво, чтоб половину с голоду уморить, а которая остатняя половина подымется, будет заместо вас скотиной в ярме ходить.

И было все одно и то же: река, лес, дальний поворот и в синей расщелине белый монастырь. Старик в тени обрыва плетет сети; и тихо моет вода отмель, тихо шепчутся нависшие деревья, беззаботно реют ослепительно-белые чайки. Точно все отодвинулось кругом — и города, и деревни, и людское горе, и прошлое, и молодость. Тихо, спокойно, задумчиво. И сеть, ложась на песок тонкой сквозной тенью, шевелится, непрерывно растет новыми кольцами.

Думает ли Афиногеныч о далекой молодости, рвущейся неизбытыми еще силами, о борьбе одного против всех, рад ли ласковому солнцу, воде, безлюдному берегу, таким же старым, как и он, деревьям, тоже с подмытыми, свисшими корнями, или просто внимательно следит, чтобы

правильнее цеплялись друг за дружку новые глазки?

Ночи приходили такие же ласковые, тихие и задумчивые. И не то маячили на той стороне горы, не то это только казалось. Неподвижной темнотой темнела река, или совсем ее не было, и был провал, бездонный и разверстый, и будто стояла вдоль реки густая караулящая таинственная тень.

У потонувшей избушки слабо краснеет, шевелится костер, такой же древний от века, как эта ночь, и в ней невидимая река, такой же одиноко брошенный, как этот старик, у которого сердито шевелятся брови и усы на красном, отсвечивающем лице.

Потом костер засыпает — и нет старика, нет гор, нет реки.

Из города приезжали скупщики. Они были проворные, ловкие, плутоватые, расчетливые. Торговались, били о полы, по рукам, и пахло от них уснувшей рыбой, лавками и городским духом. Но Афиногеныч был с ними угрюм, малоречив и упорен, как заноровившийся конь. Назначал цену и уже не сдвигался, как глинистая глыба у обрыва. А раз, когда особенно настойчиво предлагали низкую цену, вывалил на их глазах в реку целую лодку живой, трепещущей рыбы.

И долго они грозили ему кулаками, и разносилась скверная крикливая брань по реке, по берегу.

Раз пришел сюда кучками измученный, оборванный, исхудалый, с ввалившимися щеками деревенский народ. Шли в город — либо на суд, либо садиться в тюрьму, либо хлопотать о пропитании. Садились, выставляя под жгучее солнце костлявые, босые, потрескавшиеся ноги, почерне-

лую, ввалившуюся грудь, сидели и ковыряли горячий рассыпчатый песок.

— Мочи нету! Край — больше некуда. Скотина попадала, избы раскрыты, ребятишки мрут.

Старик шевелил усами и как бы нехотя бросал:

— А вы бы того... к Паисию... он ублаготворит: стало быть, любите ближнего и протчее.

— Край пришел! Все одно — ложись помирай.

— У него теперь брюхо-то понадбавилось. Землицы-то они подкупили округ вашей деревни вплоть до Ольхового Рогу... Свечечку подите поставьте.

Белел монастырь.

А деревенские ныли.

— Больше некуда. Край. Нету мочи!.. — заунывно стояло над тихой рекой, как припев вековой, никогда не смолкавшей песни.

А старик говорил, накидывая слова, как новые петли в сети, которую вязал:

— Было нас трое о ту пору, молодые. Вывели мы у богатея, — всю округу держал в кулаке, — вывели тройку: дорогая тройка. Да не успели, нагнали у реки. Я успел в камыши, сижу в воде по горло, а товарищей сцапали. Сбежалась вся деревня. Богатей кровью весь налился, лютый ходит, зверь зверем. «А-а!.. Бейте в мою голову!..» Подступились мужики. Товарищ стоит, руки скручены назад, по лицу кровь. И поднял голову и говорит: «Братцы, сами знаете, никогда ни одного мужика не тронули, жеребенка не взяли, заимствовали мы только у богатеев. Сосут они из вас кровь... Ужли ж за них заступитесь, сами себя по ногам бить будете?..» Насупился народ, глядят в землю, чешут в затылках. Екнуло у меня сердце. Уже совсем поднялся я из камыша, к ним, то есть к мужикам-то: «Дескать, братцы, вместе страдаем,

одна у нас чаша горькая». Да мироед как заревет: «Али не видите, — конокрады, душегубы!.. Бейте в мою голову! Три ведра водки ставлю!..» Зашатался народ, зашумел. Вдарил кто-то товарища колом, свалили и зачали... Цельную ночь сидел я и глядел, не отрывая глаз, а они били, они измывались, они мучили. Не признаешь за человека, а они все молотят по мясу, по красному мясу, во тут, передо мной, рукой подать...

Старик передохнул и глянул красными глазами.

— Цельную ночь глядел... Ушли. Вылез, постоял над товарищем, — говядина красная, боле ничего. Пошел, как пьяный... А после того восемь раз сжег деревню. Из тюрьмы, из Сибири бегал. Прибегу и сожгу... Все разорились. В восьмой раз как сжег, разбрелась вся деревня, одни головни остались... А теперича и место то запахали, ничего нет.

Все так же белел монастырь, стояли горы и за лесом пропадал поворот реки. Оборванные люди сидели, подняв острые колени и раскапывая горячий песок.

Лохматые, нависшие брови грозили кому-то, приподнялись. И старик вдруг злобно бросил:

— Мало с вас шкуру спускают!

У тех тоже блестят озлоблением воспаленные глаза.

— По две дерут с каждого.

— Мало!.. По три, по десятку надо, мясо с вас спускать, в плуги запрягать, да чтоб тут же, на меже, падали и дохли, — может, тогда хоть за ум возьметесь...

— Не лайся, не собака.

— ...Может, морду от земли подымете.

— Ты лучше перевези нас, Афиногеныч.

Старик разом успокаивается и брезгливо обегает их из-под насупленных бровей.

— По копейке с рыла.

— Побойся бога! Не емши целый день, падем нето где на дороге... Десять верст крюку на паромто, не дойдем.

— Даром не повезу.

— Христа ради!.. Сделай божецкую милость... Ни гроша за душой ни у кого.

Старик молча отворачивается и спокойно принимается за работу, как будто он один. Те обступают, униженно кланяются, просят, голоса становятся хриплее, крикливее.

— Чего на него смотреть! Спихивай каюк!..

Они берутся за лодку, озлобленные, кричащие. Старик, как гигант, размахивает веслом; удары сыплются на головы, на обожженные костлявые плечи. Весло раскалывается, и куски летят, сверкая свежей древесиной. Старик схватывает небольшой якорь с растопыренными лапами, и он гудит в воздухе в дюжих руках.

Все кидаются в разные стороны.

— Тю... Объелся белены!.. Зверь бешеный!..

Он смотрит на них, как на побитую собаку.

— Сволочи! Дохлое мясо! Вонь от вас стоит, мир только гноите...

А они идут вялой, шатающейся походкой. Идут, и солнце жжет сквозь рваное тряпье почернелое тело, и накаленный песок палит истрескавшиеся ноги, и река нестерпимым блеском слепит воспаленные, ввалившиеся глаза.

Реже и реже перевозил Афиногеныч богомольцев. Придут бабы с изборожденными вековой усталостью лицами, с покорными глазами, в которых стоит один и тот же, непонятный для них

самих, от века безответный вопрос. По целым неделям — никого. Редко когда приплетутся мужики.

По большим праздникам приваливала молодежь. Но они не переезжали на ту сторону, а приносили с собой водки, лузгали семечки, играли на гармонике, пели песни, и над тихой рекой неслись крики, смех, крепкие слова и брань.

Собственно, Афиногеныч ничего не мог им дать и не обращал внимания на их шумную компанию, но его отрывочные, несвязные рассказы о прошлом, о буйной, непокорной молодости, едко и зло оброненные замечания собирали около него кружок.

И из толпы вытягивающих вокруг него шеи парней слышалось:

— Двоих наших лесники убили... порубщиков.

— Десятин сто его, лесу-то...

И все глядели на сумрачный монастырский лес, темной густотой выделявшийся у светлой реки.

— Придет черед...

— Погреем руки...

— Все одно это — не жисть... Одинаково пропадать — тут или на каторге.

— Из каторги каторга не страшна.

— И-и, милые мои, — говорил старик, — чего ерепенитесь? Али плохо овце, как с нее шерсть стригут?..

...Побывал как-то у Афиногеныча и никогда не бывавший дотоле гость — монах, черный, с бородой, с светящимися маленькими пронизывающими глазками, в скуфье.

Старик тесал новое весло, а монах стоял и глядел подозрительно и враждебно.

— Ты что же это, али басурман?

— А что?

— Ни тебе благословения, ни тебе креста не надо?

— Замучились вы и без того, сколько наблагословляли кругом. Надо и вас пожалеть, — вишь, жиру-то у тебя от благословения наперло.

Монах пододвинул обрубок, сел, опустил глаза и молчал, и лицо его было холодно и жестко. Потом заговорил:

— Напрямик тебе скажу: все знаю.

— Тебе так и полагается — во святом месте живешь.

— Все знаю, и давно. Отец игумен велел доложить полиции в городе, чтоб убрали, а я упросил: пущай грехи замаливает, пущай живет. А ты что же это делаешь? В благодарность народ мутишь?

— Мутного не замутишь.

— Ну так вот тебе сказ: ежели еще хоть раз дойдет, что ты смутьянишь народ басурманскими речами, — сейчас же позовем полицию, и крышка тебе!

Топор, тихонько тюкая, заворачивал тоненькую стружку. Старик молчал. Потом опустил топор, усы шевельнулись.

— Кто же бабьят вам будет перевозить? Тоже на пароме округ не всякая захочет киселя хлебать...

И опять топор затюкал, заворачивая тоненькую стружку.

Маленькие глазки монаха забегали огоньком, потом опять глядели холодно-враждебно, и лицо было спокойное и жесткое.

— Хулу возводят на ангелов господних, не токмо на иноков. а только ежели ты...

— А... самим вам заводить перевоз не покажется зазорно? Вишь, я вам и пригожаюсь. Ну,

полиция-то станет брать, что ж, придется обсказать, как Марьянку-то вытащили из воды, бросилась топиться... Чай, знаешь?

Чернец побагровел и ринулся к деду:

— Т-ты... старик! — Потом сдержался и холодно проговорил: — Язык-то попридержи, старина, попридержи. Даром-то тебе не пройдет...

И пошел, черный и грузный, тяжело вытаскивая ноги из песка, пошел к лесу.

Лето было сухое и жаркое, и, должно быть, от суши по ночам стояли зарева.

С вечера небо бывало бархатно-черное, а к полуночи начинало заниматься, сначала смутно и неясно, а потом разрасталось, и из-за леса глядело зарево, багровое и колеблющееся. Было молчаливо-зловещее в его мертвом шевелящемся взгляде.

А потом понемногу тускнела чернота в другом месте, и смутно нарождался красневший отсвет, и разрастался, и глядел из-за черного края, багровый, мертвый и шевелящийся.

И потонувшие среди ночи горы, и невидимая река, и глухой лес, и монастырь, который стоял во мгле, и слабо плывшие по темной воде глухие темные звуки колокола — все казалось слабым, маленьким и ничтожным перед этим немым, багровым, стоявшим на небе ужасом.

Черное небо пылало в разных местах, но здесь, внизу, по-прежнему было немо, неподвижно, молчаливо, темно и жутко.

Старик много раз вылезал за ночь из избушки, и его темная фигура долго чернела среди молчаливой ночи перед молчаливо, зловеще, ничего не освещая, глядевшим заревом.

Вставала ночь далекого прошлого... Бушевал

ураган огня, носились освещенные галки, голуби, дико ревела, задыхаясь в дыму, скотина, метался обезумевший народ. Огонь пожирал, извилисто облизывая, избы ласково-проворными светящимися языками, и зарево охватывало полнеба, но в овраге, где он сидел, глядя из-под насупившихся бровей приподнятыми очами, было темно и немо, как здесь.

Старик глядел на эти неподвижно стоявшие багровые зарева из-под насупленных старых бровей и приговаривал:

— Ага, монастырские экономии полыхают... Дóбре, дóбре, ребятки! «Тогда не осталось камня на камне, и самое место вспахано...» Дóбре, ребятки!..

Раз старик спал чутким сном, и кто-то сквозь сон толкнул: «Скорее!..»

Он вскочил, выбрался. Насторожившаяся ночь темна и тиха, в разных местах зловеще стоят зарева. Он нагнул голову, прислушался — никого. Смутно темнел обрыв, над ним деревья.

И, отвечая предчувствию и темному ожиданию, хрустнул одинокий звук наверху, в лесу. Упала ли веточка, прокрался ли заяц, или шарахнулась неуклюжая сова... Опять повторился. Захрустело, затопало. Кто-то бежал, приближаясь торопливо. Посыпалась глина. Мелькнули фигуры — один, другой... Скатились с обрыва — и в темноте перед Афиногенычем стоят два парня, тяжело, быстро и прерывисто дыша:

— Вези скорей!

— Откеда?

— Из монастырской экономии.

Слова падают коротко, быстро, отрывисто, с особенным, помимо формального, значением.

И старик не спрашивает, идет к избушке, берет весло, и они спихивают и садятся в каюк. Берег темно расплывается. В носу говорливо бьется вода, бурлит весло. Лодка неподвижна среди ночи, среди реки. И кажется — это продолжается долго, бесконечно долго, и кажется — только отошли, а над головами черно нависли уже невидимые, но ощутимые громады. Лодка ткнулась о другой берег.

— Прощай, дядя!

Опять говорит в носу говорливая вода, а лодка стоит среди темной ночи, среди темной реки, в виду молчаливого багрового зарева. Чудится — все затаилось, примолкло, потонуло в густой мгле, в чутком напряжении ожидания развертывающейся огромной немой драмы. Точно гигантская завеса кроваво вздрагивает и шевелится, охватив полнебосклона, и вот разверзнется, и понесутся крики, и звон, и вопли, и смятение ужаса караемых. Так было в ту последнюю ужасную ночь, когда бущующее пламя пожирало избы, скот, людей...

И была тиха темная река, темная ночь, только темное небо багрово светилось.

Вернулся Афиногеныч, вылез из каюка, вытащил его до половины, прислонил весло и забрался в избушку на сухое душистое сено.

Не спалось. Поминутно прислушивался. За плетеными стенами кто-то шуршал, ходил и хрустел сучьями над обрывом. Но когда выставлял голову наружу, по-прежнему было темно, тихо, невозмутимо.

...Раз почудился как бы выстрел, далекий, глухой и зловещий, и снова тихо. Старик опять послушал: может быть, свалилось подгнившее дерево или плеснула большая рыба? Звуки, тонувшие

прежде в ночной тишине, теперь странно и чутко выступали, и ухо жадно ловило.

Опять в лесу захрустело отчетливо и ясно. Слышно было — громко, смело и не таясь хрустели и ломались сухие ветки, и чьи-то тяжелые спешащие шаги отдавались по сухой, крепкой земле. Старик хмуро улегся и не подымал головы.

Уже слышны голоса, крики и переговариванья нескольких человек.

— Да тут голову сломишь!

— Спущаться тут никак нельзя.

— В объезд.

— Да куда в объезд... Темень, зги не видать, бездорожно.

Раздалось фырканье лошадей.

— Лошадей оставим наверху. Спущайтесь сами.

Посыпалась глина, захрустел песок. В стенку раздался удар, — вся избушка затряслась.

— Эй, ты! Выходи... Выходи, что ль...

— Ась?.. Кто там?

— А вот я тебе покажу.

Двери сорвались, и темное отверстие кто-то загородил. Чиркнула спичка, на секунду осветив развешанные сети, сено, старика... И опять глянуло темное четырехугольное отверстие дверей. А за стенкой голос:

— Один, никого нет.

— Эй, вылазь!

Старик выбрался и стоял перед ними угрюмой темной фигурой. Их было пятеро.

— Ну-ка, старый хрен, давай лодку, вези на ту сторону. Тебе говорят...

— Кого зараз перевозил?

— Никого.

— Брешешь. Ну-ка, свети, Миколай.

Вспыхнул пучок сухого хвороста. Пламя трепетало, и трепетали и скользили живые тени. Казаки, нагнувшись, шаг за шагом рассматривали истоптанный песок.

— Вишь, следы, прошли только.

— Что же ты брешешь, сучий сын?

— Мало ли народу утром в монастырь к обедне переправлялось.

— Ну, ну, заговаривай зубы. Садись, ребята.

— А лошади?

— С лошадьми нехай Иван на перевоз скачет. — И, обернувшись к обрыву и приложив ладони ко рту, зычно крикнул: — Ива-ан! Выезжай на дорогу да лупи к парому. А там выедешь, валяй к Сухой Балке, там жди.

Шарахнулась во тьме ночная птица, а с обрыва донеслось:

— Слушаю!

И стал доноситься удаляющийся ночной топот.

— Ну, ты, чертова кукла, вези!..

Они все подошли к лодке...

— Далече не уйдут... тут деться некуды.

Старик положил в каюк весло, попробовал ногой, крепко уперся в песок, навалился плечом и сделал огромное усилие разом спихнуть и далеко оттолкнуть лодку в глубокое место, вскочить и уехать. Каюк скрипнул о песок и всплыл, тихонько покачиваясь у самого берега. Нет, старик, прошла молодость, прошло время, прошла сила... Он вздохнул, угрюмо придерживая колыхающуюся лодку.

Сели. Весло бурлило в темной воде.

Афиногеныч все посматривал в темноту, в ту сторону, где был монастырь. И стало ему чудиться, что среди тьмы мутно проступают его очертания.

Пятеро тихо сидели, крепко держась за мокрые борта, у самого края которых влажно чувствовалась колеблющаяся вода.

— Ну, ты, сыч, греби, что ль... заснул!..

И в ответ над рекой пронесся хищный крик:

— Проснулся!!.

В ту же секунду темная фигура старика метнулась в сторону. С шумом бурно устремившейся через борт воды слился крик отчаяния пятерых людей. С минуту слышались всплески нечеловеческой борьбы, потом стихло.

Старик с усилием плыл. Одежда все больше намокала и тянула ко дну. Вода влажно и настойчиво вливалась в рот, руки с трудом подымались. В глазах замотались огненные мухи. С нечеловеческим напряжением, глотая страшно вливавшуюся воду, взмахнул раз... два... и перестал грести.

Река по-прежнему была тиха и спокойна. Но среди ночи, среди неподвижной тьмы стали выступать залитые розоватым отсветом монастырские стены, башенки, колокольни. Стали выступать розоватые верхи прибрежных гор, как розовым шелком, чуть подернулась река, — небо пылало от черной угрюмой линии горизонта до зенита, все было залито багровым заревом.

1907

СОПКА С КРЕСТАМИ

I

Что бы ни делала, смеялась ли, или шла по улицам, болтала в гостях, читала, или открывала щурящиеся от утреннего света глаза, всегда один и тот же постоянный, не теряющий своей болезненной остроты, не ослабляемый временем вопрос вставал: а *он?*

Покрывалась земля снегом, белели крыши, верхушки фонарей... а *он?* Стояли в цвету яблони, пахло зацветающей сиренью, дымилась черная отдохнувшая земля... что-то с *ним?* Жгло полуденное солнце желтеющие поля, блестела знойным блеском река. Но над *ним* такое ли солнце?

Годы проходили неумолимо и безжалостно, все менялось, но все то же оставалось: «А *он?*»

Для других она была высокая, стройная девушка, со спокойными глазами, с большим, оттягивавшим головку узлом каштановых волос, себя она чувствовала упруго сжатой вокруг одной мысли, одного представления.

Но никогда не могла она представить его себе таким, каким он должен был быть теперь: выбритая наполовину голова, серый халат, тупо и мертво

звучащее железо... Представлялся он, как тогда, стройным и подвижным, открытое, смелое лицо и молодые, полные жизни глаза.

Уже три года... Становилось страшно, что так же пройдет вся жизнь. Каждый день убегал, заполненный тысячами забот, дел, разговоров, мыслей, улыбок, ничего не изменяя.

Раз в год или в два она получала от *него* несколько строк. Это был маленький серый клочок плохой, почти оберточной бумаги, с вкрапленными кусочками соломы, с пушисто и неровно оборванными краями, захватанными, со следами пятен от пальцев. Должно быть, через много тайных рук проходил этот клочок, прежде чем попасть в конверт и на почту.

Часами глядела она на этот клочок, и странно было, что светит солнце, стоят дома, мчатся экипажи, что жизнь льется, равнодушная и слепая, как будто не было этого серого, измятого, тщательно расправленного клочка.

Несколько сухих и холодных строк — беглой, знакомой рукой. Он говорил, что здоров, просит не беспокоиться и — главное — жить, жить своей полной жизнью, не заботясь о *нем.* И не было в них ласки, нежности, намека любви. И эти сухие короткие строки звучали, как похоронный звон...

Уходили дни, месяцы, годы, принося свои заботы, дела, интересы, и все то же жило болезненное, бессознательно-смутное воспоминание.

II

Нет водоема, который бы не иссяк, нет гор, которые не были бы размыты, нет раны, которую бы не затянуло.

Молодость просила счастья, ласки, любви; светило солнце, и весна приходила каждый раз новая, непохожая.

Прошлое тускнело, как далекие очертания покидаемого края, жизнь несла только настоящее.

И голоса товарищей, смех, повседневные дела, милые, ласковые глаза, мысли, книги — все оплетало невидимой и прочной паутиной.

Бурлил самовар, сидели вокруг стола с молодыми лицами. Звучал смех, или загорался спор.

— Вы висите в воздухе...

— Нет, это вы висите в воздухе с вашей оторванностью от народа, от русского народа, от индивидуальности, от национальных особенностей народной жизни...

— На мужике держится весь уклад рабства и угнетения...

— Господа, а из Акатуя побег...

— Да, да, постойте-ка... у меня письмо оттуда...

— Ну-у?!. Когда?.. Каким образом?..

— Да уж с неделю... один из ссыльных привез...

— Что же вы раньше-то... что же молчите?.. читайте.

— Читайте, читайте!

Сосредоточенно достал бородатый из бокового кармана неуклюжий, серый, в несколько раз сложенный и мелко исписанный лист, осторожно разложил на столе, как будто это была страница, вырванная из священной книги, и начал хриповатым, глухим, но везде отдававшимся голосом:

«...нет, милые друзья, не надо утешений, надежд, подбадриваний. Какие бы слова ни говорить, какие бы ни приводить соображения, как бы ни изменялись события, все холодно и спокойно покрывается: «Но ведь вечная!..» В окно мне смо-

трит кусочек неба да белеет вершина сопки, а на ней чернеют кресты: туда таскают окончивших срок. И мой срок кончится там. И для меня одна дорога — только туда... Но я одного прошу, умоляю: ничего не говорите Кате. Пусть она живет, пусть любит солнце, счастье, жизнь. Ее образ я ношу в сердце своем днем, ночью и засну последним сном с ее именем. И когда смертельная, пожирающая тоска наваливается и я хочу убить себя, я вспоминаю ее милые спокойные глаза, и... живу. Зачем?..»

Лежали, навалившись грудью на стол, не спуская глаз с чтеца, сбившись тесной кучей, придерживая дыхание. Но отдельно от всех из темного угла сверкала пара глаз. Как будто не было человека, не было платья, рук, прически, не белело лицо, только играли фосфорическим блеском ни на секунду не тухнущие глаза. Горячечным блеском глядели они поверх голов, поверх чтеца, поверх громадных пространств, туда, где немо, неподвижно и мертво ожидала сопка и чернели кресты.

Тихонько встала, оделась и вышла. Ничего нельзя было сказать нового, уже ничего нельзя было добавить. Кто-то мертвыми, холодно-синими губами сказал: «Аминь». Сопка с чернеющими крестами...

Так вот почему суровы и коротки были его письма к ней, вот почему не вырывалось ни одной жалобы, ни стона, — мертвые оставляют жизнь живым.

И она оглянулась и вздохнула вздохом облегчения... Все остановилось: солнце, люди, экипажи, шум улиц. Уже не придет весна обновляющей новизной. Жизнь остановилась на роковых словах недочитанного письма.

III

Она не знала, как устроится, как будет действовать, не было никакого опеределенного плана, но стук колес под полом, убегающие столбы, поля и далекий горизонт говорили, что с каждой минутой, с каждой секундой сокращаются тысячи верст, которые отделяют от *него*.

Проходили ночи, томительные, долгие, с колеблющимся, неверным полумраком, с мерцающей свечой, с двигающимися по сонным лицам, покачивающимся стенкам и потолку тенями, с немолчным говором колес. Проходили дни еще более томительные, с несвязными дорожными впечатлениями и разговорами, с забывающимся гулом и стуком, к которому привыкло ухо и который ощущался только в молчании, когда поезд стоял на станциях. А впереди лежали целые недели и тысячи верст пути.

И среди скучного однообразия одним немеркнущим представлением упрямо стояла сопка с крестами. Угрюмая, одинокая, она заслоняла будущее, прошлое, заслоняла мысли, соображения, предстоящие неодолимые препятствия, стояла, заслоняя небо, одна во вселенной, молчаливая, немая, с непокрытой тайной.

Поднимала глаза, с изумлением глядя на привычно проходящих кондукторов, на потные лица пассажиров, прислушивалась:

— ...да-а, святитель Прокопий лежит в самой дальней пещере. Пять годов назад была, к ручке прикладывалась, а нынче пришла, ручки уже нету, почернела, земле предалась...

— Земле предалась...

— Земле, стало быть, предалась!..

И покачиваются подвязанные платками голо-

вы, и глядят наивно, тупо внимательные бабьи лица. Лавры, монастыри, монахи, золотящиеся при закате кресты — все это встает огромной громадой чудовищной жизни, которая клубится, развертывается и творит свое, в которой нет места сопке с крестами.

Поезд катился среди равнин и лесов, через реки и луга, между гор, обрывов, через ущелья и перевалы, и казалось, что он несется в другую сторону, что расстояние все больше и больше ложится между ним и сопкой.

Но когда носильщик снес вещи на вокзал небольшого городка в самом сердце Сибири, усталость и равнодушие вдруг охватило неодолимой сонливостью.

В крохотном номерке нечистой гостиницы спала крепким, тяжелым сном, а когда просыпалась, все те же глядели в окна деревянные крыши домов, все те же тянулись по бокам улиц деревянные тротуары, все так же хмуро, ровно и серо висело серьезное, молчаливое небо. И люди были чужие, и прислуга, подавая самовар, как бы говорила: «Нам все равно...»

Сопка с крестами затерялась и пропала. Со всех сторон стояло чуждое, молчаливо-враждебное. И надо было начинать, и жизнь потянулась.

Обмахиваясь веером, она сидела в цветнике нарядных дам и девиц, и красная роза дрожала на ее груди. Было, как всегда бывает на балах: мягкие звуки музыки, много света, воздушные пляски, декольте, цветы, фраки, мундиры и бальные, праздничные лица, так же обязательные, как и роскошные платья. И, положив руку на черное плечо и слегка отвернув голову, шла в мягком,

томительно медлительном танце, и зал, пестреющий цветными красками людей, медленно плыл по огромному кругу.

К ней то и дело подходили во фраках и мундирах, и она много танцевала, и много завязывалось новых знакомств, и всем отдавала милую улыбку, и спокойно и грустно глядели глубокие черные глаза.

В шуме и пестроте бальной жизни фразы принимали иной, больший, чем содержали, смысл, лица казались значительнее, и временами боязливо вспыхивало сознание, что, быть может, это и есть настоящая жизнь, быть может, железный порядок вещей требует пользоваться жизнью таковой, какой она дается, — ни молодость, ни время не ждут.

Но когда возвращалась домой и, полураздетая, с поникшей головой, задумчиво стояла над кроватью, медленно и неуклонно слезала мишура с бальной музыки, с цветов, с яркого освещения, с бальных разговоров, с бальных лиц. Угрюмо и одиноко стояла сопка с крестами, заслоняя весь мир.

Но почему смысл жизни — в этом угрюмом, без красок, холодном, одиноком, полном тоски и отчаяния?

Почему?

Ответа не было. Молча и немо стояла сопка.

Жизнь складывалась из кусочков, без плана, без определенно поставленной ближайшей цели, с постоянным и смутным сознанием, что в конце концов куда-то придет, устроится, что-то будет достигнуто, и она увидит дорогого человека. А дни уходили за днями, месяцы за месяцами, кончался год.

Она добилась известного положения в городе в качестве учительницы, и время все было заполнено. И опять постоянные заботы, дела, работа стали затуманивать память о нем. Тысячи нитей повседневно снова опутывали и оплетали. Она не давалась и по ночам, глядя в темноту, горько думала о своем бессилии что-нибудь предпринять и перебирала тысячи планов увидеться с ним, но приходил шумный, пестрый, требовательный день и опять все отодвигал и затуманивал.

В ее отношениях к людям была постоянная двойственность. Они забирали все внимание, силы, напряжение, но в шуме и сутолоке постоянно жило несознанное ощущение, что это пока так себе, а настоящее где-то впереди, в будущем, подернутое смутной дымкой, точно раскинулся немолчный крикливый бивуак, который в конце концов снимется, и все кругом опустеет и замолкнет.

В этом городе, куда на зиму съезжалась приисковая знать, где были многочисленные представители административных учреждений, зима проходила шумно и весело. Балы, вечера, рауты. И в их чаду она чувствовала силу женского обаяния. Это проснулось незаметно.

И в студенческой среде девушка чувствовала себя женщиной, но это тонуло в милых, мягких, товарищеских отношениях, тонуло в обилии умственной работы, мысли. Здесь же, среди золотой молодежи, среди тузов золота, важных чиновников, она чувствовала себя нагой, сильной только как женщина, как мраморная статуя.

— Но скажите, пожалуйста, что вас прельщает в этой беготне по метеорологическим станциям?

У него выхоленное лицо, мундир, крупные брильянты в перстнях.

Она чуть усмехается.

— Я же состою членом географического общества... мне поручаются научные работы.

— Ба!.. Наука!.. Наука для старцев, для тех, кто вышел в тираж, для вас — свет, удовольствия. Нельзя себя закапывать в запыленные фолианты...

— Но ведь...

— Представьте же, если бы цветы стали рубить, как капусту, в борщ... Ха-ха-ха... Что было бы...

— А у меня к вам просьба.

Он предупредительно привстает и кланяется.

— Приказывайте!

Она смотрит, и ее черные, спокойные, дремлющие в глубине глаза говорят с тем особенным девическим цинизмом целомудрия, недоступности и чистоты: «Видишь, молода, крепка, стройна... упруга девичья грудь и нежны губы, еще не знающие поцелуя, но мне решительно до тебя нет дела, и ты не позволишь себе ни намека на вольность». И она чувствует, как этот немой, постоянно звучащий в ее фигуре язык раздражающе-упруго отделяет от нее мужчин, постоянно притягивая их к ней.

— Видите ли... как раз по поводу ненавистной вам науки.

— Для вас я готов сделаться ученым и мудрецом.

Глаза лукаво смеются.

— Ну-ну... не сразу... Мне необходимо совершить ряд поездок с научной целью. Но вы ведь знаете, как относятся в глуши к научным работам и наблюдениям, особенно если это женщина... вот даже вы...

— Помилуйте, вы не так меня поняли... напро-

тив, меня чрезвычайно интересует... Словом, приказывайте, все сделаю, что в моей власти.

— Я попрошу вас, — она говорит спокойно-приказательно, — я попрошу вас... нельзя ли будет выдать мне открытый лист для поездки и... и маленькое... маленькое обращение в нем к властям большим и малым о содействии, чтобы помогли ориентироваться. Вообще ведь трудно, ничего не знаю...

Он подумал. У нее замерло сердце и почти не билось.

— Н-да!.. Надо будет вас представить губернатору. От него зависит. Я все устрою, — говорил он решительно и с таким лицом, как будто хотел сказать: «Видишь — для тебя я все делаю».

А она спокойно глядела глубокими глазами с таившейся насмешливой улыбкой в углах и как бы говорила: «Знаю, но мне решительно все равно, и между нами по-прежнему такое же расстояние...»

И эта особенная власть женской молодости бессознательно наполняла ее ощущением некоторой гордости и смутного пренебрежения и брезгливости к окружающим. Пока она молода и красива, обычные, обязательные рамки человеческих отношений странно для нее раздвигаются.

И она была представлена губернатору. Бодрый старик, с неизменным выражением своего особенного положения, любезно согласился на просьбу.

IV

Снег сверкал и искрился. Он сверкал и искрился везде, куда доставал глаз: и по крутым увалам белевших сопок, и по лощине, и редко мелькая и падая в воздухе брильянтами. Скучно и

сосредоточенно бежали гуськом лошади, выворачивая и поблескивая отбеленными подковами, пошатывая крупами, потряхивая думающими головами, бежали и думали свое, такое же однообразное, как эта бесконечно бегущая, скрипучая дорога.

Мороз лежал на всем, густой, тяжелый, прозрачный, и снежные очертания были жгучи.

Молчаливая пустыня раздвигалась скупо, отовсюду волнисто загораживая снежными искрящимися линиями, и язык молчания спокойно и холодно говорил, что нет места здесь живому. Не дымились трубы, не темнели избы, стлался только иссиня-сверкающий снег. Да мелкой щеткой по белизне склонов темнели леса, но и там, должно быть, было пусто и мертво — ни зверя, ни птицы, ни дыхания.

Два человека чернели среди громадной, молчаливо думающей пустыни в кошеве[1], быстро скрипевшей по снежной дороге.

— Нно-но, милая!..

Взмахивал кнутом, дергал вожжами, и мысли и настроения у него были такие же однообразные, как эта дорога, как бело встававшие и угрюмо загораживавшие горизонт с обеих сторон горы.

Женская закутанная фигура молчаливо встряхивалась и покачивалась на ухабах. Тысячи мыслей, представлений, воспоминаний.

— Ямщик, скоро?

— Скоро, скоро, барышня, ско́ро... поспеем.

Усилием воли она отодвигала вздымавшиеся вокруг горы, и ей чудилась сопка с крестами, особенная, не похожая ни на одну гору в мире. И стояла она, огромная, таинственная, касаясь

---

[1] К о ш е в а — сани.

белой вершиной небес. И черною ратью покрывают ее кресты. Они густо чернеют, как лес, молчаливыми стражами потухших жизней, похороненных страданий.

Толчок, ухабы, сани прыгают, лошади все так же помахивают думающими головами, все так же холодно искрятся ослепительные сопки.

И вдруг что-то дрогнуло, и по сверкающим отлогостям метнулась в глаза живыми пятнами красная кровь. Кто-то гигантский разбрызгал ее по горам, и она густо окровавила холодные снега. Глаз, отдыхая, останавливался на бледно-розовых пятнах, которые теперь казались не кровью, а нежными чайными розами. Среди мертвых морозов, мертвых снегов, среди молчащей пустыни чудные розы говорили о далекой весне, о ласке тихо сверкающего теплого моря, о благоухании томящих ночей.

И чудилось, что *он* ходит, улыбающийся, с ясным лицом, свободный, и радостно ждет ее, и розы устилают путь, душистые бледные розы. Он ждет ее, невесту свою, и больно и торопливо стучит сердце. Вырывается тихий вздох счастья, глаза полузакрыты. Полозья поют песню, тихо и радостно звучащую мелодию. Ах!..

— Ямщик, скоро ли?

— Скоро, скоро, барышня... Зараз вон за сопкой поворот... Поспеем. Все там будем, от своего не уйдешь...

Лошади по-прежнему покачиваются, обдумывают.

— Ямщик, что это красное по горам?

— Багульник, кусты, стало быть.

Только всего багульник. Нет роз, нет тихо поющего сверкания моря. Визжат полозья. Мороз, густой и тяжелый, лежит, иссиня-прозрачный, по

лощине, по сверкающим очертаниям гор... Багульник, голые безлистные красные кусты багульника!..

Все просто, все так же страшно просто, как там, в России, как в эти два года в сибирском городке, все просто, все на своем месте. Здесь стоит тот же железный порядок, которому подчинена вся жизнь.

— Вот и Акатуй!

Он показывает кнутом.

Она приподымается, она впивается горячечными глазами, впивается мимо полуразвалившихся, почернелых, как загнившие грибы, избушек нищей деревушки, впивается в сопку.

Но это самая обыкновенная, ничем не отличающаяся от других, занесенная снегом сопка, и десяток крохотных, игрушечных, покосившихся, полусгнивших, полуупавших крестов едва чернеет. Так просто, так обыкновенно и так страшно. Звон цепей, бледное, исхудалое, обросшее лицо... Все на своем месте, все в железном порядке.

Она тяжело вздыхает.

На самой вершине, вырезываясь на морозном небе, белеет благородный мрамор, в последних лучах золотится крест. Не памятник ли это бескорыстным порывам, не напоминание ли, что человеческое великодушие, любовь, самопожертвование молчаливо хоронятся в немой, холодной, равнодушной пустыне жизни?

Показывает кнутом:

— Барин похоронен, декабристом прозывается.

Полуразвалившиеся, слепые избушки позади. Вот и дом начальника тюрьмы — свежий сруб, новая тесовая крыша.

Дальше в полуверсте рядами застроенных

бревен смотрит в небо палисад тюрьмы. Едва видна из-за него длинная неуклюжая, приземистая крыша, как чернеющая спина допотопного животного, в тяжелых лапах которого в муке бьются люди...

Так просто, так обыкновенно!..

— Господина начальника нету дома, они уехали. Они будут завтра утром. Вы пожалуйте в комнаты, я зараз велю самовар поставить.

«Ведь *он* здесь... здесь... всего сто шагов...»

И ей хочется рвануться, броситься, бежать туда, кричать из-за палисада, но вместо этого садится за накрытый стол и берет чашку горячего дымящегося чаю. Женщина с круглым лицом в темном платье стоит возле, сложив руки и не спуская глаз с гостьи.

— Гляжу я на вас, из России вы... Как-то там теперь?.. И-и, боже мой, хоть бы одним, одним глазком посмотреть...

Слезинка тихонько сползает по щеке.

— Вы давно здесь?

— Четвертый год.

— Что же вы стоите? Садитесь.

— Нет, я постою... Нас презирают на таком положении.

— Вы служите?

— Нет... — она густо краснеет, — господин начальник взяли меня к себе... — И, отвернувшись и глядя в уже чернеющее густо надвигающейся ночью окно, говорит: — Я уголовная... Такое положение... Никуда не денешься.

А самовару все равно, он бурлит, бросает клубы пара или начинает петь тоненько и однотонно. Женщина стоит, темная, печальная, покорная. В комнате светло, уютно. В срубе стреляют бревна — на дворе крепчает мороз.

— Мальчонка у меня остался там, в России... Как забирали, трех годов был... «Мама, мама!..» Лапает ручонками... — Она рассказывает с тихой, сдержанной страстью, с затаенной дрожью. — Румяный, чистое яблоко... Бывало, ночью проснется, лап, лап: «Мамка, ты тут?..» — «Тут, тут...» — прикорнет и опять заснет, только носиком так печально подсвистывает: ти-и, ти-ти...

Часы бьют шесть, потом семь, а глухая ночь давно уж тянется, давно тянется под этот тихий печальный рассказ о далеком мальчике.

Самовар убрали. Темная женщина приготовила постель, пожелала покойной ночи и ушла. Девушка одна ходит по комнате. В трубе стреляет. Тут, сейчас за темнотой — *он*, милый, усталый, ждущий покоя... И сопка с маленькими покосившимися черными крестами ждет...

— Ах, ничего, ничего не выйдет!..

Хрустят тонкие пальцы.

В тоске, в смертном томлении она мечется. Все то же.

Набросив платок, осторожно и тихо выходит в темные морозные сени. Промерзшие окна глядят фосфорическими пятнами. Тишина, пропитанная тьмой и морозом.

Тихо полуотворила наружную дверь. По ногам тянет леденящий холод. Напрасно силятся глаза пробиться сквозь стену тьмы, — непроглядная, она стоит непроницаемо. Невидим, но осязается потонувший в морозной тьме палисад, там — люди, там — *он*.

Зубы стучат неудержимой мелкой дрожью, трясутся колени, закоченели ноги, застыли руки, льется морозный холод, а она все стоит и глядит во тьму сквозь щель приотворенной двери. По-прежнему мертво-тихо.

Тянутся минуты, может быть, часы, она не знает.

Нарушая густоту мглы, в черной глубине ее шевельнулось живое желтое пятно. Колеблясь, тусклое и мутное, как зарождающаяся жизнь, оно неровно и тихонько передвигается, и нельзя сказать, вперед, или назад, или в сторону.

Девушка, крепко вцепившись окостенелыми пальцами в холодный косяк, не спускает глаз с колеблющегося желтовато-мутного пятна. Кругом мертвенная пустота и первозданный холод, там — трепетный зародыш жизни и дыхания. И она с замиранием сердца следит, — вот-вот потухнет.

Кончено... мрак, пустота, холод...

Снова слабо брезжит, и желтовато колеблется, и борется с надвинувшейся отовсюду черной слепотой ночи.

Теперь ясно можно различить: неровно, несмело подвигается сюда. Только отчего с такой болью, с такой смертной мукой толчками бьется сердце?.. Если б перестало биться, если б потухла тоска!..

Огонек лучится, и по снегу скользит желтовато озаренный кружок.

Люди.

Никого не видно, но нет сомнения — они идут сюда. Дозор, или патруль, или идут с докладом к помощнику.

Огонь фонаря от ходьбы колышется, прыгает, нервно скользя светом по снегу. Скрипят шаги. Ближе и ближе.

Впереди вырисовывается чернее мглы фигура. Покачивается на ходу тяжело и злобно. Лицо, грудь, ноги и руки выступают плоской чернотой, точно вырезаны из картона. Но сзади фонарь освещает серую спину, затылок, мохнатую папаху

и колыхающийся на плече, поблескивающий штык. Второй идет такими же большими тяжелыми, сердито топчущими скрипучий снег шагами. В руках фонарь. Свет его старается все заглянуть в лицо, должно быть, угрюмое, в глаза, должно быть, суровые и мрачные, но никак не может достать и только скользит по серой груди шинели, по вспыхивающим пуговицам, по обшлагу рукава.

Третий...

— А-ах!!

Крик, пронзительный, звенящий, вырывается из груди ее, колышет холодную густую мглу, разносится среди ночи, будит спящих, зажигаются огни, бегут люди... нет, это — беззвучно шелестят сухие губы, как свернувшиеся от мороза листья, и кругом мертво и черно.

Он идет, слегка нагнув голову, и как раз таким, каким она его не могла себе представить, — в длиннополом арестантском халате, с обросшим, бледным, исхудалым лицом. Милые знакомые, незабываемые черты. И чтоб помочь ей, фонарь, колеблясь, взглядывает временами ему в лицо желтым пятном... нос с горбинкой, грустные усталые глаза...

Она впивается ногтями в прокаленное морозом дерево... Жених идет к невесте, розы алеют по сверкающей белизне, поет тихое сверкание моря о благоухании томящих ночей... Нет, это слегка позванивает железо кандалов, и *он* поддерживает их рукой.

Из-под ногтей брызжет кровь...

Они проходят в двух шагах от крыльца, верно слышат биение ее сердца, проходят так мучительно близко, что она кричит: «Милый!» Нет, это крик истерзанной души, истомленного любящего

сердца, а губы только шелестят, как свернувшиеся от мороза сухие листья: «Я — здесь...»

Они останавливаются во тьме, шагах в десяти, странной таинственной группой, и фонарь, шевелясь, выдвигает из тьмы то руку, то бородатое лицо, то ружейный приклад, придавая еще больше фантастичности этим людям, так таинственно вне тюрьмы в неурочный час стоящим среди чуть мерцающего снега.

Подняли фонарь, и, скользнув в темноте, легла полоса света по смутно уходившим вверх столбам, и вверху были перекладины.

В щели приотворенной двери в ужасе застыли глаза... «Помогите!.. постойте!..»

Он подымается по лесенке, подобрав халат и поддерживая одной рукой кандалы, неверно озаряемый фонарем. Люди в серых шинелях сурово стоят тут же со штыками наготове, ждут... Минуты, вечность смертной тоски... *Он* вздрагивает и на секунду оборачивается по направлению застывших глаз. Все — молчание, все — тьма, потом подымается еще на две ступеньки.

Полоса света передвигается. Смутно белеют приборы в метеорологической будке.

Он спускается, и они идут назад в молчании, с неровно и скупо освещающим фонарем в том же порядке, — впереди солдат, надзиратель, потом *он,* в халате, с усталыми глазами, опущенной головой, и солдат замыкает шествие. Они проходят в двух шагах от крыльца, тихо позванивают цепи. Потом фигуры становятся чернее, смутнее, сливаются и тонут в холодной черноте, только фонарь колышется и светит. Потом — смутное, неясное живое пятнышко среди океана мрака, и... все.

Она перестала дрожать и стояла, не чувствуя застывших рук, ног, не отрываясь, глядела в

бездонную тьму, не отрываясь, слушала, но было мертво-тихо.

Отдирает закоченевшие руки, дует на деревянные пальцы, тихо с печальным морозным скрипом притворяет дверь и входит в чуждую, молчаливо освещенную лампой комнату.

Девушка ходит, ходит, ломает негнущиеся деревянные пальцы, бормочет, останавливается и долго смотрит в белесо-темное обмерзшее окно. И опять ходит, жестикулирует или падает в подушку лицом и кусает ее, чтобы заглушить рвущиеся рыдания, и все больше и больше смачивается слезами полотно наволоки.

Нельзя кричать, нельзя проклинать людей, судьбу, и она ходит, ходит. Все совершается в железном порядке, и время течет с тою же железной медлительностью и необходимостью.

Одиннадцать, двенадцать... три, четыре, пять часов, все — ночь, все — тьма. И не смыкаются глаза, нет усталости, нет забвения. С железной необходимостью надо жить, надо понимать, надо чувствовать.

— Господин начальник приехал и просят вас к ним.

Брезжит мутное, промерзшее, иззябшее утро. Она торопливо взглядывает в зеркало и отшатывается: глядит белое, чужое лицо.

Огромное усилие, и она спешно плещет студеной водой, поправляет прическу, капризно выбивающийся бант на шее, и тогда из зеркала глядят сияющие глаза, ибо чисто омыты слезами, на щеках алеют розы тоски и надежды, и длинны печальные тени черных ресниц.

И она входит, стройная и сильная, с знакомым напряженисм женского обаяния.

Начальник стоит у стола с бумагами, с солдатским, неуклюже красным лицом, в мундире и с несходящим выражением строгости, непреклонного, раз заведенного порядка. Но когда она подходит, и он жмет маленькую стройную руку, и в его глаза глядят сияющие из глубины глаз звезды, и алеет на щеках румянец, к выражению на его лице, что он строг и неукоснителен по службе, что не может быть речи ни о каких отклонениях от заведенного порядка, что здесь — каторга, и это так и понимать надо, — к этому раз навсегда застывшему выражению примешивается новое: что она появляется среди этого гиблого места, как цветок среди пустыни, и что он ее внимательно слушает.

— Чем могу служить? Садитесь, пожалуйста.

«Да, я понимаю, — говорит она свободными легкими движениями, — я понимаю, здесь каторга... И все-таки я красива и молода...»

— Я здесь в качестве члена географического общества. Видите ли... Вот открытый лист.

Он берет протянутую бумагу и читает, не то удивленно, не то внимательно подняв брови. И постепенно привычное выражение слегка меняется, и в него входит новое выражение, что и она с этого момента включается в тот неуклонный порядок, представителем и слугою которого он здесь является.

— Так-с... содействие... Но чем я могу быть полезен?

— Среди других моих научных наблюдений... мы... — она подыскивает слова, — мне поручено, между прочим...

Натянутая струна тонко звучит, каждую секунду готовая лопнуть...

— ...в данный момент мне необходимо собрать

данные и наблюдения метеорологических станций, такие данные, которые не укладываются в обычные цифровые отчеты... Между прочим, меня чрезвычайно интересует вопрос: производятся ли у вас глубоко почвенные термические измерения? Ведь у вас тут рудники и метеорологическая станция?

Официальное выражение понемногу сползает с его лица, глазки сделались маленькими и глядят щелочками.

«Кончено!..» — бьет молотом... Застывшая темная ночь, длинный арестантский халат, поникшая голова, усталые печальные глаза... «Кончено!..» Она опускает ресницы.

В комнате дрожит смех, раскатистый, веселый.

— А не боитесь вы ездить одна? А?

— Чего же бояться?

— Н-но... Все-таки... Нда-а. Пойдемте-ка чай пить.

Он подымается, ловко щелкает каблуками и пропускает ее вперед. Она идет, как сомнамбула, среди мертвого холодного тумана... «Ручка земле предалась... земле, земле предалась... почернела... рассыпалась...» Ночь и усталые печальные глаза... А на губах улыбка, в глазах звезды, и на щеках играет румянец...

— Я вам должен откровенно сказать: в метеорологии смыслю столько же, сколько сазан в Библии... Хе-хе-хе!..

— Но позвольте, у вас же метеорологическая станция, и вы заведуете ею.

— Вот то-то, что не заведую, а заведует тут политический каторжанин... вечный.

Она смотрит на него широко раскрытыми глазами, как будто слово «вечный» слышит впервые и впервые понимает весь ужас его.

— Два раза в день, утром и вечером, под конвоем его водят в будку тут в десяти шагах. Так вечно и будет ходить, десять, двадцать лет...

Десять, двадцать, тридцать лет — ночь, поникшая голова, усталые глаза, фонарь...

Ей трудно дышать, но по-прежнему улыбка на губах и играет румянец.

— Его превосходительство господин губернатор также в том ученом обществе?

— Как же. Подпись его вы же видели. Он — почетный член.

— А не знавали ли вы чиновника особых поручений при губернаторе, Арсеньева?

— Да, знакома... На вечерах танцевали вместе... Отлично танцует.

— Он, изволите ли видеть, сватался за племянницу моей свояченицы... С положением человек...

Они степенно и мирно беседуют об общих знакомых, о фаворитах губернаторши, и надо пить чай с печеньями, которые тут — роскошь, и нельзя сказать, нельзя напомнить о том, что наполняет все существо. Надо предоставить события естественному течению.

— Вы когда же думаете обратно?

— Сегодня же думаю... От вас зависит, как дадите нужные сведения. Я еще хотела спросить, не делаются ли у вас геологические изыскания при прохождении рудников...

— Но я, ей-богу же, ничего не понимаю... — взмолился полковник, подымая плечи. — Да вот я сейчас прикажу привести арестанта, заведующего... Эй, кто там?

Он похлопал в ладоши. Вошел надзиратель.

— Распорядитесь, чтоб привели номер трина-

дцатый... да с усиленным конвоем, — кинул он вдогонку.

Комната, окна, стены, самовар, стол куда-то далеко отодвинулись, сделались маленькими и неясными; о чем-то говорили, и голоса ее и его доносились издалека, слабые и тонкие. Надо было крепко сидеть и делать целесообразные движения, и нужно было продолжать говорить и впопад отвечать, и это странное состояние отделенности, отодвинутости от вещей, от реальной обстановки тянулось медленно и страшно.

И вдруг оборвалось стуком сапог и замелькавшими в глаза серыми шинелями.

Все произошло как-то уж очень просто. Сначала шум и топот, потом шесть пар солдатских глаз, шинели, приклады и...

Она не смела поднять глаз, а когда подняла, — в аршине от ее лица изумленно глядело знакомое, обросшее и теперь еще более исхудалое лицо, чем тогда, ночью.

Но что было самое страшное, это — смертельная белизна, которая стала его покрывать. Побелел лоб, выступили на белизне большие глаза, видно было, как стали белеть заросшие щеки, и тихо, чуть заметно вздрагивали побелевшие губы.

«Упаду!..»

И она чувствовала приторную слабость, охватывавшую ноги, руки и подступавшую к сердцу, тихо и редко бившемуся.

«Упаду, и все кончено!..»

И в смутном тумане прозвучал голос начальника. До нее дошел только зловещий звук слов, без содержания. И только секунду молчания спустя она поняла, что он просто сказал:

— Вот член ученого общества, состоящего под

покровительством высочайших особ, просит дать ей некоторые указания... Садитесь.

Подвинулась по полу табуретка, и по обеим сторонам ее обвисли длинные полы серого халата, а по полу чернели плохо обметенные от снега шесть пар громадных неуклюжих сапог.

Опять несколько секунд молчания.

— Вам позволите чаю?

— Пожалуйста.

Знакомый, невыразимо милый голос. В комнате раздражающе стоит высокое, торопливо-звонкое треньканье. Ах, это носик чайника трепетно бьется о край стакана. Она на минуту отнимает чайник и снова пытается налить, и снова звонкое треньканье. Нет, она не может налить ему.

Она ставит чайник на стол, глядит прямо в лицо и смеется. И он улыбается. И с обоих разом спадает удручающая, давящая тяжесть, и они начинают говорить друг с другом быстро, страстно, совершенно забыв обстановку, опасность быть каждую секунду открытыми. Они говорят о температуре, о давлении, о гигроскопических измерениях, о геологических напластованиях в рудниках, но в этом странном, причудливом, изломанном и непонятном разговоре они говорят о солнце, о счастье, о любви, о свободе, о покинутых, о друзьях, о погибших.

Начальник закуривает папиросу и смотрит на конец своего носа. Чернеют неуклюжие сапоги, тупо, как стена, смотрят шесть пар глаз.

Мысль, что *он* — тут, возле, что она говорит с ним, слышит звук его голоса, глядит в его милые, грустно радостные глаза, охватывает ее безумием... Броситься к нему, охватить его, обнять, целовать, гладить дорогое лицо, да ведь это — закон,

необходимый, ненарушимый закон мира, нарушение которого — преступление, проклятие, которое ничем никогда не стереть. И она сидит в полуаршине от него и говорит:

— Но ведь рудники прорезают же водоносные пласты?

Какая-то противоестественная сила с уродливой, бессмысленной, отвратительной головой стоит между их молодостью, их страстью, их яркой жизнью, стоит и слепо смотрит на обоих, смотрит неуклюжими, черными, плохо обметенными от снега сапогами.

И в комнате звенит странный, чужой, неуместный женский смех. Это она смеется, смеется неудержимо, нелепо, понимая, что губит последние минуты. Начальник с отвислыми мешками под глазами подымает брови, как уши у бульдога. Тупо смотрят неуклюжие сапоги.

...Снег сверкает и искрится. Он сверкает и искрится везде: по отлогостям гор, по лощине и изредка падающими брильянтами в воздухе. Сосредоточенно думают бегущие, потряхивающие головами лошади все одну и ту же думу, и визжат скрипучими голосами все одну и ту же песню быстро скользящие полозья, песню о смерти, о железе, о радости жизни, о любви, о тихом сверкании моря, о железном порядке мира, в котором всему свое место. И розы кровавеют по ослепительной белизне гор.

1907

ПЕСКИ

I

Он был стар, так же стар, как мельница, у которой крыша съехала на сторону и растрепанно нахлобучилась почернелой соломой.

Не мелькала белая пена, не неслась с шумом и грохотом вода, а чуть сверкала тоненькая жилка в желобе, стоявшем над землей на столбиках, и лениво, задумчиво-медленно поворачивалось старое, ослизлое, почернелое колесо, набирая, как в чашки, в медленно подставляющиеся коробки сонно журчащую воду, боясь уронить лишнюю каплю драгоценной влаги, так скупо просачивающейся у подножия песчаного бугра, пробивавшегося желтизной сквозь зелень тополей и ветел.

Он был стар и, прикрыв ладонью глаза, слезящиеся красными веками, глядел на тихое, сонное сверкание, внимательно ища, не каплет ли где. Но белый, с нежно пробивающейся травкой песок под желобом был девственно чист и сух, и взапуски бегали с огромными бревнами муравьи.

Сквозь дремотную тишину, сквозь листву склонившихся ветел слабо звенела выливающаяся вода.

Ее тихий звон, не умирающий ни днем, ни ночью, дремотно пропитывал прозрачный, светлеющий сонной улыбкой воздух, полный запахов чабера, медвяных трав, сухого горячего песку.

Звенела, качаясь в тени столбиками, мошкара. И иногда казалось, звенит сама тишина, звенят горячие полуденные краски, белизна лепестков, голубые вкрапленные пятнышки незабудок, густая листва.

И чтоб не нарушать эту звенящую тишину, даже голубей не было, и их шумные ватаги не носились сизой сверкающей толпой.

Помольщиков бывало мало. Стоит, подняв оглобли к голубевшему сквозь ветви небу, воз, в тени его храпит корявый мужичонка. Лошадь, распряженная, покачивается, преодолевая дремоту, и в углах полузакрытых глаз сосут хоботками нетревожимые мухи.

Старик идет высокий, немного погнувшийся, с косичками кругом голого в точечках черепа, с белой бородой не то от муки, не то от старости.

В амбаре не грохочут жернова, не стучат наперебой деревянные кулаки, а тихонько, по-стариковски шуршит единственный камень, и скупо, едва заметной струйкой сыплется мука. Посыплется, посыплется и задумается, и в напрасном ожидании стоит разинутый короб. Сонно и тихо садится мучная пыль, и снова, белея и дрожа, колеблется тоненькая жалкая струйка.

Один мешок мелют по неделе, и редко кто заглядывает на мельницу. Да и дороги сюда плохи — по лесу торчат пни, коряги, корни и сваленные деревья да валежник громоздится.

Старик подходит к возу, скребет высохший, сияющий, как и всё здесь, череп и говорит:

— Спишь?.. Ну, спи, спи...

Мужичонка храпит. Лошадь подымает веки, от которых немного сторонятся мухи, глядит, моргая добрыми влажными глазами, и начинает жевать вяло и сонно, и опять задремывает, покачиваясь с торчащим в губах клоком.

Старик похаживает.

На мельнице нечего делать. Казалось, с незапамятных времен сама собою звенит вода, само собою медленно, тихо, лениво вращается обомшелое колесо, сами собою пестреют и пахнут цветы, зеленеют ветлы, желтеют надвинувшиеся пески. Разве когда соберется старый, возьмет востроносый молоток и, полегоньку тюкая, станет наковывать стершийся жернов.

Не любил дед уходить с мельницы, потому что до большой реки тянулся лес, перепутанный хмелем, заваленный свалившимися деревьями, хмурый и нелюдимый.

Но в ту сторону, где было светло и просторно, где желтели пески, дед часто выходил. Выберется на песчаный бугор, сядет, подставит голую голову горячему солнцу и сидит. У ног — короткая полуденная тень, а вдаль — нескончаемо и необозримо, сколько глаз хватает, пески.

Ветра нет, воздух неподвижен, прозрачен и чист, но песок звучит странным, едва уловимым звуком, заунывно и грустно. Зыбучий и тонкий, он даже при безветрии сыплется с перегнувшихся гребней и звучит.

Смотрит старик, и на самом горизонте мреет желтое сверкание. Люди живут, как за морем, за раскинувшимися песчаными пространствами.

А ведь еще на дедовой памяти версты за четыре стоял хутор, подымались к небу журавли колодезей, зеленели сады, тянулся лес с полянами, с серебряными лесными озерами. На по-

лянах косили сочную траву, в озерах ставили мережи.

Размяк старик под солнышком, сидит. Знойно волнуется марево, призрачно струится горячий горизонт, неуловимо тает.

Старик зевает, крестит заросший косматый рот.

II

Среди усыпительного звона воды, среди тишины, дремотно превозмогающей себя, однажды прозвучал живой, веселый, звонкий голос.

Старик всегда рано вставал и сегодня поднялся, чуть еще тронулись по пескам розоватые отблески. Обошел мельницу, посидел на бугре, сварил в печурке под старой вербой кулеш и стоял, не то о чем-то думая, не то вспоминая, под тепло пригревающим сквозь ветви солнцем.

И тогда донесся этот голос, звонкий женский голос. Старик приложил козырьком руку к глазам и повернулся к лесу.

Из лесу криво выползала черная, корявая от давно засохшей грязи дорога, и корни изуродованно торчали по ней, но никого не было. А из-за деревьев опять донеслось звонко и весело:

— Но, нно-о... заснул...

Скрипели колеса, фыркала лошадь.

В просвете кустов двигалось живое рыжее, и возле мелькало белое. На повороте выставилась кланяющаяся в дуге лошадиная голова, оглобли, покачивающаяся, прыгающая всеми колесами по корням повозка, а сзади, осторожно ступая по колким ссохшимся комьям босыми ногами, шла девка с кнутом.

Она была крепкая, рябая, с веселыми глазами, и белый платочек сбился на шею.

— Здорово, дедушка!

— Доброго здоровья, касатка.

— Вот помели-ка нам пшенички.

— Ну-к что ж.

Девка взялась за углы мешка, как за уши, но дед, вдруг приосанившись, отстранил ее:

— Куды... надорвешься еще.

Она навалила ему на спину, и он, согнувшись, держась поверх плечей за мешок и напряженно следя, чтоб не подогнулись дрожавшие ноги, бодро направился к амбару, а сзади подмывающе рассыпался весело-звонкий смех:

— Гляди, переломишься!..

И до того чуждо и неожиданно ворвался этот смех в звенящую тишину и покой, что словно сдунуло ленивую сонливость, и долго еще звучало в листве, под свесившейся крышей, за ветлами у желтеющих песков, и радостно смеялись золотистые, узорчато-сквозившие, солнечные, чуть шевелящиеся по песку пятна.

— Ты откеда же, касатка? — говорил дед, засыпав пшеницу и опять подходя к повозке.

А она весело и проворно разнуздывала лошадь.

— Где бы у тебя лошадь напоить? Вишь, воды-то у тебя — куры всю выпили.

И опять нарушая привычный строй, ярко затрепетал смех. Она выплеснула остатки воды из ведра. С добрых, мягких пожевывающих губ лошади капали капли.

Старик подвигал бровями.

— Босоногая.

И опять непривычно звонко раздалось под ветлами:

— Ну да, а то как же! Вон по лесу шла, чисто

все ноги исколола. За двадцать-то пять целковых в год не дюже наобуваешься. С Шевырина хутора я, у Ивана Постного батрачкой.

— Лиходей.

— Там уже лиходей!

— Проценщик.

— С голоду всех рабочих поморил.

— То-то ты с голодухи раздобрела. — И дед весело хлопнул ее по крутой и крепкой спине.

А она уже забралась в повозку и сворачивала лошадь, дергая вожжой.

— Что же так... не погостевала.

— Заругают, там озорные, ироды. Когда смелешь-то?

— Экая, и погладить не далась!.. Приезжай, что ль, к празднику, смелю...

А уже колеса скрипели в лесу, и из чащи раздавался звонкий голос:

— Нн-о, идол, куда лезешь? Опять на корягу!

И потом донеслось:

— Дедушка, а дедушка, как бы мне Сучий ерик объехать? Кабы не завязнуть опять...

Долго ходил без толку старик, останавливался и все тер лысину, стараясь что-то припомнить.

— А?.. Ишь ты!

Звенела вода, звенели полуденные краски, звенела привычная дремотно-сонная тишина, а дед ничего не слышал и все одно стояло перед глазами.

Вышел на бугор, но пески не радовали, неподвижно лежали разморенные, и неуловимой дрожью струился зной.

А ночью кто-то не давал спать. Выйдет дед из избы, темно, только синеватые точки светлячков. Из лесу укает выпь, да вдруг заплачет жалобно филин, тоненько и всхлипывая, как плачут маленькие обиженные дети.

— А?.. Ишь ты!

Звенит вода, звенит вода и наполняет темное и неподвижное молчание чем-то иным, полным иного значения, смысла, и дед не может разобраться, скребет лысину:

— А?.. Скажи на милость!..

Он идет в избу, ложится, засыпает, но кто-то, чуткий и беспокойный, снова будит, и он опять выходит.

Все то же, и над песками стоит молчание и тьма. Но для старика неожиданно чуждо это молчание, и недвижимая, сухая, горячая темнота уже не полна тусклыми расплывчатыми или ясными и отчетливыми перед самыми глазами подробностями былого, — спящими хуторами, звонкими песнями девок, драками и пьянством парней, надрывающей работой, праздниками, — тихо, пусто, глухо, и старик широко смотрит не видящими в темноте очами, и вдруг... видит, видит угрюмую пустоту и молчание. Видит и понимает беспокойство ожидания, чтоб звонко раздался веселый крик, затрепетал яркий смех и наполнил бы пустоту и молчание одиночества.

— Искушение, прости господи!.. — и угрюмо плетется в избу, долго ворочается на соломе, пока не начинают отчетливее проступать веточки и листья и смутно-неясные очертания нахохлившейся крыши.

III

К празднику приехала девка.

Опять в солнечный, сквозящий между ветвями день послышался скрип колес в лесу и звонкий голос. Он странно и резко нарушил лесную тишину, и старик весело подвигал бровями:

— Приехала... ишь ты!..

— А я, дедушка, насилу вылезла, опять, идол, в трясину врюхался... — И на повороте добродушно помахивает добрая рыжая лошадиная морда, и над повозкой белеет платочек. — Смолол, что ли?

— Смолол, смолол... Слезай, напой лошадку, погостюй.

Лошадь пьет, задумчиво роняя чистые капли. Иволга недалеко в лесу, как на флейте, выделывает хитрую фиоритуру.

— Ну, что же, распрягу. Пущай Рыжик отдохнет. Да и я истомилась, парко.

Он глядит на черный загар исхудавших, втянувшихся щек, на потемневшие, сделавшиеся большими от синевы вокруг глаза.

— Подалась ты, касатка.

— Заездили, проклятые, вот до чего, мочи нету!.. Ни днем, ни ночью спокою не знаешь... Хочь бы кормили как следует, — все впроголодь... Эту неделю на косовице чисто руки отвалились. А воротишься домой, стряпать на всю артель...

Но голос у нее по-прежнему звонкий и веселый, и живые глаза на рябом исхудалом лице, как будто она рассказывает не о непосильном, изнуряющем труде, а о чем-то веселом и радостном.

Старик вытаскивает и ставит позеленевший самовар. Самовар ставится раза три, четыре в год, по самым торжественным случаям.

Они сидят под старой ветлой. Гостеприимно и ласково шумит труба. Чуть шевелятся солнечные пятна. Гостья пьет девятую чашку, вытирает льющийся по раскрасневшемуся лицу пот, опрокидывает вверх дном и кладет сверху огрызок сахару. Но старик неотступно упрашивает, и она снова

наливает, и снова льется пот по красному распаренному лицу.

— Так-тося, касатка, скажем, у иных-протчих плотины рвет, а то и мельницы сносит, а у меня стоит, как у Христа за пазухой. Бежит себе вода по желобку тихим манером, хочь тебе весна, хочь лето, хочь зима, все одно, потому вода родниковая, одинаково не боится там суши али морозов. Ну, в год мало-мало, бедно-бедно, а мер сто заработает, а то и полтораста, вот как перед господом. Что ж мне: сыт, одет, обут.

— Да, это действительно очень даже хорошо, ежели она рвать не может, потому и плотины у вас нет никакой, — и она громко откусывает сахар, — ну только скучно у вас тут, песок да лес и боле ничего, человека не увидишь.

— Как скучно? По какому случаю скука? — Старик заволновался и высоко поднял седые изломанные брови. — Какая скука, ежели при деньгах... С деньгами, милая, не скучно, с деньгами, милая, везде весело. И помольщики завсегда бывают, — не тот, так другой приедет. Приедут и все расскажут и про деревню, а то и в городу, как дела идут, все тебе выложат как на ладонке.

— У моего дяденьки на речке мельница стояла, так энто!..

— Скучно!.. Нет, вот скучно, как брюхо пустое, скучно, как живот подведет с голодухи... Вот погляжу я, ни в тебе, ни на тебе, ноги все полопались...

— А то не полопаются! Аж кровь... И по отаве, и по лесу, и по грязи — все босиком.

— Какой такой есть человек, ежели у него за душой ломаного гроша нет. А? А много ли ты заработаешь батрачкой... И век свой нищенкой

проживешь... Не правда, что ль?.. Кто тебя замуж возьмет...

С ней в первый раз так говорили. Тихая ласковость солнечного дня и узорно-кружевные, тихо шевелящиеся по песку и траве тени, покойная задумчивость, и смутный звон воды, и участливые дедовы слова — все ласково заглядывало в душу.

Она вздохнула, широко вытерла потное лицо и в последний раз решительно опрокинула чашку.

— Спасибо, дедушка.

И вдруг засмеялась:

— Эй, живи, не робей, хлеба нет, до звезды говей, рубашка черна, вывороти, носи!.. Ну, прощай, дедушка, надо ехать, и так заругают. Сбрешу, скажу, не успел смолоть, так дожидалась.

И когда она по-мужски уперлась ногой в хомут, заматывая супонь, дед подошел и, придерживаясь рукой за дугу, проговорил:

— А?.. Что я скажу тебе!.. Девка ты добрая, покорливая, выходи ты за меня замуж.

Стало тихо. Звенела вода. Два светлые, два огромные глаза глядели на него.

— Ты подумай, — торопливо и волнуясь, старался дед, — ты подумай, что ты есть? А?.. А сколько моего веку осталось, а?.. С твое уж не жить мне, а помру — все твое, мельница вся, вот как есть, духовное сделаю, будешь барыня, помещица...

А она все глядела на него круглыми глазами и вдруг расхохоталась звонко и подмывающе.

И все время, пока скрипели колеса, слышно было, как кто-то покатывался со смеху в лесу, пока смолкло. Потом далеко, далеко из-за деревьев, из-за ветвей, из-за листвы долетела песня. Пел одинокий женский голос то грустно и смутно, то задорно и весело. И когда терялся в

лесной гуще, снова звенела вода, снова задумчиво-ленивая тишина, снова безмолвно-звучащие краски цветов, листьев, колеблющихся насекомых, и опять доплывает смутный, ослабленный, одинокий и зовущий голос женщины.

Целый день слонялся дед и тер лысину.

— А?.. Скажи на милость!..

IV

Каждый раз, когда она приезжала с пшеницей или за мукой, были одни и те же речи: «Дура, своего счастья не видишь... мельница не грошик, каждый день зарабатывает, каждый день кормит... все — твое... моего веку недолго хватит, год, два, а там сама себе госпожа, упустишь — будешь локти кусать...»

Она смеялась или сердилась, потом перестала смеяться и слушала. А раз сказала:

— Ин быть по-твоему. Что уж... пойду за тебя... Только духовное перед венцом беспременно сделай...

Но когда был мужем, заломила руки, стиснула зубы и с отвращением закрыла глаза.

— Гнилой... землей от тебя воняет, — злобно блестя глазами, бросала она.

— Ну-к что ж... Глаза-то у тебя не на затылке были, как сватался...

Она целиком ушла в хозяйство, жадно отдаваясь прелести новизны иметь свое, распоряжаться своим. Завела птицу, купила двух поросят. Подняла страшный бунт с дедом, чтоб перекрыл мельницу. И как тот ни отбивался, а вынужден был покрыть новой соломой, и мельница кокетливо и весело желтела на солнце новой крышей.

Мельница вдруг раздвинулась до огромных размеров, и тихо ворочалось колесо, и стояла она одна, заслонив чернотой своего силуэта лес, пески, прошлую жизнь.

Утром, когда открывала глаза и из росистого леса неслись наперебой тысячи птичьих голосов, первое, что бросалось, это — новая, отливающая на солнце крыша. И когда засыпала, последними смутно расплывающимися очертаниями темно тонуло медленное колесо.

Переменилось у деда.

Лениво-дремотная тишина заполнилась новыми, суетливо-молодыми хозяйственными звуками. Клокотали куры, визжали подрастающие поросята, звонко ругалась молодайка с помольщиками.

Она целиком была поглощена налаживающимся хозяйством, боясь упустить лишний день, лишнюю минуту. И дни, суетливые, полные заботы, шли одинаковые, похожие друг на друга, так же медленно и неотвратимо, как неотвратимо медленно ворочалось старое колесо.

V

Заскучал поредевший лес, и далеко сквозят облетевшие деревья. Все полиняло, потемнело, точно пришел кто-то одинокий в темную, скучную, покрапывающую ночь, стер яркие краски и звуки, и с тех пор ждет чего-то холодное, неприветливо-прислушивающееся молчание.

Дни короткие, и хозяйка, торопливо мелькая спицами, все время сидит у окна и вяжет чулки на зиму. А в окно тупо глядит темный силуэт мельницы.

Нескончаемо сбегают со сверкающих спиц

проворные петли, нескончаемо теряясь, бегут мысли, и тихонько, как монотонное журчание, льется грустная песня, поющая не о том, о чем говорят слова...

— Ой, да-а-а де-е-вонь-ка-а... де-е-вонь-ка-а!.. — выговаривают губы.

«...а на правой на рученьке родимое да пятнышко... — поет сердце, — родимое да пятнышко... а волосики светлые, как лен-ленок, и назовет его поп-батюшка Ванюшкой...»

— ...отда-а-а-ва-а-ли дев-ку-у за неми-и-ла-а дру-уж-ка-а...

«...и протянет Ванюшечка рученьки к мамушке... обовьет его мамушка...»

— ...за неми-и-л-а дру-жка-а да за ст-а-ра де-е-да-а...

«...мамунюшка!.. батюнюшка!.. засмеется мамунюшка, засмеется батюнюшка, батюнюшка, кудрявый муж-муженек...»

И звенят слезы, и блестят счастливые глаза, а за стеной ходит дед и резонится с помольщиком:

— Я те сказывал, к субботе, к субботе бы и приезжал... Ежели воды ее нету, ну нету, могу я ее родить?..

А за окном бьется тоской и жалобой, тихой, звенящей слезами мечтой о счастье, о кудрявом молодом муже, о мальчике Ванюше, протягивающем пухлые ручонки, о крохотной дочке, в косу которой вплетает красную ленту, и бегут слова песни, и бегут с тонко сверкающих, как вода, спиц торопливые петли.

Зимою, когда серебрился лес и искрились пески, по ночам приходили волки и выли жалобно и подолгу. Тихонько журчала вода под тонкой ледяной корочкой. А иногда начинал падать снег большими тяжелыми хлопьями и кружился, и

ветер выл в трубе и под окнами. Тогда рано ложились, и ни о чем не хотелось думать и мечтать...

Но вместе с весной опять приходила тоска по милом, кудрявом, далеком, незнаемом, по Ванюше, по маленькой девочке с красной лентой в косичке.

VI

Короток и чуток стариковский сон.

Проснется, послушает: тихо дышит молодая жена, тихо дышит лесная глушь. Опять заснет, и опять кто-то: «Старик, а старик!..» Снова подымется, выйдет: звенит вода, молчат деревья, кто-то ворочается черно, неуклюже, огромным клубком.

И он боязливо и подозрительно присматривается к помольщикам, которые остаются ночевать.

— Миляга, ты бы ехал домой... дома-то сподручней. А ночевать... Вишь, у меня и сена нету. А то волки заглянут, как раз зарежут лошадь. Без сарая-то, вишь, поставить некуда...

В лунные ночи старик почти совсем не спит. Проснется — тихо, не слышно дыхания. Выйдет из избы.

Между ветвями струится белый раздробленный свет, сквозя неверными голубоватыми пятнами. Призрачно глядят облитые цветы. Листва — странно белая, и от мельницы сплошь густая горбатая тень. В желобе вспыхивают фосфорические блестки, и медленно и мрачно, покрытое тенью, чудовищно ворочается колесо.

Звенит вода, звенит призрачным голубовато-прозрачным звоном. И старик, как колдун, ходит в заколдованном царстве.

— И скажи на милость, куда делась? А?

Пески узко и воровски желтеют по лесу тонкими, неподвижно пробирающимися языками. Но и самая неподвижность их таит неотвратимое постоянное движение вглубь, в самое сердце насторожившегося, чутко и боязливо примолкшего леса.

Заглядывает во все укромные уголки, в амбар, между тополями: везде одинаково перепутаны пятна света и тени, везде молчаливо и пусто.

Выбирается. Деревья редеют. Песок все гуще скрипит под ногами, и открывается смутно-неясный простор, полный неуловимой мертвой жизни.

На бугре в лунном свете склонившаяся женская фигура.

Старик останавливается, наклоняет голову. В чутко зыблющемся голубоватом сиянии загадочный далекий и тут же звучащий голос:

— Под Ивана Купала девки венки по воде пускают... в четвертом годе я плела, а он потонул... А в Шевырине ноне ярмарка... парни косяками табунятся, а девки семечки лузгают, орехи грызут... То-то смеху... возьмутся за руки... а вечером представление...

Зыбится голубоватое сияние, и на краю родятся и пропадают неуловимые марева.

— ...Обезьяна даже, то-то смеху, чисто человек. А вечером на деревне хоровод... далеко слышно...

Молчание, и не разберешь, долго ли, коротко. И в него крикливо врывается злой бабий голос:

— Сдохнешь, ни дня тут не останусь. Продам али посажу арендателя — и ффью!..

Она свистит грубо, по-мужски, и на старика блестят серые злые глаза.

Старик двигает заросшим волосатым ртом. Он подался, постарел. Не слышит или пропускает мимо ушей ее слова и шамшит, двигая волосами

вокруг рта и глядя слезящимися глазами на пески.

— Да-а... все занесло... а тоже весело, как молодой был... Наш хутор вон за энтим бугром стоял, а за хутором сад, а за садом поле... Соберемся, бывало, за садом, водки наберем, пряников, девок сберем, тоже хороводы водили. А у отца лошади были — звери. Заложим лошадей, девок по хутору катаем... А за энтими кучугурами озеро было, большое лесное озеро было, све-етлое... Острогой хорошо рыбу били... по осени...

Долго шевелит круглым волосатым ртом.

— Богато жили, ста три овец, рогатого скота водили, а бабы на шее серебряные монеты носили.

И он все шевелит и шамкает круглым волосатым ртом.

Зыбится голубоватое сияние, родятся, тают марева, бродят отары овец, блестят лесные озера, звякают на шее у баб целковики, белеют хаты, и крыши мерещатся на смутно неясном небе...

Нет, это — песчаные бугры, и бело под лунным светом.

Тополя темнеют, остро протянувшиеся и неподвижные.

Нет, это узко протянулись тени от бугров, длинные и мертвые.

Она кладет голову на руки, ставит локти на колени и тоже глядит, вытянув шею, и видит за краем, где маячат марева, видит ярмарку в Шевырине, смех, шутки... жаркая ласка... крепко и грубо обнимающие руки... кудрявая голова...

Ее голос, чужой и далекий, звучит возле:

— Как кладбище... Ни-ичего тебе!.. Все было!..

VII

Казалось, все было недавно: недавно скрипели в лесу колеса, недавно плыла по лесу женская песня, недавно...

Но иногда старик говорил, гулко стуча ногой по дереву:

— Во... и это надо срубить!..

И тогда она широко глядела испуганными глазами: безлистные ветки сухо и серо рисовались, бесплодные, по голубому небу, и обнаженные корни обломанно торчали из рассыпчатого песка.

А когда вышла за старика, часто сиживала тут в густой тени, и сочные листья шептались над ней, сиживала на мягкой шелковисто зеленевшей траве. И вставал ужас уходящего времени.

Уже много таких деревьев с тех пор порубили, и все больше редел лес. Песок незримо, но неустанно и неотвратимо вползал. Он невинно пробирался тоненькими незаметными извилинами и язычками, пробирался между кустами, между корнями, меж трав и цветов, глядь, а уже посохли корни, поникли цветы, пропала трава, улетели птицы, и печально стоят обнаженные деревья.

И опять — забывались, уходили в тень живых деревьев, лежали на зеленеющей траве, в листве гомозились и шныряли неугомонные птицы, уходили годы.

Иногда хозяйке казалось: дед умрет через день, через неделю, много — через месяц. И она чутко прислушивалась к его дыханию, приглядывалась к замедленным движениям, к трясущейся голове, рукам.

А крыша понемногу темнела, солома взъерошилась и стала обвисать. Только вода звенела попрежнему тихим, задумчивым, дремотно-ленивым звоном.

И все когда-то новые, неожиданно и весело ворвавшиеся хозяйственные звуки — куриный разговор, гоготанье гусей, хрюканье, звонкий голос молодой хозяйки, — все потускнело, понемногу всосалось, растворилось в лениво-дремотном, неумирающем звоне.

Как будто не было ни людей, ни животных, ни суеты, ни забот, а, не мигая, глядела одна мельница почернелой нахохлившейся соломой, ворочалось колесо да тихо звенела вода.

VIII

Как бы напоминая, что время уходит бесплодно и без возврата, приходили мутные дни без солнца, без красок, без линий.

Все погасало, контуры тонули, и до самого неба вставали крутившиеся пески. Полные отчаяния, ходили они косыми столбами, заслоняя воздух, солнце, синие дали.

И казалось, уже не будет веселого дня, радости, смеха, звонких молодых голосов. В мутном колебании — неотвратимое, слепое уныние.

Угрюмо ползет тоска.

Мельница, люди, ветлы, хозяйство кажутся маленькими, ничтожными.

В такие дни хозяйка злобно и тоскливо кричит:

— Что ты?.. Ну, куда ты?.. Разве от тебя что будет! С тобой хоть век лежи, ничего не належишь... Хочь приведи мне мужика, да чтобы дети были... старый черт!

Он растерянно огрызается, моргает и улыбается.

— Ты ничего... ты... этта... ты погодь трошки... Оно может еще...

Поднимает брови, ласкает трясущимися руками, а она опять слышит земляной гнилой запах старости.

— У-у, ты, старый кобель, будь ты проклят, вонючий черт, чтоб ты издох... не околеет древесина старая...

Она бьется в судорожных безнадежных рыданиях.

Старик жалко и растерянно топчется. Потом насупливает седые брови и говорит скрипучим голосом:

— Я те уважил, а ты что?.. Что ты была? А?.. Сколько моего веку осталось? Все твое... А теперича я вот порву завещание, вот тебе... Издыхай с голоду!..

— И издохну... и не нужна мне твоя мельница, уйду!..

Рыдания глуше, тише.

А утром из-за улегшихся песков опять покойно встает солнце и глядит длинными золотыми тенями, и тихонько гогочут гуси, и угрюмо, сосредоточенно ворочается черное колесо, глядит мельница постоянным, все одним и тем же таящим, остановившимся взглядом.

IX

Словно далекое воспоминание, по лесу трепещут молодые здоровые голоса, смех, шутки.

На повороте выворачивается одна подвода, за ней другая, возле идут парень и девка.

Они смеются, толкают друг друга, лица сверкают весело и радостно. Как будто нет почернелой мельницы, нет засыхающего леса, нет старых мужей, тоски, безнадежного ожидания. В каждом движении, в незначительном слове, беспрерывно

сверкающем беспричинном смехе, который неудержимо все заполняет кругом, они делают дело молодости, особенное дело рвущейся беспричинной радости.

Хозяйка смотрит хмуро и недружелюбно.

— Ну, будет вам жеребиться-то!

— А тебе, старая сукновалка, завидно?

Лицо багровеет, как от удара кнутом, и крики и брань визгливо и злобно разносятся по лесу:

— Бездельники, шаландаются тут... хи-хи-хи да ха-ха-ха... вас за делом послали, а вы женихаетесь... места не нашли... вот не велю молоть пшеницу, поедете не солоно хлебавши, хозяева-то не поблагодарят...

Но крики, визг и брань не заглушают холода и ужаса поднявшейся тоски.

«Старая... старая... старая!..»

В этот день все валилось из рук, и старику прохода не было от ругани.

«Старая!»

«Да, да, старая...»

И она прислушивалась к своему погрубевшему голосу. И она чувствовала свое отяжелевшее тело. И это же говорило маленькое зеркальце.

Медленно, день за днем, морщина за морщиной, седой волос за седым и... старость, нет молодости, нет счастья, ласки, нет детского крика...

— О-о-о-о!..

Она выла, била посуду, бросала в деда горшки. Потом притихла и глядела на него не сморгнув.

— Али ошалела?

Не моргнув бровью, не шевельнув мускулом, глядела она. А он ходил, добрый, старый, с трясущейся головой, как ходят люди, стоящие одной ногой в могиле. Но ведь он такой, сколько она его помнит.

Это было трудно, это было сначала мучительно трудно и страшно. У нее тряслись руки, рассыпалось и ничего не выходило.

Но когда в первый раз дед выпил, ничего не замечая, она было бросилась к нему с остановившимися от ужаса глазами и, дергая, заплетающимся языком шептала:

— Выплюнь, выплюнь...

Потом привыкла и аккуратно подсыпала каждый день.

Старик хирел, еле таскал ноги, но скрипел, как старое дерево, и тянулось время.

Умер он неожиданно.

X

Когда на вечерней заре порозовели пески, хозяйка стала звать мужа вечерять.

— Старик, а старик?

Голос ее глотало тяжелое, спокойное молчание. Даже в лесу с отдаленно багровевшими верхушками не отзывалось обычное эхо:

— Ста-арик!

Звенит вода...

Хозяйка заглянула в амбары, в избу, выпустила наседку с цыплятами, подперла дверь, чтобы не лезли свиньи, и прошла к бугру, — старик лежал спиной кверху, уткнувшись седой бородой и запустив старческие костлявые пальцы в золотистый рассыпчатый песок.

Заголосила во весь голос, и причитания крикливо бились над мертвецом, но уже в нескольких шагах над тяжелыми неподвижно-мертвыми песками стояло молчание.

— Да на кого ты меня спокидаешь!.. Да роди-

менький ты мой!.. Да кормилец ты мой ненаглядный... Да куда же я теперь, сиротинушка!..

И над лежавшим, с видневшейся из-под шеи седой бородой и голым похолодевшим черепом, склонялась и припадала женщина, с выбивавшимися седыми косичками, с обрюзглым, в морщинах и слезах лицом, охваченная тоской и жалостью к человеку, с которым сжилась и привыкла.

XI

Казалось, ничто не изменилось. Медлительно-задумчиво, занятое только своим, ворочалось черное мокрое колесо, с тонким журчанием звеняще сливалась вода, и мертво, ничего не обещая, глядела мельница, нахохлившись почернелой соломой.

Когда старуха вернулась с годовой заупокойной панихиды, села на набившийся у стены песок и всплакнула. Но плакала не о старике, а вдруг вспомнила, как скучно, незаметно прошла жизнь, скоро и ей помирать, и радости она не видала. Да и к старику в конце концов привыкла, и было теперь пусто и одиноко в поредевшем сухостойном лесу.

Мельница по-прежнему глядела на нее слепо, тяжело, не спуская мертвого глаза. А жить надо, надо вставать утром, возиться, кормить птицу, засыпать в жернов, резониться с помольщиками.

Искала арендатора, но никто не шел в глушь, да и ее уже не тянуло в Шевырино, на ярмарку, в балаган на представление. Хороводы там водили девки, которых она не знала и которые еще не родились, когда она сама была девкой.

Наняла работника.

Он пришел, угрюмый, в плохой одеже и глядел исподлобья. Спал в амбаре над день и ночь жужжащим жерновом, а когда пришла осень, перебрался в теплые сени избы. Хозяйка держала его в строгости, и он работал не покладаючи рук, сумрачный, молчаливый, никогда не подымающий глаз.

Только раз поднял глаза и сказал:

— Хозяйка, давай расчет.

— А что?

— Пойду я.

— Да куда ж ты пойдешь?

— Пойду, надоть места поискать, может, в городу... может, заработаю да в деревню, — и, отвернувшись, глядел на заворачивавшую в лес корявую дорогу.

— Ванюша, — проговорила хозяйка, и в голосе ее дрогнула нежность; прежде она всегда кричала на него: «Ванька», — Ванюшка, куда же ты уходишь, али плохо у меня?

— Плохо не плохо, а уйду.

— А ты останься, я те жалованья набавлю.

— Надоело.

Ночью она к нему пришла, но он ругался скверно и цинично и прогнал.

— Сволочь... старая коряга... Пойди ты к...

А она кормила его сладко, одела, заботилась. Всегда у него была водка, и он куражился над старухой. Потом остепенился, стал с ней жить, но она не отдала мельницы по запродажной, как обещала, а только сделала на него духовное.

Он сразу почувствовал себя хозяином, и черное, мрачное колесо запестрело, мелькая свежетесаными заплатами. И снова весело и обновленно глядела крыша золотистой, ровно подстриженной соломой.

Из-за ветел, сквозь листву и кусты шиповника неслись ухарские пьяные вскрики, звон, хохот и песни.

— Гой... Вью!.. Жги!.. Говори!..

Несся тяжелый топот кованых сапог и крикливые бабьи взвизги, и странно и нестройно вязалось пьяное веселье с узорчато-колышущимися по траве задумчивыми пятнами, с шепотом чуть колеблющего верхушками леса.

Но когда тишина на минуту перехватывала пьяный гам, слышно было, как звенела вода, и мутно, не спуская тяжелого взгляда, смотрела мельница, и медленно ворочалось колесо.

Снова вскрики, смех, шуточная брань, заплетающиеся песни, тяжело и неровно выбиваемый топот гасили тишину, звенящие краски и нагло, растрепанно и пьяно царили среди задумчивости лесного покоя.

С узенькими сияющими щелочками, с потным, счастливо-красным, неудержимо разъезжающимся лицом, с выбившимися из-под повойника седыми косичками, хозяйка, сидя перед разостланной под вербой скатертью с закусками и держа сверкающую колеблющейся водкой рюмку, выводила пронзительно-высоким, как надрывающаяся от визгу свинья, голосом:

И пи-ить бу-дем
И гу-улять бу-дем...

— ...И гу-улять бу-дем!.. — глухо, точно из-под земли, безнадежно крутя потной, растрепанной, пьяной головой, поддавал сосед.

...а сме-ерть при-дет,
По-ми-рать бу-удем!.. —

поддерживает хозяин сосредоточенно и злобно, утаптывая не попадающими куда нужно ногами землю.

— ...Уже до такой степени приставал... до такой степени приставал... — чечеткой трещит, покачивая головой, краснощекая, с наивно-хитрыми бабьими глазами, молодуха. — А я что ж... Я — ничего, я — не гордая... Они эти, которые городские-то, что они!.. Подкрасится, подбелится, еще туда-сюда, а раздень ее, на ней нет ничего...

...по-ми-рать бу-дем...

— Бу-удем!.. — доносится из лесу.

— ...бу-удем!.. — заколачивает тяжело хозяин.

— Угощайтесь, миленькие, угощайтесь, то-то весело, то-то хорошо!.. Милости просим, кушайте... На наш век хватит, дом — полная чаша, мельница-то беспеременно день и ночь работает... Хватит ведь, Ванюшенька, соколик ты мой ясный?

— Очченъ даже... по-мми-рать бу-удем... — болезненно перекосив рот, с трудом справляется с языком. — Как сдохнешь, старая, перво-наперво сапоги себе юхтовые... А? Кто говорит?.. Потому на меня работает... на хозяина... Работника найму... Хозяин, и больше ничего...

Когда сквозь проходящий угар похмелья снова близко встал лес, мельница, повседневная работа, хозяйка, хмуро и подозрительно озираясь, бросала на ходу:

— Али соскучился по крале по своей? Думаешь, ничего не вижv? Все вижу, изломай тебя!

— Да ты что, с ума спятила...

— Все вижу.

— Тю!.. В лесу живем, как волки, голоса человеческого не слыхать...

— Не слыхать, а что ты все ходишь да оглядаешься?

— Тьфу ты, будь ты проклята!.. От старости ей уже представляться стало... Что ты меня мучаешь!

Что-то, чего не было прежде, пришло и стало. Подозрительное и неуловимое, оно таилось за деревьями, на мельнице, чудилось в хате, на поляне, в звуке голоса, в самых незначительных словах и выражениях.

И хозяйка говорила, когда садилась обедать:

— Дай-ка мне твой кусок.

— Да я тебе отрезал.

— Ну-к что же, на, возьми мой.

Если парень долго завозится около мельницы или в разговорах с помольщиками, никогда она первая не начинала есть или пить чай.

— Ванюша, ешь, что ли, стынет.

— Зараз, ешь сама.

— Да что я... Ешь ты.

Завязывалась ругань, и по лесу метался визгливый бабий голос, переплетаясь с грубой бранью работника.

По ночам к ней приходил дед. Придет незаметно и беззвучно станет возле в темноте, белея спокойным лицом и бородой. А иногда лежит ничком, уткнувшись бородою и цепко запустив скрюченные пальцы в золотистый песок.

Ей не было страшно, потому что в его фигуре, в его лице не было укора. Совесть ее давно зажила, и он не будил ее.

Но в этом спокойствии, в этой невозмутимости

ничего не подозревающего лица стояло: «И с тобой то же!..»

Со стоном скрипела зубами во сне, просыпалась на заре, вся облитая холодным потом, и глядела, не спуская глаз, глядела с ненавистью на здоровое, молодое, крепкое лицо парня, который громко храпел, откинув сильную руку и раскрыв рот.

И она подымалась, как кошка, с зелеными, по-кошачьи блестевшими глазами и с кошачьими, осторожно-мягкими ухватками, не спуская глаз со спящего, кралась в угол и лапала под лавкою руками. Ей с дрожью, мучительно хотелось поднять и опустить остро сверкающий топор поперек этого чернеющего рта.

Он просыпался и с недоумением смотрел на ее дико впившиеся в него глаза.

— Что воззрилась? Али золотой сделался?

— Задушу своими руками... кишки выпущу... Знаю, что замыслил, давно заприметила...

День наполнялся криками, бранью, угрозами, ревнивыми попреками. Он бил ее беспощадно, с той особенной жестокой сладострастностью, с какой бьют только женщин.

Избитая, изуродованная, она лежала по целым неделям, но как только подымалась, только в состоянии была шевелить опухшими губами, злобно шипела:

— Приготовился уж... С кралей своей... Небось тут же дожидается... Хлебни, хлебни каши-то спервоначалу... Небось успел подсыпать...

Чем больше он ее бил, тем злее, въедливее впивалась она, как клещ, в его душу тысячами подозрений, попреков, жалоб.

По-прежнему светило солнце, колебались зо-

лотые пятна, желтели пески, звенела вода, пели певучую музыку яркие краски дня, но, все заслоняя и погашая, стоял удушливый туман, и люди задыхались.

XIII

Иван надел свои опорки, надел мытую рубаху, кафтан и стал туго подпоясываться.

Вошла хозяйка и заголосила:

— Ах ты босяк! Ах ты паскуда, опять к своей крал... — и осеклась.

Что-то спокойное, полное внутреннего мира лежало на его лице, с которого сбежала жестокость и озлобление последних годов.

— Ты куда же, Иванушка? — проговорила хозяйка, чувствуя, как щемяще-тоскливо упало сердце.

Иван затянул пояс, поддел конец, взял суму и шапку, повернулся к образу и стал креститься и низко кланяться.

— Прощай, хозяюшка, не поминай лихом. Пойду. Не жить нам. Вишь, как мы обижаем друг дружку.

Он низко поклонился ей, вскинул сумку на плечо и вышел.

Она кинулась, хватая за рукава, висла, тащилась за ним, рыдая:

— Да на кого же ты меня, сиротинушку, спокидаешь!.. Да касатик ты мой ненаглядный — али я тебе опостылела?.. Али не угодила чем?.. Ванюшечка, вернись, все — твое, ведь мне росинки маковой не надо...

— Нет, матка, не жить нам.

Он выпростал руку и пошел.

Она выскочила наперед и, вся трясясь, с пере-

дергивающимся судорогой лицом, брызжа слюной, кричала срывающимся от злобы голосом:

— Так издыхай, бродяга бездомный, издыхай с голоду посередь дороги, и чтобы тебе все православные плевали в паскудную морду... чтобы ты над плетнями с голоду опух, нищая калека!.. — И, захлебываясь от дрожащего нетерпеливого желания скорее выговориться, прокричала: — Завещание порву... издыхай!

Он приостановился, обернулся к мельнице и злобно плюнул.

— Чтобы она провалилась тебе, окаянная!.. Душу всю вымотала.

На завороте уходившей в лес корявой дороги опять нагнала, повисла на шее и беззвучно билась в рыданиях:

— Ванюшечка, ведь радости не знала на свете и росинки. Сам знаешь, молодость со старым провела, деток не было... Теперь ты у меня один...

Ему стало жаль этой женщины. Он остановился.

— Воротись, слова поперек не скажу...

Освободился и быстро пошел по дороге, и долго было видно в умирающем, далеко сквозившем лесу, как твердо и упрямо шел человек, не оглядываясь, и долго видно было, как билась головой женщина о рассыпчатый, нежно сквозивший в траве песок. Темная мельница равнодушно и мертво глядела на обоих; медленно ворочалось колесо.

XIV

Тоскливо, одиноко потянулись для хозяйки дни, месяцы. Свет не мил. Куда бы ни пошла, что б ни делала, все напоминало об Иване.

Много передумала и во всем себя винила. Если б воротился, по-иному пошла бы жизнь, ласковая, тихая, сердечная.

С тоской глядела, как все глубже и глубже шли в лес пески, неумолимо, как старость.

Тайная надежда, что вернется, неугасимо жила в сердце и пугала ужасом несбыточности.

Мельница, лес, — уже и не запомнит старуха, в который это раз, — побелели снегом. Не вставали на дыбы прихваченные морозом пески и недвижимо дожидались тепла и сухих ветров.

Когда вьюги улеглись и снег, нагибая ветви, лежал тяжелыми пластами, а холодная зимняя луна еще не всходила, кто-то стукнул в окно.

— А?

Может быть, лопнуло от мороза бревно или свалился с крыши мерзлый ком.

Она прижала лицо к морозному стеклу, загораживаясь рукой от света. Сквозь белесую муть траурно проступал силуэт мельницы. Когда присмотрелась, не то маячила, темнея, фигура человека, не то дерево ложилось на окно тенью.

Сердце забилось смутным предчувствием, и она тревожно спросила:

— Да кто там?

— Пусти.

Придерживая, боязливо приоткрыла дверь, и, внося клубы морозного пара, шагнул иззябший человек в лохмотьях, с угрюмым, исхудалым, измученным лицом.

— Ванюша!

Так и кинулась. То плакала, то смеялась, а он угрюмо глядел на пол между коленами.

— Мельница-то как стояла, так и стоит.

— Как же, Ванюшечка: на нас, родименький,

на нас с тобой работает... Теперь заживем с тобой...

— Не спалил никто, добрый человек.

— Что ты, что ты, Ванюшка, что ты... Кормилица она наша. Хозяева ведь мы с тобой.

За дымящимся самоваром в уютной теплой горнице рассказывал обычную рабочую бродяжью повесть. Работал как вол, чтобы скопить, уехать в деревню, обзавестись семьей, хозяйством, но в промежутках между работой, когда слонялся по экономиям, предлагал руки, все проедал.

— Во! — он поднял руку — пальца не было, — оторвало на машине, три недели провалялся.

Озлобленно глядели измученные глаза.

Первые дни хозяйка не знала, чем накормить, куда посадить гостя, и, не отрываясь, глядела ему в глаза.

А по ночам опять стал приходить старик. Неподвижно лежал ничком, и мерещилась, белея, борода, как белесая муть в окнах. Во всей доброй старческой фигуре не было и намека на укор, и было столько добродушия, было столько детской доверчивости, что она вся тряслась, когда просыпалась, и пытливо глядела в глаза сожителю.

— Кабы заглянуть тебе в душу... Что у тебя там, — с тоскою говорила она и с злобно-перекошенным лицом, вся трясясь, шипела: — Семейство свое захотел завесть... Я не нужна стала, одна мельница нужна, доходы, а меня можно спровадить... У-у, злодей!.. У-у, убивец!.. Чтобы ты издох... Выгоню, издохнешь под тыном...

И снова попреки, не засыпающие подозрения, снова душу раздирающие крики избиваемой женщины, и все один и тот же, ничего не говорящий мертвый взгляд вещей. И под этим тупым и тяже-

лым взором, полным мертвой власти, люди были маленькие и ничтожные.

Проходили дни, недели, месяцы, годы, создавая страшную привычку жизни.

Снова ход времени чувствовался лишь по тому, что то там, то тут зеленое развесистое, когда-то шептавшееся живыми листьями дерево теперь стояло неподвижное, мертво подымая к небу сухие, ломкие ветки. Да пески ровно, неотразимо, спокойно расселялись в лесу.

В редкие минуты, когда хозяйка уезжала по делам, звенела вода, в лесу турлыкали по сухим ветвям горлицы и ворковали дикие голуби, Иван выходил на песчаный бугор, садился, брал в руки голову и думал.

Думал, что он будто на большой дороге, в палящий зной ходит по экономиям, и нет наемки, и нет росинки в пересохшем рту. Забыл и думать о хозяйстве, о семье. И будто кругом ничего нет, стоит только мельница, черная, насупленная. И будто пухнет она. Уже с ворота сделались двери, выше дерева мелькает огромное колесо, и под самые под серые облака поднялась рассевшаяся крыша. И куда ни глянет, везде чернеет мельница.

Глядь...

Он открывает глаза, встряхивает головой, — светит солнце, звенит вода, позади сквозь деревья чернеет мельница.

— Ишь ты, задремал. Пойти поглядеть засыпку.

Подымается и идет работать.

Ворочается хозяйка, — и опять лес, и звенящая вода, и воркующие голуби заслоняются криками, бранью, визгливой злобой.

XV

Задумался Иван. Мало стал есть, слова от него не добьешься, перестал бить хозяйку. Главное — перестал бить, и это больше всего ее тревожило. По целым ночам не спала, держала всегда хлеб и припасы под замком и зорко следила, чтобы не подсыпал чего за обедом.

— Ну, чего молчишь? Чего молчишь, кровопивец!..

Ранним утром, когда никого не было из помольщиков на мельнице, Иван пошел в амбар, порылся, что-то взял и, суровый и угрюмый, подошел вплотную.

— Пойдем.

— Это еще куда!.. Да чтоб ты сдох, чтоб тебя лихоманка затрясла, холера скрючила... чтоб ты!..

Он сбил кулаком, схватил за косу и поволок.

Старуха судорожно хваталась за ветки, за кусты, за траву, за песок, и стоял рев, как будто резали скотину.

Но когда мельница осталась позади и кругом безучастно обступил лес, молча и равнодушно глотая в ветвях полные предсмертного ужаса крики, старуха поднялась на ноги и проговорила, трясясь как лист:

— Иванушка, родименький, куда ты меня ведешь?

— Ну, иди, иди...

И они шли мимо высыхающих озер, мимо полян, белевших песком. И когда вошли в заросли, запутанные диким хмелем, сказал:

— Становись на коленки, молись богу.

В опущенной руке тяжело поблескивал топор.

Она повалилась хватаясь и обнимая ноги.

— Родименький, не губи ты свою и мою душу... Дай ты мне наглядеться на свет божий...

А он спокойно и холодно:

— Намучился... нет моей мочи... дня не вижу... Все одно тупик мне... не выбраться... А тебе сдыхать давно пора, старая карга...

— Ванюшка, не даст бог тебе счастья... Попомни ты мое слово.

Она ползала, хватаясь за него в предсмертном ужасе. А он отступил на шаг:

— Ну, старуха, не хочешь молиться, что ль?.. Так и так отправишься...

И, отставив ногу, отмахнулся топором.

Она завизжала, но не визгом ужаса, а звериным криком захлебывающейся, рвущейся злобы:

— Духовное-то... духовное-то я... порвала!!

Он застыл с занесенным топором, а она каталась в истерически-злорадном хохоте, судорожно впившись в землю, и пена пузырилась на сведенных губах.

— ...порвала!.. порвала!.. порвала!..

И лес, хмуро обнимая со всех сторон, насмешливо и глухо повторял страшное слово:

— ...порвала!.. порвала!..

На сухой ветке кланялась ворона:

— Потерял... потерял... потерял!..

Выронил топор, пошел шатаясь, держа обеими руками голову. А над ними стояло бурое небо, бурый воздух, потонувший в мутно-бурой мгле лес. Песок поднялся до самого неба, и ходили, наклонившись, меняясь неясными очертаниями, косые столбы, теряясь гигантскими головами в мутно клубящихся облаках.

Куда ни глянешь, было все то же, и не было просвета, и не было пределов отчаянию.

XVI

Время шло не дожидаясь, как будто ничего особенного не произошло. Хозяйка возилась с птицей, резонилась с помольщиками, отбирала меру, Иван засыпал, наковывал камень, чинил поломки.

— Вот чего, хозяйка... Ежели завещание опять не напишешь, уйду, не из чего мне тут жить, вот тебе последний сказ.

— Пойдем к попу. У него лежало завещание, у него опять напишу.

Пошли.

Поп вышел на крылечко и сумрачно смотрел на обоих.

— Батюшка, до вашей милости.

— Вы чего же это, — не слушая, заговорил поп, — чего же это не венчаетесь? Что же это побасурмански? Души-то свои в геенну готовите? Стыдно тебе, старая. Эдак я и причастия не дам, говеть будешь.

— Батюшка, да куда тут выходить-то. — Хозяйка заплакала. — Ведь смертным боем он меня бьет, места живого нету. А неделю назад чего задумал: завел в лес и хотел зарубить, вот как перед истинным. И теперь, которое завещание лежит у вас на него, пусть лежит... Но только если меня убитой найдут али помру, он меня, стало быть, извел. Так и знайте, хоть пускай режут мертвую.

Иван попятился. Холодный пот покрыл лицо.

«Так завещание цело было!»

В голове звенело, и он не слышал, о чем говорили.

— Э-э, да ты вон куда глядишь? Каторги захотел? Ну, вот чего — покос скоро, так приходи

недельки на две причту скосить на церковной земле... Вместо епитимии тебе будет, грех будешь отмаливать... Да смотри приходи, а то и полиции можно... тово... А ты, старая, духовное лучше бы на церковь переписала... Да, а то грех эдак-то...

Мертвая петля захлестнулась. Уйти не хватало силы, да и от работы тяжелой отвык, на мельнице стоял непрекращающийся содом без отдыху и сроку. Хозяйка не переставала кричать: «Убийца! Арестант! Каторжник!» — а он бил ее с остервенением.

XVII

Вечерял ли с хозяйкой на потухающей заре, говорил ли с помольщиками, засыпал ли ночью, всегда стоял возле кто-то третий. Иван поднимал глаза, и всегда один и тот же вырисовывался чернеющий силуэт мельницы.

В жужжании жернова, в переливающемся звоне колеса слышалась мерная речь. Кто-то неустанно и днем и ночью говорил без умолку.

Останавливался, наклонял голову, прислушивался. Чудилось длительно, монотонно:

— ...о-го-го-о-о... га-га-а-а-у-у... го-го-о...

Своеобразный, особенный, никому не понятный язык, но с человечьими мыслями. И, как проносящийся над рекою осенний туман, мысли эти неясно, разорванно, меняясь и тая, неуловимыми очертаниями смутно складывались в: «Ты — мой... ты — мой... Не уйдешь... Ты — мой... Не уйдешь... Ты — мо-о-ой!..»

К этому лениво ворочающемуся колесу, к этому черному, угрюмому срубу с нависшей соломой, к мерно звучащей воде, к жернову, неуто-

мимо ведущему всегда однообразную речь, но с разнообразным таинственным содержанием, Иван научился относиться как к живому:

— Чего долго не идешь вечерять?

— Мельница, вишь, не пускает.

Или:

— Колесо нонче осерчало, трошки руку в плече не выдернуло.

Или:

— Но и развеселился нонче жернов — так и пляшет, так и пляшет, муку не успеваешь отгребать.

Когда уставали от ссор, драки и ругани, начиналось бражничанье, попойка и разгул. Приезжали из хуторов, пили помольщики, и дым шел коромыслом.

Когда Иван напивался, его боялись. С красными, как мясо, глазами глядел из-под насупленных бровей, лохматый, с разорванным воротом.

То плакал, обнимая голову, пьяными слезами.

— Головушка ты моя бедная, пропала ты ни за грошик, ни за понюх табаку. Что я видел на белом свете? Жизни не видал, радости не видал, один песок сыпучий жисть мою засыпает... А-а, ты, проклятая!..

Тяжело и долго глядел на мельницу, и вид, все такой же черный, спокойный, покосившийся, — такой, какой, дожно быть, был и при старике, и при его отце, — и невозмутимо ворочающееся обомшелое колесо зажигало непотухающую злобу.

— Проклятая!

Схватывает топор, с бешенством рубит. Топор глухо по самый обух с размаху вбегает в почернелое дерево, разметывая щепу. С треском раскалываются и срываются с петель двери.

Хозяйка отчаянно воет:

— Вяжите, вяжите его, изверга!.. Пропало добро!.. Вяжите его!..

Щепа летит во все стороны, и сруб уродливо разевает рот.

— Не подступайся... убью!..

Тяжелая сталь глубже и глубже входит в живое мясо, и с визгом наслаждения раз за разом всаживает с багровым от натуги лицом человек. Вот-вот рухнет, и на весь лес загогочет вольный человек:

— Го-го-го-го-о-о!..

— Вяжите его!.. вяжите его!.. Бейте, в мою голову!.. Ой, батюшки, убивает!..

— Го-го-го... га-га-га!..

Прибежали гости, помольщики, но к Ивану, в руках которого свистел топор, страшно было подступиться. С трудом выбили топор колом, сбили с ног, навалились, стянули назад руки и, озлобленно дыша, отволокли под вербы.

На другой день, только зорька протянулась над песками, Иван взялся за топор и усердно целый день заделывал порубленные места и сколачивал новые двери.

Недолго пережили они друг друга и умерли в небольшой промежуток, измученные, усталые, но привыкшие и примирившиеся с постылой жизнью.

И когда их везли на дрогах, мельница, полуразвалившаяся, со свесившимися космами почернелой соломы, глядела на гроб тем же бесстрастно мутным, ничего не говорящим взглядом. Осклизлое, обомшелое колесо угрюмо ворочалось, медленно и равнодушно.

Неотвратимо надвигались пески.

Долго глядели из песка полузанесенные почернелые обломки мельницы. Наконец и их сравняло. Песчаный простор надвинулся к самой реке.

И в лунные ночи маячили марева, белели хаты, тянулись тополя, звякали у баб целковики, и сквозь звенящую тишину, и сквозь звенящие слезы чудилось: «...а на правой на рученьке — родимое да пятнышко...»

Марева таяли, и белели пески, недвижимые, мертвые, да тени, чернея, тянулись от бугров.

1908

ЛЕСНАЯ ЖИЗНЬ

В лесу стояла та особенная тишина, которая бывает только осенью. Неподвижно висели мохнатые ветви, не качалась ни одна вершина, не слышалось ничьих шагов, лес стоял молча, задумчиво, прислушиваясь к своей собственной вековой думе.

И когда, отломившись от родного дерева, мертвая сухая веточка падала, переворачиваясь и цепляясь пожелтевшими иглами за живые, зеленые, чуть вздрагивающие ветви, было далеко слышно.

Вверху не было видно печального северного неба, хмурою ратью закрывала его густая хвоя, и, как колонны, могуче вздымались вверх красные стволы вековых сосен. И покой безлюдья царил, точно под огромным темным сводом меж молчаливых колонн, над мягкими коврами прошлогодних игл.

Между стволами, которые сливались в сплошную красную стену, мелькало что-то живое. Кто-то беззвучно шел, и прошлогодняя хвоя, толсто застилавшая землю, мягко поглощала шаги. Сосны расступались и сзади опять смыкались в сплошную красную стену. Но когда нога попадала в тонко затянутую ледком лужицу, далеко,

испуганно нарушая тишину раздавался звонкий треск.

Мальчик лет двенадцати, туго подпоясанный узким ремнем, за которым торчал топор, в огромных, должно быть отцовских, сапогах, наклонялся, приседал на корточки, что-то цеплял за ветки и стволы, и когда шел дальше, позади на земле оставался целый ряд волосяных петель, и в них краснели прицепленные ягоды.

Мальчик ставил силки, внимательно запоминая местность в лесном лабиринте.

Молчаливый лесной сумрак посветлел в одной стороне, и меж деревьев блеснул водный простор. С крутого песчаного берега открылось озеро. Необозримо уходило оно, отодвинув леса до синего горизонта, и изумрудно-зеленые острова бесчисленными стаями покрывали светлое лицо его. Узкими протоками оно тянулось в другие соседние озера, на сотни верст растянувшиеся по угрюмому, суровому, молчаливому краю, с одной стороны которого катило тяжелые холодные волны Белое море, с другой — морозной мглой дышали ледяные поля Северного океана.

Бесчисленные стада уток, гусей, лебедей, нырков и всякой пролетной водяной и болотной птицы с криком, шумом и гамом возились на воде, шумно подымались густыми, чернеющими тучами, заслоняя и воду, и далеко синеющий лес, и изумрудные острова, и далеко тянулись вереницами.

Мальчик с минуту постоял на берегу и пронзительно два раза свистнул. Озеро ожило. Как будто множество спрятавшихся людей засвистало и отозвалось со всех сторон, и над водой, все ослабляясь, понеслись замирающие тонкие звуки. Птица рванулась, взрывая воду, шумом заглушая умирающее эхо.

— Стало быть, не пришел,— проговорил мальчик, вынул из-за пояса топор и стал рубить деревья, сваливая в воду возле берега.

Он работал ловко и быстро; сочные щепы летели из-под топора, и эхо, не умолкая, с разных сторон повторяло удары.

— А-ах, холодная...— проговорил мальчик, пожимаясь, когда, скинув сапоги и засучив шаровары, полез в воду, которая, как ножом, резала острым холодом.

И, торопливо стаскивая с обрубленными ветвями стволы, стал вязать гибким тальником плот. Через минуту стянутые вместе бревна неуклюже высовывались из водного зеркала.

Мальчуган перенес на плот пук волосяных силков и суму с хлебом, уперся шестом, и плот, сдвинувшись тихонько, поплыл от берега. Длинные травы колебались и тянулись в прозрачной холодной воде, цепляясь и обвиваясь вокруг шеста. Птицы с неумолкаемым шумом без перерыва подымались с озера, как будто сама вода рождала их из глубины, и все больше и больше чернеющая косая туча их заслоняла и лес, и небо, и синеющую даль.

Далеко отошел берег, и кругом необозримо расстилалось серебряное зеркало с висевшими в глубине его облаками, печальным серым небом и опрокинутыми прибрежными лесами. Шест перестал доставать дно, которое далеко внизу виднелось сквозь чистую, как слеза, воду, и мальчик, крепко упираясь посинелыми от холода ногами, бурлил шестом, работая, как веслом.

Низкое холодное солнце передвинулось к самому лесу, когда плот ткнулся в берег острова. Мальчик обулся и пошел в лес.

На стволах сосен белели зарубки, которые он

сделал несколько дней назад. Лес был глухой, угрюмый, без тропок, без следа человечьего, но мальчик шел легко и уверенно, поглядывая на белые отметины.

В чаще возле кустарника неподвижно висела птица, свесив крылья и вытянув вверх шею. Тонкая волосяная петля, захлестнутая за ветку, туго стягивала шею.

Мальчик высвободил мертвую птицу и бросил в мешок. По мере того как он шел, мешок наполнялся птицами, которых он вынимал из силков.

Между кустарниками быстро мелькнуло и пропало пушисто-красное. Мальчик бросился туда. На ветке неподвижно висела полуобъеденная птица.

— Ах-х, ты!..— сердито проговорил мальчик, осматривая объеденную птицу и лисьи следы под деревом. — Ладно, ужо приготовлю тебе гостинца.

Все остальные силки оказались пустыми или в них торчали одни объеденные головы и шеи.

Надо было собираться назад. Солнце село. Мрачно и угрюмо стояли сосны. Стояла неподвижная, полная таинственности тишина. Мальчик торопился выбраться к озеру, но лес упорно держал его, и все глуше и темнее становилось кругом. Тяжелый мешок тянул плечи, под ногами испуганно хрустели сухие веточки, и потом опять сапоги беззвучно-мягко ступали по хвое, и угрожающе сгущалась темнота, сливая деревья в одну таинственную сплошную массу.

«Как бы не заблудиться», — тревожно мелькнуло в голове, и он напряженно всматривался, но белевших прежде зарубок уже не было видно.

Наконец темнота слегка раздвинулась, и тем ным блеском едва блеснула у берега вода. Мальчик прислушался: над потонувшим в темноте озе-

ром стояла такая же мертвая тишина, как и в лесу, только дышало оно мраком, холодом и сыростью.

Он стал ходить по берегу, разыскивая плот, но везде был все тот же пустынный, молчаливый берег, так же едва поблескивала черная вода, и стояла дышавшая холодом и сыростью тишина.

— Ок-казия!.. Что будешь делать!..

Мальчик прошел немного в лес, стал на колени, нащупал вылезавший из земли смолистый корень, вырубил его, высек кремнем огня, зажег корень и помахал, чтоб разгорелся.

Багровое пламя, струясь и колеблясь, дымно бежало, и в лесу трепетно забегали тени, и в багрово вспыхнувшей воде отразились покрасневшие вершины сосен.

Недалеко показался из красной воды угол плота. Мальчик загасил огонь. И разом водворилась кромешная, непроглядная, чернильная тьма. Мальчик сложил на плот мешок с птицами, с провизией, обгоревший корень и оттолкнулся шестом.

Шест уходил все глубже и глубже, переставая доставать дно. Бурлила вода. Плот тихо и беззвучно подвигался вперед среди немой тишины, среди непроглядного мрака.

Словно мертвое, заколдованное царство простиралось вокруг на сотни верст, и не слышно было человеческого голоса, ни всплеска рыбы, ни писка птиц. Шест бурлил, не доставая дна, и пенил невидимую воду, и тихонько колыхался плот, заброшенный и одинокий среди пустынного водного простора, среди холодного ночного мрака.

— Что ж это, никак к берегу не прибьешься...

Мальчик тревожно стер пот со лба и оглянулся: даже краев плота не видно. Поднял голову — та же густая, непроницаемая, молчаливая темь, ни одной звезды.

— Аххх, ты, бож-жа мой!.. — хлопнул себя по бедрам, поплевывая на руки, и опять принялся работать шестом.

Время уходило, стали ныть руки и плечи, а кругом все та же молчащая холодная ночь, все так же неизвестно где блуждающий плот.

И это огромное молчание холодной мертвой темноты стало заползать в сердце тоской и отчаянием. Хоть бы крик, хоть бы всплеск. Ни одного живого существа.

Теперь он уже не представлял себе, где берег, к которому он ехал, и где тот, от которого отчалил. Все одинаково кругом безмолвно-мертво. Работал наугад, лишь бы не остаться без дела и не отдаться отчаянию.

Бревна от постоянной работы колыхались и стали расходиться под ногами. Наскоро связанный плот готов был развалиться. Мальчик с отчаянием работал, каждую минуту ожидая, что, как ключ, пойдет между высвободившимися бревнами в холодную воду и ляжет на далекое мертвое дно.

Он сел на корточки, положил шест и... заплакал. Заплакал беспомощными детскими слезами, потому что в этом огромном черном погребе не было выхода.

— Дядька-а Силанти-ий! — закричал он гонким, детским голосом.

Тысячу раз повторила ночная темнота: «...а-а-нти-и-ий...»

В ту же секунду, заглушая умирающее эхо, зашумели тысячи невидимых крыл. Ночная тишина заполнилась непрерывающимся полетом. Мальчик с радостью прислушался: это были первые звуки, нарушившие давившее мертвое молчание.

Он торопливо высек огонь и зажег остаток

полуобгорелого смолистого корня. Багровое пламя разом оттеснило темноту и легло светлым кругом, но ничего не открыло, кроме воды. Только упавший в глубину красный свет обманчиво озарил далекое дно и сонно дремлющих рыб.

Куда плыть? Где берег?

Остаток корня, треща и капая кипящей смолой, стал жечь пальцы. Мальчик бросил. Зашипев, мгновенно погас огонь. Темнота мертво сомкнулась со всех сторон. Шум крыльев смолк, и снова водворилось в неподвижной темноте неподвижное, мертвое молчание. Но теперь не было так страшно, — и на воде и в воде было множество живых существ.

Он опять стал наугад работать веслом, осторожно упираясь, чтоб не нарушить связей в бревнах плота, и вдруг приостановился и чутко прислушался: среди темноты стояла та же тишина, но почудилось легкое, почти неуловимое дуновение проснувшегося среди ночи ветерка.

Торопливо и обрадованно мальчик послюнил палец и, подняв, стал медленно поворачивать. С той стороны, откуда неуловимо тянул ветерок, в пальце почувствовалось ощущение холода. Быстро схватив шест, стал гнать плот по направлению ветерка. Сердце радостно билось, — теперь он уже не будет кружить по озеру.

Вот о дно стукнул шест. Становилось мельче и мельче. Где-то недалеко берег.

Мальчик изо всех сил налег на шест, но под ногами заскрипели бревна, лопнули связи, плот разошелся, и холодная, густая, как кисель, вода охватила по пояс.

В первую секунду захватило дыхание. Мучительно-холодная острая вода вливалась за сапоги, за шаровары, и взмокшая рубаха липла к телу.

Зубы стучали неудержимой мелкой дрожью. Мальчик схватил сумку с провизией, поднял над головой, прихватил мешок с птицами к поясу и, щупая ногой, стал пробираться среди холодной кромешной темноты. Мельчало. Уже ниже колен пенится и бурлит вода. Наконец — берег.

Он дрожал как лист, и ноги сводило судорогой. Не теряя времени, наломал еловых и сосновых ветвей, высек огня, и костер весело запылал, бросая багровый отсвет на воду, на деревья, на печально покачивающиеся, расплывшиеся бревна плота, и тени трепетали и прыгали между деревьями. Пар валил от мокрого платья.

В лесу кто-то ходил. Под тяжелыми ступнями ломались ветви, трещал валежник, и чье-то сердитое урчание недовольно нарушало ночной покой.

— Шатун... ахх, ты... Носит тебя нелегкая!.. — И мальчик прислушивался к треску ломаемых медведем веток, усердно подбрасывая в разгоревшийся костер, чтоб отогнать непрошеного гостя.

Огонь огромного костра бушевал, пламя торопливо бежало, и в багровых просветах леса то тут, то там чудились маленькие злые глазки, вытянутая морда, прижатые уши.

Мальчик вложил два пальца в рот, как-то особенно пронзительно свистнул и загоготал:

— О-го-го-го!..

«О-о-о-о-о!» — далеко покатилось и отозвалось вместе со свистом по озеру, и опять бесчисленно зашумели тысячи крыл, и кто-то ходил по лесу, трещал валежник и чудилось чье-то сердитое урчание.

Мальчик поворачивал к огню то спину, то бока, то ноги, пока от них не перестал идти пар. Потом

пожевал краюшку хлеба, примостился у огня и... стало ему казаться — из лесу вышел медведь, оскалил зубы, расхохотался и стал есть в мешке наловленных тетерек. Поел тетерек и принялся за мальчиковы ноги, отъел ноги, чихнул, отер лапой морду, сел на плот и поплыл по озеру. Плывет по озеру, смотрит на него мальчик, а это не медведь, а дядя Силантий. И будто стоит дядя Силантий и трясет его:

— Эй, вставай, Митюха! Разоспался... Солнце-то где...

Раскрыл Митя глаза, вскочил, видит — солнце поднялось над соснами, залило и лес, и озеро, и острова. А над озером стоит неумолкаемый гам, плеск, стон, и стаи перелетной птицы черными вереницами носятся над водой, и возле чуть дышит полупотухший костер.

— А я думал — медведь.

— Какой медведь?

— Да ночью шатун все шатался по лесу... Я было пропал на озере вчера: опознался, темь, не видать, куда плыть. Кабы не ветерок, пропал бы: плот-то подо мной расселся.

— Ночью отчаливаешь, огонь на берегу зажигай, он и будет призначать направление.

— Ах я дурак!.. И верно... А я зажег смолистый корень да потушил... Ну, темь, хоть глаз выколи, не видать, куда ехать.

Они забрали птицу, заткнули за пояс топоры и отправились домой.

1908

БОЛЬШОЙ ДВОР

Это была самая обыкновенная жизнь и сделалась такой, какой стала теперь, постепенно и незаметно.

Так же он кричал, маленький, и сучил красными ножками, когда его купали в корыте, сосал грудь, обнимая ее крохотными пальчиками (на которых крохотные ноготки), взглядывая мутными, еще неопределенного цвета, детскими глазами.

Так же бегал по улице и запускал змея, когда рос.

Потом мучился первой пробивающейся молодой любовью. Потом женился, имел детей, боролся за себя, за семью, иной раз кутил, возился с женщинами, ходил в церковь, говел. Словом, это была жизнь, как у всех.

Незаметно и тихонько, откуда-то из-за лавок, из-за повседневных забот, из-за скобяного товара, из-за церквей, говенья и солидности глянула побелевшая бородатая старость.

Улеглись страсти, ушла буйная, молодая непокорность.

Сосредоточенно, настойчиво, камень за камнем, кирпич за кирпичом, день и ночь думая, строил он благополучие семьи. Про черный день в

банке лежали деньги, но еще больше было вложено в дело, в торговлю скобяным и железным товаром.

Как снежный ком, ворочаясь, оно разрасталось уже механически, в силу приобретенной инерции. И был он известный в городе, солидный, с крепким кредитом, купец, Парфен Дмитрич Крепкоухов.

На людной, сплошь в лавках и торговых помещениях, улице тянулась скучная облупившаяся каменная стена с обомшевшим верхом. А за стеной, отодвинувшись от говорливого шума улицы в глубь огромного двора, широко расселся белый каменный дом.

С улицы за каменной оградой не видно ни дома, ни сада. Железные ворота всегда на запоре. Вдоль проволоки, гремя волочащейся цепью, бегает косматая собака со злобным лаем, и за белыми зубами у нее злая черная пасть.

По годовым праздникам в доме служатся молебны, и всегда пахнет ладаном и воском в полутемноте сумрачно молчаливых комнат.

Дома Парфен Дмитрич — царь и бог, и когда приходит с торговли и с грохотом затворяется за ним железнорешетчатая калитка, настает его царство тишины и порядка. Жена, тихая, с чахоточно-желтым лицом, неслышно ходит, молча кланяясь ему, как послушница в монастыре.

Дети-подростки, мальчик и девочка, сидят за книгами, шепчутся:

— Сегодня приходил Мишка из лавки, я завел его в чулан, он про трактиры все рассказывал. Вот весело-то... народищу, а музыканты в трубы дуют. Как папенька помрет, прикрою лавку, трактир открою, музыкантов посажу, пусть песни играют.

— А я в монастырь уйду. Если кто сделается

монашкой, так после смерти с ангелами в раю. Птички там райские...

— А Миша говорит — музыка и девки голые пляшут.

— Дурак ты! Вот я папеньке скажу.

— А ну-ка, скажи. Он те вспрыснет... Чудно: голые...

Двое маленьких ползают на разостланной на всю комнату полсти, и нянька то и дело на них шипит:

— Нишкните!.. никак, идет.

Ходят в доме все на цыпочках, только шаги *само́го,* тяжелые, скрипучие, гулко раздаются.

Пусты, важны и молчаливы парадные комнаты с золоченой мебелью.

Как шли дела у Парфена Дмитрича, какие были обороты, грозили ль убытки, или предстояли барыши, — никто из семейных не знал. Все, что нужно было для них, давал щедрой рукой, но его деятельность, работа, знакомства, его деловая жизнь и волнения были там, на людях, за высокой оградой и вечно наглухо запертыми воротами.

Только по годовым праздникам бывал в доме народ.

Приходили поздравлять приказчики. Завертывал кое-кто из купечества. Аккуратно каждый праздник навещала дальняя родственница, юркая, с кувшинным рылом вдова, торопливо и бегло ко всему принюхивающаяся вытянутым носом. А за ней, держась за юбку, бегает золотушный мальчик лет пяти-шести, которого она постоянно проталкивает вперед, чтобы видели покрывающую его, как короста, золотуху.

Тонким визгливым голосом она рассказывала о своих горестях, нищете и болезнях. Парфен Дмитрич сурово и молча давал ей зелененькую, она

уезжала с заплаканными и красными глазами, и опять тихи, молчаливы и сумрачны стояли комнаты, за книгами шептались дети, с прозрачными лицами и синевой под глазами, беззвучно ходила с покорно-чахоточным лицом женщина, и во дворе, гре́мя волочащейся цепью, бегала косматая собака с бело-оскаленными на черной пасти зубами.

Изредка заезжал брат Парфена Дмитрича, такой же степенный, сумрачный, солидный купец, с сыном, вертлявым и юрким студентиком, который все шаркал и кланялся, поправляя белую перчатку на левой руке, и с удивлением оглядывал золоченую мебель, высокие и строгие стены, молчаливые образа в многочисленных серебряных и золоченых ризах, на которых задумчиво мерцал тихий отсвет лампады.

Так шла жизнь в этом сумрачном доме.

В большом просторном дворе, летом пороставшем колючкой и лопухами, зимой заваленном снегом, с пробитыми тропками к калитке и к дому шла своя жизнь, со своими маленькими воспоминаниями, заботами, горем и надеждой. На отшибе, почти в самом углу, где была конюшня, сараи и виднелась выгребная яма, стояла, как и все, по-хозяйски, крепко сложенная кухня под железной крышей. Но внутри она была маленькая, в две комнатки, с огромной плитой.

Двое тут жили: стряпуха Федосья и дворник Пимен, из солдат. Стряпуха Федосья служила одной прислугой, стряпала, убирала комнаты, подавала, бегала на посылках, стирала и гладила белье. Была она похожа на втянувшуюся в неустанную работу клячу, с подведенными ребрами, с запавшими глазами и вечным кухонным,

бледным потом на лице. Неизвестно, когда она отдыхала и спала. Лето за летом, зимы за зимами проходили над этим двором, а она все такая же, с испуганно-озабоченными глазами, спешащая и суетливая.

Тут же жил и Пимен, он же дворник и кучер. У него был сердитый, щетинистый солдатский подбородок, а дела — только отвезти и привезти из училища хозяйского сына, вычистить навоз, смотреть за лошадью да за двором. Большей частью Пимен сидит с перехваченными ремешком волосами в кухне на обрубке и неодобрительно тачает сапоги.

— Деревня!.. Деревни, ее нету, нету ее, один — зрак. А вся центра теперь — город. Тут тебе вокзалы, тут тебе трамваи, трактиры, опять же дома, глянешь — шапка валится. Опять же бани...

— Ну, этого добра и в деревне... Ах, мать пресвятая богородица, пирог-то подпалила! И как он скоро взялся... А молоко забыла поставить... хоть раздерись!..

— Сказала — в деревне!.. По черному ходу гнись в три погибели и вылезешь весь в саже, как черт. А тут тебе под мрамор разложут и начнут утюжить, все косточки переберут, на двадцать лет помолодеешь.

— Да ты был... Напьешься, так тебе везде рай... Эх, штоп тебе!.. — И она торопливо, обжигая руки, переставляет плеснувшую и зашипевшую на горячей плите кастрюлю.

— Ну, што ж, что не был, а знаю. Вон Митька Балахан обязательно каждый месяц ходит и зараз под мрамор; выйдет оттуда, как рак вареный, чисто барин.

Федосья по-прежнему мечется по кухне, и

пышущая жаром плита не вызывает румянца на ее бледно-отсвечивающем измученным потом лице.

— Опять же при волости каталажка, ни стать ни сесть, а здесь замок да пересыльная тюрьма; может, сколько тыщ арестантов пройдет. На воздушных шарах народ летает. А то — деревня!..

Пимен не выносит деревни. В городе он знает всего несколько улиц — те, по которым возит мальчишку в училище и по которым вывозит навоз.

Прежде он был отходником и трясся на гремевшей по мостовой бочке, мимо спавших домов по одной и той же бесконечной улице, которая вела за город, на свалку. И кроме этой улицы и свалок, ничего не видел. Когда приходил к Федосье, — он был ее любовником, — она, не переставая, ругала его:

— Да что ты за окаянный! Чисто вся продохлась от тебя. В комнаты войтить нельзя, зараз все кричат: уходи, уходи, Федосья, воняет от тебя, дышать нечем.

Пимен спокойно отвечал:

— Кому-нибудь да надо вонять. Я не буду вонять, они все провоняют.

— Тоже сказал, гляди, меня с места сгонят через тебя.

С большими усилиями Федосья устроила его дворником.

Сама она, стареющая, покорливая, услужливая женщина, давно из деревни, но, может быть, потому, что высокая стена зеленела старым, обомшелым верхом, и железные ворота всегда на запоре, и с улицы ничего не слыхать, в ней целиком сохранилось деревенское: по-деревенски уродливо перетягивала грудь, носила повойник и по вечерам рассказывала, как прикопит с полста рублей и поедет век доживать в деревне, там и похоронят.

И деревня в ее рассказах была тихая, ласковая и простая.

Но скопить ей никогда не удавалось, потому что каждый месяц приходила дочка, служившая горничной в хорошем доме.

Когда-то это была маленькая, испитая девочка с востреньким носиком и вечно открытым, как у галчонка, ротиком, в который Федосья постоянно совала с плиты то картофелину, то ложечку каши, кусочек мясца, пирожок. И все ждала Федосья, когда подрастет дочка, легче будет с ней. Стала та девочкой, пришлось отдать в люди. И когда изредка отпускали ее и приходила к матери, они садились, обнявшись, возле плиты и долго, деловито, тихо плакали. И каждый день уходил для Федосьи с ожиданием: вот подрастет дочка, выйдет замуж, кончится ее страда, начнется какая-то тихая, спокойная, счастливая жизнь.

Теперь дочка приходит франтоватая, затянутая, со взбитой прической и говорит, ломая язык:

— Маменька, что же вы теперь со мной делаете? Неужто ж мне так в отрепьях ходить? Не в деревне живу. У господ наших намеднись вон граф был. На прошлой неделе последние семнадцать целковых за корсет отдала.

Мать глядит немигающими глазами.

— Семнадцать целковых!..

Дочь сердится:

— Много вы понимаете. Говорю, граф.

Старая женщина покорно роется в грязной тряпочке и трясущимися руками подает дочери в жирных пятнах захватанные трехрублевки.

— Спасибо, маменька, а то никак нельзя.

И уже не ждет Федосья, что выйдет замуж дочка, а, утирая украдкой слезы, ждет каждый месяц получки, чтобы прикопить дочери. Не потратит из

жалованья ни копеечки, возьмет грех на душу — утаит грошик из базарных денег.

Так идут дни в маленькой кухоньке.

На большом дворе была жизнь, о которой никто никогда не думал, но которая так же, как и всякая, имела для себя весь смысл и значение. От маленькой конуры до калитки на цепи бегала косматая, с затерявшимися в космах злыми глазками, с белыми зубами и черной пастью, собака.

Она не помнила, как маленьким щенком тыкалась в теплые родимые соски, как подросла и бегала взапуски с такими же щенками между куч навоза, по-над плетнями, на которых орали петухи, в сараях, где лежали щепа, старые колеса, опрокинутые сани. За сараями было поле, залитое солнцем, а за полем синел лес, и оттуда каждый вечер приходило стадо, и щенок отчаянно-весело лаял на него. Ничего этого в памяти не было, не было прошлого.

Но одно воспоминание осталось, смутное, полупотухшее и испуганно всплывающее каждый раз, когда пес видит в чьих-нибудь руках веревку или удаляющиеся задние колеса повозки. Это воспоминание: перед самой мордой крутятся, взбивая пыль, колеса, и натянутая веревка тащит за горло, перехватывая дыхание. Молодая собака, с вылезшими от ужаса глазами, упирается, падает, волочится с перехваченным визгом на веревке, судорожно болтая в воздухе лапами; в последнюю минуту, когда все темнеет, вскакивает, опять падает, крутится, и так тянется этот ужас много часов.

И когда выбилась из сил, и отчаяние и ужас, потеряв остроту, потянулись сплошной полосой, собака перестала бороться и, боясь, что натянется

веревка и опять потащит, побежала торопливым скоком у самых колес, и они вертелись, чертя о морду железом шин и окутывая пылью.

Мелькала под колесами дорога, мелькали по бокам деревья, потом кусты, потом длинные, пустые поля, потом железные шины колес оглушительно загремели, прыгая по камням, а мимо стали мелькать, бросая полумрак, огромные дома и множество людей, лошадей, катящихся экипажей, и отовсюду неслись нестерпимо острые запахи, совершенно незнакомые, пугающие запахи.

Собака опять стала в ужасе упираться, опять натянулась и потащила веревка, и опять привыкла и к этому ужасу, и бежала у самых колес, пугливо озираясь.

Только это воспоминание иногда и всплывало смутным страхом в темном мозгу при виде веревки в чьих-нибудь руках. Все остальное — белая стена, ворота, калитка, большой двор и кухонька, — все это было всегда и есть, и больше никогда ничего не было и нет.

Стояли два дома: один громадный, другой маленький. Пес не знал, что там делается. Он знал только, что из маленького дома стряпуха два раза в день приносила ему варево в лоханке и наливала ему воды в корытце, возле будки. И эта маленькая кухня только постольку и имела для него значение.

Когда в первый раз посадили его на цепь, он попробовал выть. Сядет на землю, подымет голову кверху и воет. Тогда приходил дворник с арапником и начинал сечь. Он так хлестал, что шерсть летела клоками и жгуче ложились полосы по рассеченной коже. Собака с визгом забиралась в будку и зализывала, испуганно выглядывая, раны. С тех пор он не выл.

Вся жизнь собачья замкнулась в этом большом, поросшем колючками дворе. Неизвестно, что было за утыканным гвоздями забором, за старым садом, за железными воротами и калиткой, за белой стеной. Оттуда доносились только бесчисленные чьи-то шаги, которые страшно раздражали, и собака рвалась с цепи, заливаясь хриплым лаем. А когда кто-нибудь входил в калитку, пес становился на дыбы с такой бешеной страстью, что натянувшаяся цепь опрокидывала его назад. Его день и ночь грызло неутомимое желание рвануть кого-нибудь крепкими зубами. И, сам не зная, для кого и для чего, он бегал вдоль проволоки, гремя цепью, и день и ночь остервенело лаял на людей, которых не знал.

Так уходила день за днем собачья жизнь.

Глухо и тихо было за железными воротами, во дворе, где бегала на цепи косматая собака, в доме, в старом саду, и, казалось, некуда было быть глуше и тише. Но случилось так, что еще стало глуше и тише.

Умерли двое младших ребят — задушил дифтерит.

Мать с остановившимися глазами ходила так же беззвучно и покорно по молчаливым комнатам, и все испитее, все прозрачнее казалось лицо. Потом слегла и уже не подымалась с постели. Потом ее унесли.

Остались сын и дочь-подросток.

Однажды сын ушел и больше не пришел. Парфен Дмитрич подождал три дня и проклял его родительским проклятием, наказав дворнику не отворять калитку, если и вернется. Но он не вернулся, так и сгинул. Девушка-подросток тихонько и беззвучно ходила по огромному дому, прислуши-

ваясь, ходила такая же покорная и тихая, как мать, с таким же прозрачным лицом, как у матери.

Когда приходил отец, она говорила тоненьким, как соломинка, голосом:

— Здравствуйте, папенька.

А когда уходила спать, говорила:

— Спокойной ночи, папенька.

Парфен Дмитрич грузно сидел в кресле и барабанил пальцами по локотникам.

Хотелось сказать этой тихой прозрачной девочке, так похожей на мать, ласковое слово, но слов не было, не привык к ним, не умел.

И он говорил своим скобяным голосом:

— Ну ладно, ложись.

Полгода ходила прозрачная девочка по сумрачным комнатам, заглядывая и в ту, в которой стояла золоченая мебель, прислушиваясь, как за окнами катился неумирающий гул огромного города, ей неведомого, тихонько ходила, покуривала ладаном и тоненьким, как соломинка, голосом напевала: «Свя-а-ты-ый бо-о-же... свя-а-а-ты-ый кре-э-эпкий...»

А раз ее нашли в полутемном чулане. Она стала длинная, тонкая, вытянутая, свисшие носки башмачков чуть касались пола, и слабо белело платье. Ее увезли.

По-прежнему было тихо и молчаливо в сумрачных комнатах, так тихо и молчаливо, как будто никто и не умирал.

Все это скрутилось в два года, а Парфен Дмитричу казалось, что семья у него была лет пятьдесят тому назад, и густо, сплошь пошла седина в бороде и на голове. Но по-прежнему в один и тот же час гремела утром и вечером калитка, когда Парфен Дмитрич уходил и приходил из лавки, и бегала, гремя цепью по проволоке, косматая

собака и остервенело лаяла на людей, которых не знала.

Удивлены были однажды приказчики: не пришел в урочный час в лавку Парфен Дмитрич. Никогда с ним этого не случалось.

А Парфен Дмитрич совсем было собрался, да вдруг остановился в передней, задумался и стал глядеть в пол. Потом сбросил шубу и шапку на пол и, тяжело ступая, прошел в спальню, грохнулся перед образом, и весь огромный и пустой дом наполнился голосом, как будто железный товар посыпался с полок:

— Что же!.. Что-о!!! Ты-ы!..

И поднял кулаки. Потом почернел и повалился лицом в холодный паркет.

Его нашла случайно заглянувшая прислуга. Подняли, раздели, уложили в постель. Дворник побежал за доктором.

Парфен Дмитрич пришел в себя, велел вылить на голову два ведра ледяной воды и доктора приказал гнать в шею.

И как будто все шло по-прежнему. Никогда не открывались немые ворота, бегала, таская цепь, собака; урочно гремела по утрам, захлопываясь, железная калитка, и шел, как всегда, в один и тот же час Парфен Дмитрич в лавку.

В лавке среди книг, счетов, записей Парфен Дмитрич вдруг задумается и сидит, осунувшись, в старом, вытертом кожаном кресле и глядит, не сводя глаз, на половицы. Пройдет час, два, а он все так же неподвижно сидит, и приказчики боятся потревожить.

К концу года стал подводить счета Парфен Дмитрич и в первый раз в жизни задрожал, страшно стало: покачнулось дело, потянуло смертным духом от того, во что вложил всю жизнь, всю душу, все помыслы.

Глубоко задумался Парфен Дмитрич. Долго думал, целыми неделями никто и разговаривать не смел. Наконец решил и понемногу, осторожно стал ликвидировать дело.

Когда покончил, деньги обратил в процентные бумаги, купил стальную кассу, со звоном запер туда бумаги, а кассу поставил в крохотной комнатке с одним окном, служившей ему спальней, — не верил банкам.

Уже не гремела в урочные часы два раза в день калитка. Тихо, угрюмо стоял дом, чернея окнами, и по вечерам светилось одно окно.

Старая Федосья с жутким чувством входила в дом за приказом на базар и чтоб прибрать большие молчаливые комнаты. Кряхтя и озираясь, стирала пыль и незаметно крестилась — в комнате всегда угрюмый полумрак, ставни не открывались, в сумраке тускло блестела позолота стульев, иногда как будто тянуло ладаном. В маленькую комнатку с одним окном Федосья не заглядывала: Парфен Дмитрич и к дверям не допускал.

Сам Парфен Дмитрич редко выходил, и одиноко и сиротливо светилось по ночам оконце.

Для Федосьи время шло от утра до обеда, от обеда до ужина; там, чуть прикорнет, вставать на базар, и так колесом, а оглянется, назади — годы. Уже руки стали дрожать, ноги устают возле плиты, а все теплится какое-то смутное ожидание, надежда. Что-то переделается, устроится, начнется поиному, по-хорошему.

То, что происходило в большом доме, как-то шло мимо нее, мимо кухни. Шла там своя, им не открывающаяся, чужая жизнь. Знали о ней только по внешним проявлениям: либо покричат давать обед, либо в лавку пошлют, либо мертвого выносят. Но и в доме точно так же и не знали и не

думали о жизни, которая шла в кухне. Из дома приходили только распоряжения.

И вот пришло приказание, чтобы Пимен уходил. Парфен Дмитрич продал лошадь, и дворник был не нужен.

Федосья обомлела. Один живой человек в этом огромном и страшном дворе, закрывавшем собой не знаемый ею город, отрывался от нее. И она охватила эту растрепанную щетинистую голову и качала, как ребенка:

— Да родимый ты мой!.. да куда же ты!.. да как же я без тебя!..

Пимен неодобрительно ворочал бровями.

— Одно слово женский пол... Это же не деревня... али тут занятие не найдешь?.. — И, помолчав и почесав в затылке, протягивал: — Да где-е найтить...

Пимен остался в кухоньке, только на двор выходил в сумерки, да окна вечером при огне Федосья тщательно занавешивала.

Раз, когда вздули огонь и занавесили окна, отворилась дверь и вошла дочка Федосьи. Она на минутку приостановилась в дверях передохнуть и опустила на пол перед собой узел, а за спиной в черноте мелко шептался непрерывным бормотанием осенний дождик.

Федосья глянула и всплеснула руками: дочка была испитая, со впалыми глазами и, что особенно страшно, крепко постаревшая.

— Дашенька... Родная..: Да когда же ты замуж-то!..

Она часто виделась с дочерью, и только в этот осенний, холодный, шепчущийся вечер вдруг увидела, как жизнь ее обмяла, стерла румянец, молодость, задорный вид. Вспомнила, сколько детей она отнесла в воспитательный, и заплакала от безнадежности.

— И-и, маменька, куда уж замуж!.. Жить к вам пришла.

Они стали жить втроем, прячась и опасливо поглядывая на окна дома. Но там все было тихо.

Мягко катилась, прыгая на резиновых шинах, карета. Только слышно, как чеканили по мостовой лошади. Карета остановилась у железных ворот.

Долго возилась у замка вышедшая на звонок Федосья. Из кареты вышел чистый господин, молодой и в цилиндре, и помахал платочком.

— Дома дядюшка Парфен Дмитриевич?

— Дома.

Он пошел за Федосьей. Студентик, вышедший в адвокаты, превратился после смерти отца в руководителя крупных предприятий и приехал навестить, справиться о здоровье и поразнюхать, что с дядюшкой, от которого ждал наследство.

Федосья отворила входные двери, а сама спустилась с крыльца и стала дожидаться.

Из комнаты донесся крик, что-то упало, потом торопливый топот.

В ту же минуту из дверей вылетел с цилиндром на затылке племянник и понесся через двор к калитке. За ним косматый, обросший, с бешеными глазами Парфен Дмитрич, без шапки, в туфлях; из-под развевающегося халата мелькало грязное, пропитанное потом, промозглое белье.

У калитки адвоката рванула за ногу захлебывающаяся собака; адвокат, потеряв цилиндр, вырвался на улицу, вскочил в карету и, держась за ногу, велел гнать лошадей.

Парфен Дмитрич с грохотом захлопнул калитку и долго ругался и грозил кулаком, косма-

тый и страшный. А потом опять залез к себе в берлогу и не показывался. Снова мрачен и молчалив стоял дом. И уходили дни и месяцы.

Федосья, когда приходила в кухню из комнат, куда ходила относить обед, рассказывала:

— Страшно там. Темно. Ставни все заперты. Прибирать не велит. Дух тяжелый, чисто преет все. Не продыхнешь. Кости, объедки — так все там и остается. Самого и не вижу, только слышно, бубнит: «Все-о забрал, все-о, а этого не заберешь. Не-э-э!..» — и звякнет об кассу. Поставишь в прихожей обед, да скорее вон.

— Не жилец на белом свете, — замечал Пимен.

— Должно, в кассе не провернешь денег, — вставляет дочка.

— Може, и нам чего откажет, как помрет, молиться за душу его несчастную. Денег для базара совсем мало стал давать, не знаю, как и оправдывать.

— Держи карман шире, — сердито высморкался солдат, — как бы не завещал.

И все трое стали чего-то ждать. Чего, они сами не знали, но внимательно вглядывались в темные, молчаливые окна и в оконце, которое одно только светилось по ночам.

...Пришла осень, ушла зима, стояли тихие звездные задумчивые вечера над цветущим садом, молчаливым двором, угрюмым домом, маленькой кухонькой и собачьей будкой.

В кухоньку кто-то постучался. Там засуетились. Солдат и дочка спрятались за полог. Федосья подвернула лампочку и отворила. Из темноты чуланчика шагнул, сильно сгибаясь, адвокат в цилиндре.

— Здравствуйте.

— Доброго здоровья.

Он снял цилиндр, слегка почистил рукой и почистил колени.

— Ну, как дядюшка? Как здоровье? А ты чего распустился? Папиросы крутишь... Не видишь, с кем разговариваешь!..

— Как не видать, вижу. Зараз пойтить сказать. Велел доложить, как вы прийдете...

— Нет, нет, нет... Зачем же!.. Ты куришь? Не угодно ли, — он раскрыл вызолоченный портсигар, — я человек простой, садись, пожалуйста...

— И как вы влезли — в калитку не пройдешь, через забор высоко, опять же гвозди.

— Нда-а... — замялся адвокат. — Ну, как он? — И повертел пальцем себе около лба.

— Да что ж, обыкновенно, — проговорила Федосья, вытирая о фартук руки, — как люди. Что ему? Один.

— Может быть, доктора бы? Я думаю комиссию назначить. Как же можно... ведь у него состояние.

Солдат встал и потянулся.

— Пойтить собаку с цепи спустить, — на ночь велит спускать.

Адвокат дернулся к нему.

— Голубчик, да нет... Зачем же!.. Вот тебе рублевочка. На табачок... Кури на здоровье... Да проводи, голубчик, как бы она не сорвалась с цепи, проклятая... А за *ним* примечай, если какие ненормальности, скажи, я уж хорошо заплачу.

— Да уж будьте покойны.

Они вышли, прошли двор и сад. Около забора адвокат снял цилиндр, стал на четвереньки и исчез в дыре под забором. Солдат стоял, удивленно разводя руками.

— Ну, прыткий!.. Как ловко! Собаки проклятые подкопали; надо заложить.

В кухоньке долго обсуждали визит адвоката.

— Никак нельзя его допускать. Обязательно объявит сумасшедшим, тогда нам крышка.

— Вот горе-то, — плакала Федосья, — денег совсем перестал класть. Сидит у себя и урчит. Ежели не кормить его, сдохнет, тогда иди на улицу. То хоть квартира даровая, хоть голову есть где приклонить.

И они стали ему относить то, что сами ели. Дочка Федосьина ходила на поденщину, Федосья по субботам сбирала копеечки на паперти, а солдат лежал на нарах. Пел псалмы и, затягиваясь цигаркой, сплевывал через всю кухню в угол.

Наведывался иногда адвокат все тем же путем в дыру под забором и дарил по целковому солдату, чтоб не спускал собаку...

...Раз Федосья пришла из дому; руки, голова у нее тряслись.

— Молчит и вчерашний обед не тронул. Жуть в комнатах.

Когда втроем вошли в маленькую комнатку, было задохнулись от нестерпимой вони. Парфен Дмитрич лежал навзничь, и с кровати свесились рука и голова. Вызвали полицию. Прискакал племянник. Вскрыли кассу ключом, который взяли из застывшей руки покойного. В кассе оказалось триста тысяч рублей бумагами и наличными.

Преобразился пустой двор, и старый сад, и угрюмый дом. Всюду ремонт, перестройки, и не узнать, было ли подворье. Племянник переселился сюда на жительство.

Собаку отвели на живодерню, и когда вели, в темном мозгу смутной тревогой мелькнуло воспоминание о натянутой веревке, тащившей ее когда-

то. Но она была стара, с выпавшими зубами, и покорно шла, не зная, зачем прожила свою жизнь на пустом дворе и зачем лаяла на людей, которых никогда не знала.

Федосья с посошком и котомкой за спиною ушла в деревню. А Дашенька, ее дочка, и солдат потерялись в огромном шумящем городе.

Судили их всех троих вместе. Федосья в деревенском убогом наряде, с деревенским, изрезанным морщинами лицом, Дашенька в великолепном бархатном платье, и по обвинительному акту она значилась: баронесса фон Дитмар. Пимен во фраке, но так как он давно не брился и густо полезла седеющая щетина, видно было, что фрак неуклюже сидел на старом солдате.

Во время судебного разбирательства племянник, потерпевший, громил всех троих. Они были хуже грабителей и убийц на дороге. С теми можно так или иначе бороться, а с этими, в овечьей шкуре покорных людей, в качестве прислуги залезающими в самую интимную обстановку людей состоятельных, невозможна борьба. Они ни перед чем не остановятся. Не остановятся даже перед тем, чтобы вынуть из застывшей руки покойника ключ и, — страшно сказать, — похитить из кассы целых сто тысяч рублей! И потом с лукавством закоренелых преступников снова вложить ключ в закостенелую руку.

Только счастливая случайность открыла это колоссальное воровство. Племянник ехал в великолепном собственном экипаже, навстречу господин на лихаче снял котелок и преважно раскланялся. Племянник всмотрелся — Пимен! Одетый по последней моде, в котелке, в цветном галстуке.

Страшная догадка мелькнула у племянника. Пимена арестовали, и он во всем сознался.

В последнем слове Федосья, с трясущейся головой, сказала:

— Только об одном думала, об одном: дочку замуж, замуж... а без денег кто ж возьмет... — и безучастно уставилась перед собой.

Солдат коротко:

— Было наше, погуляли, ну что ж, теперь можно и по Владимировке...

Дашенька сказала:

— Мало я своих детей перетаскала в воспитательный! Али так оно это все, даром?.. А барона купила в босяке. После свадьбы выгнала.

Присяжные ответили:

— Да. Виновны.

1911

ЧИБИС

Весь истрескавшийся, в серых кочках, нескончаемо млеет иссохший луг в призрачно струящемся зное. Пятнами рыжеет корявая, как вывернутые корешки, неведомо как уцелевшая шершавая травка, которую и овцы не берут.

Кочковато сереют ложбины высохших озер. По краям — нешевелящийся белый пух, но гусей не видно.

Пыльные дороги пусты. Пусто иссохшее, помутневшее небо, и на нем — маленькое, колюче-ослепительное, иглистое солнце.

Далеко разлеглись невысокие сизые горы. Ни промоин, ни сбегающих балок и оврагов. Лежат только дымчато-синеватые тени в задумчивом молчании, и не то печаль в них, не то смутная надежда. И, теряя в прозрачно зыблющемся воздухе контуры и краски, уходят они, невысказанные, и неуловимо тают в облегающей фиолетовой дали.

На этой громаде иссохшего, залитого солнцем простора, нарушая царство знойной неподвижности и пустоты, далеко по дороге зачернелась живая, затерянная точка. Она ползла по пыли извивающейся дороги, и уже можно различить

маленькую, как игрушечную, лошадь и повозку, а в повозке — непокрытые головы, и беспощадное солнце над ними.

Лошадь сонно ступает по лениво встающей пыли, влегая в изодранный, из которого лезет солома, хомут, не мотая костлявой, со слезящимися глазами, покорной мордой, и измученные уши по-собачьи обвисли.

Мухи тучами липнут, но она не шевелит обдерганным хвостом, и только на брюхе судорожно дергается кожа, когда овод прокусит и по облезлой шерсти извилисто закровенится.

На передке, задом наперед, свесив босые, черные от загара ноги, в пестрядинной рубахе и портах качается, бубнит мужичонка, с въевшейся в собачьи космы пылью.

Три серых от пыли ребячьих головенки в самых неудобных позах качаются на скрипучекачающейся повозке.

За задними колесами, не отставая, идет девка, не отрываясь глядя на свои мелькающие в пыли босые ноги.

Баба сидит возле мужика, правит веревочными вожжами, поминутно чмокая узкими, иссохшими, прилипающими к синим деснам губами. Лицо у нее такое же, как у лошади, костлявое, со слезящимися глазами, с измученностью, которая, казалось, навсегда прилипла к костям и бледной обтянутой коже.

—Хто?.. Ну, сказывай, хто?.. Хто обувает?.. Хто одевает?.. Хто кормит?.. Опять же я. В экономии приказчик сказывает: «И чево ты с ими валандаешься? Одно слово, ты — красавец, а они што? Прорва голодная». А я што сказал? А?.. Сказывай, што я сказал?..

— Ну, будя.

— Нет, ты сказывай, што я сказал? А?.. Што я сказал?..

— Да будя тебе... Но-о... Но-о, супостатка!..

— Али б я прошибся, не надел сапоги с набором? А?.. Сказывай.

— Ну, да ладно... Вот прилип... Но-о, окаянная!..

— Ах ты, утроба проклятая!.. Как ты законному мужу отвечаешь?

Он поймал ее за косенки, соскочил и, боком поспевая босыми ногами за повозкой, стал таскать. Рябятишки привычно закричали, лошадь остановилась и, не оглядываясь, стала ждать со сбившейся набок веревочной сбруей.

Девка оперлась о колесо и чесала ногу о ногу. Пыль изнеможенно висела неподвижными клубами.

— Душегуб!.. Кровопивец!.. Ой, батюшки!.. Ой, светы!..

Со сбившимся платком и ненавистью, преодолевшей вечную усталость, она вырвалась и, отбежав, стала поправлять выбившиеся жидкие косички и платок.

Мужик было погнался, но она с резвостью, не свойственной костлявому лицу, измученности и озлоблению, побежала.

Мужик остановился.

— Черт с тобой!

Поскреб в космах.

— Куды спрятала бутылку?

— Все вылопал.

— Брешешь, оставалось... запрятала... убью!

— На кой ляд она мне, — сам в солому засунул.

Тот полез корявой, черной, как земля, полопавшейся от ветра, солнца и работы рукой в сбив-

шуюся под ребятами в труху солому, вытащил бутылку и покачал на солнце сверкающую колебанием влагу.

— И дна не кроет... эхма!..

И, запрокидывая голову и бульбукая, стал глотать.

Опять скрипит среди рыжего, сожженного, с высохшими озерцами луга повозка; идет за колесами девка, и ноги по колено в ленивых серых клубах медленно встающей горячей пыли.

Пусто. С тайной надеждой стоят на самом краю сизые смутные горы, далеко уходя, тают в знойно-трепещущем воздухе, и надо всем — маленькое, ослепительное, иглистое солнце.

Женщина, безнадежно глядя вперед костлявым лицом, без устали дергает веревочные вожжи и чмокает истрескавшимися синими губами:

— Но-о... Но-о, стала...

Разморенные жаром ребячьи головенки не держатся на шее, валятся то на ту, то на другую сторону.

Мужик, с красным, пылающим, точно из бани, липким от пота лицом, черным раскрытым ртом, в который бьет солнце, и мотая от тряски из стороны в сторону головой, лежит навзничь, свесив через грядку согнутые в коленях ноги, храпит, мучительно захлебываясь, на минуту замолкая, перехваченный удушьем, и опять заглушает храпом одинокий скрип повозки.

Неведомо откуда взявшийся чибис медленно летает над повозкой и над лугом и жалобно, тонко кричит: «Чьи-и... ви! чьи-и-ви!..» — жалобно и безнадежно, как будто, кроме этого иссохшего сереющего луга, ничего нет на свете.

«Чьи-и... ви?»

— Маму-уня, папу-уня задавил...

— Нишкните!.. Проснется — будет вам...

Ребятишки жмутся в самый угол повозки, стараясь не притрагиваться к обжигающему дереву. Качается мертвое тело с согнутыми ногами. Носится белая, с черно-опаленными крыльями птица, как потревоженный дух, с жалобным криком и все спрашивает, не ожидая ответа:

«Чьи-и... ви?..»

— А?.. А?.. Чего такое?.. Но!.. Но!.. — испуганно и беспокойно заметался мужик, с красными, как мясо, глазами, с соломой в космах, с иссохшей в углу рта слюной, к которой неотступно липли носившиеся мухи, и, выхватив вожжи, задергал.

— Што ты!.. Ополоумел... Окстись...

Лошадь стояла. Далеко позади над дорогой, ее заслоняя, висела нетревожимая пыль.

Горы возле. И они уже не сизые и манящие, да и не горы это, а просто неровные, размытые обрывы, а за ними поверху нескончаемо уходит степь. По подошве тянутся сады.

У дороги сереет сруб колодца, и, наклонившись, заглядывает в него длинный журавель с висящей на конце веревкой и железным крюком для ведра. Из-за верб домовито глядит соломой крыша.

— Должно, постоялый.

Мужичонка отвязал под повозкой ведро и стал поить лошадь. Детишки вылезали, расправляя затекшие ножонки; баба подбирала по дороге солому, высохший навоз, разожгла и повесила на треноге котелок. Жар, пыль, мухи, иссохший, истрескавшийся простор как будто остались позади, и куда-то приехали, и как будто не надо уже опять ехать по сожженной степи куда глаза глядят.

Мужичонка, обобрав слегка из бороды и усов солому и независимо похлопывая кнутом по вспы-

ливающей дороге, подошел к жердевым перекосившимся воротам.

— Эй, хозяин!

Отчаянно залились собаки, норовя ухватить за голые ноги. На дворе, затрушенном соломой, просторном и жарком, никого не было. Только под дальним навесом, не притрагиваясь к сену, стояла лошадь, отмахиваясь хвостом, била ногой по брюху и мордой сгоняла надоедливых мух.

— Хозяин!..

Щелкнула щеколда, на крылечко в ситцевой, горошком, расстегнутой рубахе, из-за которой косматилась грудь, и ситцевых подштанниках, босой и красный, — должно быть, спал, — вышел чернобородый плечистый казак.

— Можно сенца купить?

Тот провел рукой по лицу и бороде, снимая сонливость, деловыми строгими черными глазами ощупал повозку, лошадь, ребят и беззаботно похлопывавшего кнутом по пыли мужичонку.

— Деньги есть?

— Ну, как же без денег! Без этого товару нельзя. Сколько?

— Тридцать пуд. Давай.

Мужичонка порылся в портах, набрал медяков и отдал.

— Цены еройские. Да цытьте вы, дьяволы!

Казак молча пошел через двор, не отгоняя злобно рычавших на шедшего за ним мужика собак с черными пастями.

За плетневым навесом с махавшей хвостом лошадью тянулся сад, и на выкошенной полянке стоял стог, а возле огромные с досками на веревках весы.

— Веревка есть?

— А мы без веревки. Руки на што.

Тот молча, не сдаваясь на фамильярность, отвесил.

Давно вычерпали весь котелок, и ребятишки, обсев кругом, вылизывали ложки. Отпряженная лошадь стояла теперь без упряжи, еще более худая и костистая, и, слезясь, с усилием жевала сено, не отгоняя роившихся около глаз мух.

Мужик постоял, почесал зад, — делать было нечего.

— Ну, что стоишь, корова! Али дела нету, — злобно накинулся на дочь, прислонившуюся к повозке и безучастно глядевшую недумающими глазами на пропадающую в лугу дорогу.

Девка была крепкая, круглая, с загорелым, зовущим к себе лицом, с дремлющей, просящей работы, движения, смеха — силой.

Не было работы — не было расхода томящемуся напряжению. И отец знал, что делать нечего. Что и ему делать нечего. Пошел, поднял, привязал оглобли, натянул дерюжку и лег в ее маленькую тень, сквозившую солнечными пятнами, и сейчас же навалился тяжелый разморенный сон знойного дня, тоски и безделья.

Ребятишки сидят посреди дороги, палимые солнцем, и играют, закапывая ноги в пыль. Баба, подперши костлявое лицо, пригорюнилась у повозки.

Прозвенели колокольцы, подъехала и стала у колодца тройка. Кучер поил по очереди из ведра лошадей, а в экипаже сидел господин в белой фуражке, под большим белым зонтом, усталый и разморенный, и раза два остановил глаза на девке. Потом тройка побежала, оставляя в воздухе длинную пыль и мягкий, слабеющий след колокольцев, пока все не утонуло в мареве.

Одно пылающее солнце.

По лугу пошли длинные, остро-косые тени.

Солнце сдалось и было уже над садами, большое и остывающее.

Мужичонка поднялся, зевая, крестя рот, точно хотел закрестить подымавшуюся, не отрываемую, как впившийся клещ, тоску. Опять запрягать, опять тащиться неведомо куда по молчаливым степям, мимо хуторов и станиц, мимо чужих покосов, пашен и жнив, глядя, как люди убирают хлеб, возят, пашут, живут заботой и кормящим трудом. Он крякнул, подтянул поясок у портов и повел поить лошадь.

Со степи шли коровы, степенные и важные, поматывая полным выменем. Легонько гогоча, ворочались, белея, гуськом гуси.

Хозяин отворил коровам ворота и подошел к плетню, взявшись за торчавшие из него колья.

— Куда путь держите?

Мужичок суетливо заговорил обрадованно, подавляя хоть на время гложущую тоску:

— Тянемся вот... работишки где-нито... работенки какой-нито...

— Та-ак...

— Пить-исть надо... семейство... Опять же обужа-одежа... и все прочее.

— От своего хозяйства ушел?

— Како хозяйство! По экономиям и жил... в работниках.

— Та-ак...

Помолчали. Казак оглядел луг, уходившие вдоль обрыва сады и погладил бороду.

— Работа и у меня есть.

Мужичок придвинулся, не спуская глаз, точно этот бородатый человек со сказанными им словами сейчас растает в воздухе.

— Заболел у меня работник, ногой не владает,

в больницу поехал... Хлеб убирать, да и по домашности.

— Ну-к, што ж... Я с превеликим...

— Лошадь у тебя.

— Што ж, лошадь продать можно.

— Сколько возмешь?

— Вот как перед истинным, сорок два с полтиной отдал... огонь, а не лошадь...

— Кожа да кости... Хошь, до покрова оставайся с бабой, да и девка будет подсоблять. Харчи мои, а за лошадь десятку дам.

Мужик горестно хлопнул об пóлы.

Вечером, когда все стало смутным, неузнаваемым, деревья, и избы, и плетни, и черные сады, и лошади звучно жевали под навесом, хозяева семьей сели ужинать посреди двора на траве: девчонка-подросток, двое мальчишек да хозяин с хозяйкой. Казачка — степенная, крепкая баба — позвала работника:

— Степаныч, слышь, иди похлебай, покличь ребят и хозяйку. Ничего, поешьте, а на завтрева сами сготовите. Повечеряйте с устатку.

А когда после ужина прибрали посуду, обе бабы, смутно белея, сидели на ступеньках крылечка, и тянулся монотонный, один и тот же, как будто много раз рассказанный рассказ.

— Было свое хозяйство, да сплыло. Спервоначалу держались, а потом невмочь стало, ушел мой-то на заработки. Побилась я, побилась с детьми, пошли по кусочкам, потом землю продали, поехали к нему. Лето проработаем, зиму бьемся. Работали по экономиям да по плантациям. Кабы один — с семьей чижало. Видят — с семьей, зараз прижмут, цену меньше. Семеро их всех-то было, зараз вот только четверо.

— Куды жа пристроила энтих?

Баба замолчала.

Стояла тихая летняя темнота, и в ней черными сгустками плетни, деревья, крыша, и несло с луга запахом пыли и разгоряченной за день, все не остывающей земли. Звучно жевали лошади. Едва приметно чертя темноту, носились нетопыри. Небо усеяно.

— Андельская душка померла, покатилась... Ну?

— Одного глотошная задушила, один животом изошел, а энтот... старшенький-то...

Послышались хлюпающие прерывистые звуки, как будто в животе вода болталась. Казачка проговорила:

— И-и, болезная, легко ли... инда к сердцу прирастут... с кровью родишь, с кровью оторвешь...

— Молотилкой... ногу оторвало... сутки только жил...

— Божья воля... Разве свое дитё забудешь?..

Обе замолчали, смутно белея в темноте.

Казачка вздохнула, жалеючи жалостью налаженного крепкого хозяйства, где все идет по порядку, как надо, с своими привычными хозяйскими заботами, хозяйским горем, довольством, радостью, — жалела особенной хозяйской жалостью ту, у которой нищета, голод, отрепья — тоже в порядке своем, неизбежном. Но материнское горе, эти хлюпающие, невидимые в темноте бабьи слезы, ни с чем не считаясь, горько сказались материнскому сердцу, и она тоже всхлипнула.

— Бог не без милости, энтих вырастишь.

— Та-ак, только замучилась. Чую вот, замучилась, ляжу — рукой не тронусь. У людей — дети, растят, пределяют, а у нас девка — одно горе.

— Шалыганит?

— Кабы так!.. Покорливая, не балуется.

работница на всякую работу. Ядреная девка, правду надо сказать, без изъяну. Другие справляют, об том хлопочут — выдать, а мы одно бьемся, как рыба на сухопутье. По весне ранней поделились на плантацию к армяшке: черномазый, как обезьяна, и капусту сажает. Во́ кочаны, с конскую голову, поливают очень искусственно, колесом. За зиму наголодались, бесперечь рады, на всех на троих плата, работы не оберешься по весне: садка, поливка, полка; ребятишки при нас. Одначе через неделю армяшка идет, как паук мохнатый, чеорный, бельмами ворочает, а груди у него все в шерсте, как у доброй собаки. «Вы, грит, то ни то, а закону моему повинуйтесь: хозяин я, — хочу, наизнанку выверну. А девку беспременно поучите, чтоб спала со мной. У меня такое заведение, а она, чем благодарить, брыкается, кобыла». Обмерла я... «Да ведь дите мое кровное, ай на то родила...» — «А-а, грит, марш, вон на дорогу!» — и зубы оскалил бе-елые. Мой-то поймал девку за косы, оттаскал, собрали пожитки, по-ошли по степи.

— Азияты, — одно слово, что черкесы, что армяне, народ арайский. И фрукт и овощ у них омманные. Вот привезут в станицу капусту, возьмешь кочан — руками не обымешь, а сваришь борщ — ее, капусту, там не слыхать. Тоже, к тому сказать, и сама, может, до него льстилась, бывает и это.

— И-и, ро-одная моя, девка-то бегает от него, как очумелая, ревмя ревст: все, грит, маменька, по закону, а я одна по-собачьи. И, грит, ко-осматый он, как Полкан, — собака у нас в деревне была, злая да караульная, — раззявит, вся пасть черная.

— У нас тоже добрые собаки с черными ротами. Бондарь из станицы, дай ему здоровья, привез

щенками. Мне, говорит, топить их жалко, а вам пригодятся.

Помолчали.

По-прежнему теплая, нешевелящаяся, смутно сквозящая звездами темнота, равнодушная ко всему, у которой — свое, неживое, вдруг оживела, шевельнулась; родилась неведомо где, смягченная расстоянием, тишиной, песня, бабьи голоса.

Работница вздохнула.

— Девки-то по садам полуношничают... О-о-оххо, прости господи. — И казачка закрестила рот, чтобы черный туда не шмыгнул. — Должно, пошта.

Колокольцы прозвенели мимо в темноте, и колеса прокатились, потом все растаяло, и было все то же.

Надо было спать, зевается, да одна никак не вздумает подняться, хочет дослушать; другая — никак не уйдет, хочется полегчить душу изболевшуюся.

— Ходили в степе недели две, везде забито, везде народ, наемка кончилась, жалко стало, ребятишки подбились, идем табором, с голодухи аж синие стали.

— Конь у вас.

— Опосля купили. Наконец того, пределились в экономию. Огромадная экономия, собак видимо-невидимо, народу, приказчики, молотилки, сад при доме. Вздохнули. И ребятишки отошли трошки, повеселели. Думали — все лето проработаем. Месяца два прожили. Гляжу, на покосе как раз было, бежит Гашка простоволосая: «Маменька, ой, маменька!» Оммерла я, так и оммерла. Господи, думаю, може, уж не возворотишь! Вдарила ее по щеке: «Говори, сука!» — «Ой, грит, от силы вырвалась, все бока обмял старший приказчик-

то». Сказала вечером отцу, намотал он ейную косу на руку и бил смертным боем, аж кричать перестала, а дня через три приказчик грит: «Берите расчет, не нужны». Ой, и хлебнули горя! Купили лошаденку, повозку, вот ездиим; сушь ли, дожж ли, сонце ли, погода ли — так ездиим бесперечь, и степь, ее глазом не окинешь, луга, — сухие они у вас, — а мы все ездиим да глядим, как люди работают.

Она подперла голову и горько замолчала.

— Закладает твой-то?

— Как в работе — маковой росинки не держит. Ну, а как без дела — глядишь, бутылку-другую зацепит, не без того.

— Спать надо. Будешь утром доить, Иванна, бурую, сиськи помажь сальцем — полопались, кабы ведро не перекинула.

Над черными садами выползают новые звезды. За плетнем кашляет больная овца.

Новый работник с азартом влег в привычный хомут. Точно его была эта скотина, эти лошади, эти овцы, этот сад, тянувшийся за плетнями, пестреющий наливающимися яблоками.

Девка гоняла мотавших головами лошадей, а Иван на лобогрейке правил ножами и сбрасывателями, и она, скрежеща, резала густую пшеницу, оставляя позади, как выбритую, щетину, и пот градом катился с обоих.

Не было ни праздников, ни церкви, ни передышки, да и не думалось об этом. Баба, подвязав голову ушастым платочком, полола, окучивала и, согнувшись над коромыслом, бесчисленно таскала в огородах воду на поливку. Как будто долго бродили по сожженным степям и вот нашли свою работу, свой дом, свое хозяйство, и рвались, обо всем забывая, только бы не упустить часа.

Заворачивали на постоялый проезжие, — попьют чайку, покормят лошадей и позвенят по лугу колокольцем, затихая. Останавливались купцы с ярмарки, с крепкими кряжистыми лошадьми, с повозками, набитыми товаром, обтянутыми холщовыми будками, сами ражие и красные от довольной жизни.

Раз хозяйка сказала работнице:

— Слышь, Иванна, девка-то твоя, должно-таки, шалыганит. Надысь иду в катух свиней кормить, слышу, за плетнем твоя-то доит, а мой старый черт обцапал ее, — она хошь бы што, как кошка на сметану.

Лицо у хозяйки было чужое и непрощающее. Губы у работницы посинели, стали тонкими, и она их быстро облизала.

А ночью Иван вывел дочь за сады, чтоб не слыхать было, и, боясь, что забьет, исступленно возил вожжами и таскал за косы по черной, иссохшей, полопавшейся от бездорожья земле, а в темноте ныряли нетопыри. Девка кричала, цапаясь руками за кочки:

— Ба-тю-у-уня!.. Пожалей... Старый он, не хочу я его... Ой... ой... ой... Чем же я-то виновата?.. Лезет он.

Бросив смутно белеющее пятно на земле, неподвижное и невздрагивающее, он шел к себе, собирая трясущимися руками вожжи, и бормотал:

— Ежли хочь примечание, в петлю головой суку, один конец... Все кобели на нее.

Степные работы шли нерушимой чередой. Сняли пшеницу, подошли арбузы, стали возить в скирды, и по вечерам и ночам, бесчисленно звеня, затренькали сухим и звонким треньканьем миллионы выведшихся кузнечиков. «Кузнец закричал, лету конец», — говорили. Подросшие утиные

выводки летали зорями на пшеницу кормиться. По-прежнему безоблачно палило и землю, и людей, и скот солнце.

— И зачем найматься таким, — шипела хозяйка, и лицо у нее становилось все вытянутее и суше, — сидели бы у себя в Расее, а то чужой хлеб едят и пакостят, смуту в честное семейство носят, беса тешат.

Баба в ушастом платке рвалась в работе, как захлестанная кнутом кляча, чтоб покрыть какую-то несодеянную, но непрощаемую вину. А девка ходила с незаживающими рубцами, с темно завалившимися глазами, — отец бил без передышки.

Разговелись медом и яблоками. И по мере того как отходили работы, их напряженность и спешность, Иван судорожно хватался за всякое дело, только об одном помышляя — дожить до срока, и по ночам за садами неслись обрываемые крики, вой и плач.

Раз ночью там никто не кричал, а Иван, вернувшись, злобно кинул вожжи.

— Убегла. Ну, завтра наверстаю, всю кожу спущу.

Когда все заснуло, мать тихонько выбралась и долго ходила, белея, между деревьев в саду. Было тихо и сонно, только с луга и со степи неслось бесчисленное треньканье. И тихо стояло:

— Гаш... а, Гаш!

Пусто. Баба стала дрожать, и все стояло в саду — несмелое, полушепчущее:

— Гаш!

Вышла на луг. Он был темен, едва видно под ногами. Долго и одиноко ходила, дрожа. У дороги смутно над черной землей маячило белое пятно.

— Гашка!

Девка, сидя в пыли, беззвучно качалась.

— Ну, вставай.

Та поднялась.

— Замучилась я...

Постояли, и мать сказала:

— Иди, Гашенька, у город... И там люди живут...

— Замучилась я...

— Иди, Гашенька... Вот я тебе каравайчик припасла... Господь тебя сохранит, царица небесная... Ну, слышь...

Она ее притянула, поцеловала и крестила в темноте. Та пошла мягко, беззвучно по пыли босыми ногами и остановилась. Они стояли так в нескольких шагах, смутно различая только белеющие пятна. И вдруг материнскую шею обвили крепкие руки, и в самое ухо теплое дыхание:

— Страшно, мамунька!..

Так они стояли, крепко держа друг друга, роняя слезы на грязные шеи. А когда ушла, над дорогой была только темнота, и в темноте долго белела мать...

Над лугом в одном месте посветлело, — хотел всходить месяц. Надо было идти спать.

Захолодали утренние зори, но еще в полную беспощадную силу палит днем солнце. Неоглядная степь. Сколько хватает глаз, знойно желтеет щетина снятого хлеба, и по дороге, толсто застланной пылью и затрушенной золотой соломой, тянется повозка.

Размореная лошаденка в веревочной сбруе равнодушна к полчищам снующих мух; баба, вытянув костлявое лицо, глядит в неведомую даль, чмокая иссохшими, сине-потрескавшимися тонкими губами, дергая веревочные вожжи:

— Но-о... но-о-о, милая!..

Через грядку, свесившись в согнутых коленях, болтаются черные, полопавшиеся от земли и загара босые мужичьи ноги, и три ребячьи головенки жмутся в угол, стараясь не притрагиваться к больно разогретому дереву.

— Ма-му-у-ня, па-пу-у-ня задавил...

— Нишкните, проснется — будет вам...

Неведомо откуда взявшийся чибис медленно летает над повозкой, над степью и кричит жалобно, тонко. «Чьи-и... ви!..» — как потревоженный дух, с жалобным криком — все спрашивая и не ожидая ответа:

«Чьи-и... ви?»

За колесами, медленно подымающими виснущую пыль, никто не идет.

1911

ДВЕ СМЕРТИ

В Московский Совет, в штаб, пришла сероглазая девушка в платочке.

Небо было октябрьское, грозное, и по холодным мокрым крышам, между труб, ползали юнкера и снимали винтовочными выстрелами неосторожных на Советской площади.

Девушка сказала:

— Я ничем не могу быть полезной революции. Я б хотела доставлять вам в штаб сведения о юнкерах. Сестрой — я не умею, да сестер у вас много. Да и драться тоже — никогда не держала оружия. А вот, если дадите пропуск, я буду вам приносить сведения.

Товарищ, с маузером за поясом, в замасленной кожанке, с провалившимся от бессонных ночей и чахотки лицом, неотступно всматриваясь в нее, сказал:

— Обманете нас, расстреляем. Вы понимаете? Откроют там, вас расстреляют. Обманете нас, расстреляем здесь!

— Знаю.

— Да вы взвесили все?

Она поправила платочек на голове.

— Вы дайте мне пропуск во все посты и документ, что я — офицерская дочь.

Ее попросили в отдельную комнату, к дверям приставили часового.

За окнами на площади опять посыпались выстрелы — налетел юнкерский броневик, пострелял, укатил.

— А черт ее знает... Справки навел, да что справки, — говорил с провалившимся чахоточным лицом товарищ, — конечно, может подвести. Ну, да дадим. Много она о нас не сумеет там рассказать. А попадется — пристукнем.

Ей выдали подложные документы, и она пошла на Арбат в Александровское училище, показывая на углах пропуск красноармейцам.

На Знаменке она красный пропуск спрятала. Ее окружили юнкера и отвели в училище в дежурную.

— Я хочу поработать сестрой. Мой отец убит в германскую войну, когда Самсонов отступал. А два брата на Дону в казачьих частях. Я тут с маленькой сестрой.

— Очень хорошо, прекрасно. Мы рады. В нашей тяжелой борьбе за великую Россию мы рады искренней помощи всякого благородного патриота. А вы — дочь офицера. Пожалуйте!

Ее провели в гостиную. Принесли чай.

А дежурный офицер говорил стоящему перед ним юнкеру:

— Вот что, Степанов, оденьтесь рабочим. Проберитесь на Покровку. Вот адрес. Узнайте подробно о девице, которая у нас сидит.

Степанов пошел, надел пальто с кровавой дырочкой на груди, — только что сняли с убитого рабочего. Надел его штаны, рваные сапоги, шапку и в сумерки отправился на Покровку.

Там ему сказал какой-то рыжий лохматый гражданин, странно играя глазами:

— Да, живет во втором номере какая-то. С сестренкой маленькой. Буржуйка чертова.

— Где она сейчас?

— Да вот с утра нету. Арестовали, поди. Дочь штабс-капитана, это уж язва... А вам зачем она?

— Да тут ейная прислуга была из одной деревни с нами. Так повидать хотел. Прощевайте!

Ночью, вернувшись с постов, юнкера окружили сероглазую девушку живейшим вниманием. Достали пирожного, конфет. Один стал бойко играть на рояле; другой, склонив колено, смеясь, подал букет.

— Разнесем всю эту хамскую орду. Мы им хорошо насыпали. А завтра ночью ударим от Смоленского рынка так, только перья посыпятся.

Утром ее повели в лазарет на перевязки.

Когда проходили мимо белой стены, в глаза бросилось: у стены, в розовой ситцевой рубашке, с откинутой головой лежал рабочий — сапоги в грязи, подошвы протоптаны, над левым глазом темная дырочка.

— Шпион! — бросил юнкер, проходя и не взглянув. — Поймали.

Девушка целый день работала в лазарете мягко и ловко, и раненые благодарно глядели в ее серые, темно запушенные глаза.

— Спасибо, сестрица.

На вторую ночь отпросилась домой.

— Да куда вы? Помилуйте, ведь опасно. Теперь за каждым углом караулят. Как из нашей зоны выйдете, сейчас вас схватят хамы, а то и подстрелят без разговору.

— Я им документы покажу, я — мирная. Я не могу. Там сестренка. Бог знает что с ней. Душа изболелась...

— Ну да, маленькая сестра. Это, конечно, так. Но я вам дам двух юнкеров, проводят.

— Нет, нет, нет... — испуганно протянула руки, — я одна... я одна... Я ничего не боюсь.

Тот пристально посмотрел.

— Н-да... Ну, что ж!.. Идите.

«Розовая рубашка, над глазом темная дырка... голова откинута...»

Девушка вышла из ворот и сразу погрузилась в океан тьмы, — ни черточки, ни намека, ни звука.

Она пошла наискось от училища через Арбатскую площадь к Арбатским воротам. С нею шел маленький круг тьмы, в котором она различала свою фигуру. Больше ничего — она одна на всем свете.

Не было страха. Только внутри все напрягалось.

В детстве, бывало, заберется к отцу, когда он уйдет, снимет с ковра над кроватью гитару, усядется с ногами и начинает потинькивать струною, и все подтягивает колышек, — и все тоньше, все выше струнная жалоба, все невыносимей. Тонкой, в сердце впивающейся судорогой — ти-ти-ти-и... Ай, лопнет, не выдержит... И мурашки бегут по спине, а на маленьком лбу бисеринки... И это доставляло потрясающее, ни с чем не сравнимое наслаждение.

Так шла в темноте, и не было страха, и все повышалось тоненько: ти-ти-ти-и... И смутно различала свою темную фигуру.

И вдруг протянула руку — стена дома. Ужас разлился расслабляющей истомой по всему телу, и бисеринками, как тогда, в детстве, выступил пот. Стена дома, а тут должна быть решетка бульвара. Значит, потерялась. Ну, что ж такое, — сейчас найдет направление. А зубы стучали неудержи-

мой внутренней дрожью. Кто-то насмешливо наклонялся и шептал:

— Так ведь это ж начало конца... Не понимаешь?.. Ты думаешь, только заблудилась, а это нач...

Она нечеловеческим усилием распутывает: справа Знаменка, слева бульвар... Она, очевидно, взяла между ними. Протянула руки — столб. Телеграфный? С бьющимся сердцем опустилась на колени, пошарила по земле, пальцы ткнулись в холодное мокрое железо... Решетка, бульвар. Разом свалилась тяжесть. Она спокойно поднялась и... задрожала. Все шевелилось кругом — смутно, неясно, теряясь, снова возникая. Все шевелилось: и здания, и стены, и деревья. Трамвайные мачты, рельсы шевелились, кроваво-красные в кроваво-красной тьме. И тьма шевелилась, мутно-красная. И тучи, низко свесившись, полыхали, кровавые.

Она шла туда, откуда лилось это молчаливое полыхание. Шла к Никитским воротам. Странно, почему ее до сих пор никто не окликнул, не остановил. В черноте ворот, подъездов, углов — знает — затаились дозоры, не спускают с нее глаз. Она вся на виду; идет, облитая красным полыханием, идет среди полыхающего.

Спокойно идет, зажимая в одной руке пропуск белых, в другой — красных. Кто окликнет, тому и покажет соответствующий пропуск. Кругом пусто, только без устали траурно-красное немое полыхание. На Никитской чудовищно бушевало. Разъяренные языки вонзались в багрово-низкие тучи, по которым бушевали клубы багрового дыма. Громадный дом насквозь светился раскаленным ослепительным светом. И в этом ослепительном раскалении все, безумно дрожа, бешено неслось в тучи; только, как черный скелет, неподвиж-

но чернели балки, рельсы, стены. И все так же исступленно светились сквозные окна.

К тучам неслись искры хвостатой красной птицы, треск и непрерывный раскаленный шепот — шепот, который покрывал собою все кругом.

Девушка обернулась. Город тонул во мраке. Город с бесчисленными зданиями, колокольнями, площадями, скверами, театрами, публичными домами — исчез. Стояла громада мрака.

И в этой необъятности — молчание, и в молчании — затаенность: вот-вот разразится, чему нет имени. Но стояло молчание, и в молчании — ожидание. И девушке стало жутко.

Нестерпимо обдавало зноем. Она пошла наискось. И как только дошла до темного угла, выдвинулась приземистая фигура и на штыке заиграл отблеск.

— Куды?! Кто такая?

Она остановилась и поглядела. Забыла, в которой руке какой пропуск. Секунда колебания тянулась. Дуло поднялось в уровень груди.

Что ж это?! Хотела протянуть правую и неожиданно для себя протянула судорожно левую руку и разжала.

В ней лежал юнкерский пропуск.

Он отставил винтовку и неуклюже, неслушающимися пальцами стал расправлять. Она задрожала мелкой, никогда не испытанной дрожью. С треском позади вырвался из пожарища сноп искр, судорожно осветив... На корявой ладони лежал юнкерский пропуск... кверху ногами...

«Уфф, т-ты... неграмотный!»

— На.

Она зажала проклятую бумажку.

— Куда идешь? — вдогонку ей.

— В штаб... в Совет.

— Переулками ступай, а то цокнут.

...В штабе ее встретили внимательно: сведения были очень ценные. Все приветливо заговаривали с ней, расспрашивали. В кожанке, с чахоточным лицом, ласково ей улыбался.

— Ну, молодец девка! Смотри только, не сорвись...

В сумерки, когда стрельба стала стихать, она опять пошла на Арбат. В лазарет все подвозили и подвозили раненых из района. Атака юнкеров от Смоленского рынка была отбита: они понесли урон.

Целую ночь девушка с измученным, осунувшимся лицом перевязывала, поила, поправляла бинты, и раненые благодарно следили за ней глазами. На рассвете в лазарет ворвался юнкер, без шапки, в рабочем костюме, взъерошенный, с искаженным лицом.

Он подскочил к девушке:

— Вот... эта... потаскуха... продала...

Она отшатнулась, бледная как полотно, потом лицо залила смертельная краска, и она закричала:

— Вы... вы рабочих убиваете! Они рвутся из страшной доли... У меня... я не умею оружием, вот я вас убивала...

Ее вывели к белой стене, и она послушно легла с двумя пулями в сердце на то место, где лежал рабочий в ситцевой рубашке. И пока не увезли ее, серые опушенные глаза непрерывно смотрели в октябрьское суровое и грозное небо.

1926

ИЗ ИСТОРИИ «ЖЕЛЕЗНОГО ПОТОКА»

Не странно ли: не с завязки, не с интриги, не с типичных лиц, не с событий, даже не с ясно осознанной первичной идеи зачинался «Железный поток».

Не было еще Октябрьской революции, не было еще гражданской войны, не могло, следовательно, быть и самой основы «Железного потока», — а весь его горный плацдарм, весь его фон, вся его природа уже давно ярко горели передо мной неотразимо влекущим видением. Могучий пейзаж водораздела Кавказского хребта огненно врезался в мой писательский мозг и велительно требовал воплощения.

Перед самой империалистической войной с сыном Анатолием шли мы по водоразделу Кавказского хребта. Громадой подымался он над морем, над степями, — здесь, у Новороссийска, было его начало.

Серые скалы, зубастые ущелья, а вдали под самым небом не то блестящие летние облака, не то ослепительные снеговые вершины.

Мы все подымались, и постепенно закрывалось море возникавшими со всех сторон скалами. Воздух становился реже. Дышалось быстро. Над головами проносились ослепительно белые об-

лачка. Зной лился так, как он льется только высоко в горах.

Вдруг скалы стали исчезать. Мы остановились, ахнули: Кавказский хребет, громадина водораздела, вдруг сузился, и открылось несказанное: справа и слева хребет оборвался в бездонную глубину. Справа необозримой стеной синело море, неподвижно синело — на этом расстоянии не было видно волн. Слева, в недосягаемой глубине, толпились голубые стада лесистых предгорий, а за ними неохватимо уходили кубанские степи.

Мы стояли безмолвно на узком, метра в два, перешейке, и не могли оторваться, точно карта мира раскрылась перед нами.

Потом опять пошли. Узенький перешеек остался позади. Пропали синие предгорья, пропали далекие кубанские степи. Пропала безмерная недвижная синева моря. Кругом опять скалы, рододендроны, чинары; хребет снова могуче раздвинул исполинские плечи.

Победила Октябрьская революция.

Москва, уже своя, красная, родная. Она с выбитыми зубами, с выбитыми, чернеющими окнами, исковерканными улицами, облупленными, простреленными стенами. И все — оборванные, и все — голодные. И у всех блестят ввалившиеся глаза.

Ну что ж! Верно, от этого кругом бешено скребут, чистят, чинят, надстраивают, организуют, исследуют, создают, борются с ядовитыми врагами, — строят социализм.

«А я что? а мое какое место?»

— Ну, я участвую по мере сил и разумения в этой невиданной в мире борьбе-строительстве, —

пишу воззвания, обращения, статьи, полемизирую, ругаюсь. В «Безбожнике» с тов. Моором обличаю антисоветских попов, затаптываю поминутно вырывающийся из-под ног смрад удушливого «опиума» с ладаном, шлю корреспонденции с фронта, и... и все-таки странное постоянно живущее чувство: «нет, не то, не такое ты делаешь». Нужно сделать... какой-то нужен размах, размах хоть в каком-нибудь соответствии с тем, что гигантски творилось среди развалин, обломков старого, которое выкорчевывалось... кругом, как муравьи, бегали. Но и в литературе нужно было как-то широко захватить.

«Как?»

Хожу ли по ободранным улицам, спотыкаюсь ли молча в сугробах под обвисшими трамвайными проводами, или в непроходимом махорочном дыму сижу на собрании, — то и дело мне слух и зрение застилает: синеют горы, белеют снеговые маковки, и без конца и краю набегают зеленовато-сквозные валы, ослепительно заворачиваясь пеной.

Тряхнешь головой, и опять — непролазный дым, усталые, ввалившиеся от голода лица, серые шинели, даже на девушках, которые их кокетливо перешили. А там опять наплывает...

Я одно чувствую: эти серые скалы, нагнувшиеся над бездонными провалами, откуда мглисто всплывает вечный рокот невидимого потока, белеющие снеговые маковки, — и по ним синие тени; эти непроходимые леса, густые и синие, где жителями лишь зверь да птица: все это, как чаша, требует наполнить себя.

«Чем? Какое содержание я волью?»

Синий едкий дым, проступающие и исчезающие голодные лица, голос оратора, всплыва-

ющий возле меня обрывками, и опять: синие, как трава, леса предгорий, далекие ослепительные маковки, бескрайные степи и необъятная громада морской синевы.

Мне вспомнилось: бежал мой мотоциклет, по кличке «Дьявол», по этому самому извилисто-серому шоссе, еще до империалистической войны, и так же слева громоздились горы, справа синело море. В горах остановился. Поставил своего «Дьявола» на ноги, купил у крестьянина молока. Он — из Рязанской губернии. От нищеты пришел сюда, ребятишки мал мала меньше, замученная жена, зажившиеся на свете старики, которых кормить надо.

В первую голову засеял пшеницу, — не чернослив, не виноград, которые тут великолепно растут, а пшеничку «расейскую». Великолепная пшеница поднялась, литой колос. Вся семья над ней затаила дыхание. Дня через два снимать.

Да зачернелась над горами тучка, хлынул горный ливень, зашумели потоки, стали прыгать, сносся деревья, валуны, — через четверть часа вместо пшеницы — исковерканное валунами черное поле. Никому в голову не придет, что тут густо золотилась пшеница, что тут вложен был бешеный труд. К самым коленям опустилась победная головушка. Кругом голодные детишки.

Разве написать, написать этого мужичка среди гор? Ему нет выхода — социального выхода: там, у себя, в Рязанской губернии, зубастыми губами сосет помещик, кулак, поп, становой; здесь, где он один на один с горами, с лесами, с скалами и ущельями, с морем, — здесь тоже его сосут, те же, — сосут тем, что отняли знание, науку, уменье и навык бороться с незнакомой природой. Он социально прикован к своей сохе. Разве написать?

И бреду по сугробам снега, таскаю за спиной мешочек с мерзлой картошкой, везу на салазках дровишки.

Нет, нет... нет! Про «бедного мужичка» слишком много писали, — бедного, темного, забитого. И я слишком много писал его таким. Ведь — революция. Ведь он же бешено борется на десяти фронтах, голодный, холодный, вшивый, разутый, в лохмотьях, и страшный, — как медведь ломит. Разве это то же?

Нет, я напишу, как оно, крестьянство, идет гудящими толпами, как оно по-медвежьи подминает под себя интервентов, помещиков, белых генералов. И опять встают скалы, сверкающие маковки, синей стеной море, оскаленные ущелья...

«Хорошо, но содержание, содержание-то какое? Какие события, каких людей я вставлю в эту обстановку?»

И почему крестьянина, прежнего мужика, почему его, его борьбу, его страдания, его победы? Почему я непременно хочу вставить в экзотику — в эти горы, в скалы, ущелья, в эти сверкающие вечные снега, среди пальм и кипарисов у синего моря? Разве в такой обстановке он жил, несчетно работал, мучился и умирал?

...ель да осина,
Не весела ты, родная картина...

Вот его извечная рама.

Да, эта экзотика, эта солнечность, яркость, эти живые слепящие краски — все это неестественно для русского «мужика».

Больше всего я боялся, это — впасть в *красивость,* а тут было похоже.

И я опять встряхиваю головой, отгоняя столпившиеся картины, и опять либо в ядовитом дыму

собрания всплывают и пропадают голодные лица, либо коченею в маленькой комнатушке замороженного завода,— бежит, траурно колеблясь, хвост над керосиновой лампочкой, мертво белеют языки инея, пробившего стылые стены завода, и я, по поручению «Правды», агитирую рабочих сорганизовать кружки рабкоров. И опять спотыкаюсь в сугробах, таскаю дровишки на салазках, и всегда в животе аппетит старого голодного волка.

Глядь,— скалы, море, зубастые ущелья... Измучился!..

Понемногу в этой изнурительной борьбе с самим собой у меня в голове стало что-то оформляться. Хорошо. Я пущу по этим горам, ущельям, вдоль моря по шоссе крестьянские толпы, которые не то спасаются, не то гонят кого-то. Ну, а дальше? Не знаю.

У меня немало в прошлом рассказов, в которых события, люди, характеры, взаимоотношения навиваются вокруг движения. Едет ли герой на велосипеде, или на «Дьяволе», идут ли пешком, плывут ли на барже или на лодке, по мере движения разыгрываются события («В пути», «Дьявол», «По родным степям» и др.). Для меня легче такое построение. Ладно. А тема? А содержание? А события?

Я стал жадно расспрашивать товарищей, приезжавших с фронтов гражданской войны, жадно записывал. Я услышал удивительные эпизоды. Передо мной развернулись удивительные картины потрясающего героизма, потрясающего напора, а я все ждал чего-то, чего-то другого и... дождался.

В Москве у меня был знакомый украинец, Сокирко, коммунист. Однажды, когда я у него сидел, к нему пришли трое. Один — веселый,

белокурый и пел, должно быть, мягким голосом чудесные украинские песни. Другой — спокойный, все курил. Третий — как с отлитым из темной меди, замкнутым лицом.

— Ну, от вам таманьцы и расскажуть про свой поход по Черноморью, тильки пишите, — сказал Сокирко.

Сокирчиха заварила нам чаю, целую ночь просидели, и я слушал, слушал, пока под утро Сокирчиха нас не выгнала:

— Та спаты вже треба! Цилую ничь балакають, а у мени голова нэ держиться на шее. Геть, хлопцы, до дому!

И я шел по сугробам, живот голодно подтянуло, а голова была радостно переполнена: мне рассказали о походе Таманской армии как раз по тем местам, по Черноморью.

Таким образом, Октябрьская революция наполнила кипучим содержанием столько лет мучивший меня могучий горный пейзаж, для которого я так долго не находил достойного сюжетного наполнения.

Меня словно осенило: «Да ты пусти на эти горные кряжи поднявшееся революционное крестьянство. Они же, эти бедняки-крестьяне, действительно тут шли, тут клали головы...» Сама жизнь подсказала мне: «Лепи этот «Железный поток» — недаром тебя там носило, по этим самым местам. И крестьян этих ты хорошо знаешь...»

Я вообще смутно носил в себе вырисовывавшуюся для меня тему об участии крестьянства в революции.

Мы знаем из истории, что крестьянство много-

кратно участвовало в революционных выступлениях, часто недостаточно организованно, анархической массой (разиновщина, пугачевщина, позднейшие бунты крестьян в разных губерниях). Но такие выступления не могли привести к утверждению революции. Социалистическая революция смогла окончательно победить, лишь когда во главе ее стал пролетариат. Бунт потрясал строй, но не сменял его другим. Революция же разрушила до основания старый строй и поставила на его место новый.

Но как же все-таки крестьянство пошло в нашу, Октябрьскую революцию? Одно дело представить это себе теоретически, другое — показать конкретные факты в художественных образах. Эта мысль страшно сверлила меня.

Я думал...

Крестьяне дрались с помещиками за землю. Дрались-то дрались, но что местами на первых порах получалось? Были случаи на Украине: прогнали крестьяне помещиков, скот поразобрали, потом несколько волостей объединили и порешили: «Ну вот, это наше собственное государство, мы будем жить, никого касаться не будем, но и нас не касайтесь — ни большевики, ни меньшевики, ни красные, ни белые». Таких «самостоятельных государств» было несколько. Я и думаю: «Ну, хорошо, а как же все-таки революция создала изумительную армию из тех же крестьян, которые не хотели знать ни красных, ни белых, — армию, которой крепко руководил пролетариат?»

Конечно, главной движущей и организующей силой революции является пролетариат, однако Октябрьскую революцию он совершил не один — он сумел толкнуть на борьбу громаднейшую массу крестьянства.

Если бы рабочий класс в революционной борьбе оказался один, он был бы разбит, как это мы видели в предыдущих революциях. В Октябрьской революции крестьянство помогло пролетариату, и поэтому Октябрьская революция победила.

Дореволюционное крестьянство по самому складу своему — класс совсем иной, чем рабочий класс. Рабочий выкован производством, он всей своей жизнью, так сказать, подготовлялся к революционной борьбе, у него нет никакой собственности.

Крестьянин же, которого я должен был показать в «Железном потоке», являлся собственником: у него и коровка, и лошадка, и землица, и изба. Крестьянин этот являлся хозяйчиком, пусть маленьким и захудалым, но хозяйчиком, — и это коренным образом его отличало от рабочего и ставило его в совершенно иное положение по отношению к нашей революции. Ему, правда, тяжко жилось, но он думал примерно так: «Хорошо бы спихнуть помещика и взять себе его землю; хорошо бы у помещика забрать инвентарь, пару коров, пару лошадей да плуг, и больше ничего не нужно — буду жить, богатеть, приумножать». Вот какой был строй мысли у этого мелкого собственника. И когда грянула революция, часть крестьянства во многих местах поднялась во имя того, чтобы поскорее спихнуть помещика и загрести себе его добро, а о дальнейшем развитии революции оно в подавляющем большинстве мало думало и не представляло себе, что и как придется идти дальше.

Как же все-таки крестьянство при таком складе мыслей двинулось в революционную борьбу, в конце концов сорганизовалось в колоссаль-

нейшую и удивительную Красную Армию, которая доставила победу пролетарской революции?

Объективный ход истории заставлял крестьян идти в революцию плечо в плечо с пролетариатом. И только при этом условии крестьянство смогло окончательно свалить помещиков. Я искал для «Железного потока» материал, который дал бы мне возможность показать крестьянство во всех его проявлениях. Меня занимало, как бы это все изобразить художественно, и я искал материал, который с наибольшей яркостью характеризовал бы революционную силу крестьянской массы и показал бы, как пролетариат направляет эту силу по своему пути.

Материала на тему о гражданской войне у меня накопилось много. Мне рассказывали товарищи, приезжавшие из Сибири, поразительные картины, среди них более яркие и более трагические, чем те, которые описаны в «Железном потоке». Однако, продумав их, я все-таки не мог остановиться на этом материале, и вот почему. Ведь требовалось нарисовать полотно, которое дает обобщение, в отдельных картинах выразить что-то общее, пронизывающее все одной идеей, которая осмысливает эти отдельные картины.

Когда трое таманцев рассказали мне о своем походе, я почувствовал, что это как раз и есть нужный мне материал. И я, не колеблясь и долго не раздумывая, остановился на отступлении громадных масс бедноты из Кубани, где поднялись против Октябрьской революции зажиточные кулацкие слои. Крестьянская и казачья беднота и разбитые части советской армии двинулись из Кубани на юг, на соединение с советскими войсками Северного Кавказа. Крестьянской массе пришлось поневоле отступать: зажиточные казаки

стали резать бедноту, сочувствовавшую Советам. Но уходила эта бедняцкая масса крайне беспорядочно. Она была путаной и неорганизованной, не хотела подчиняться командирам, которых сама же выбрала.

В походе столько страданий и мучений перенесли отступающие, таким страшным для них университетом был поход, что к концу его они совершенно преобразились: голые, босые и измученные, голодные, они сорганизовались в страшную силу, которая смела все преграды на своем пути и дошла до конца. И когда она прошла через эти страдания, через эту кровь, отчаяние, слезы, у нее раскрылись глаза; тут она почувствовала: да, единственное спасение — советская власть. Это не было еще сознательное понимание, как у пролетариата: крестьянская масса действовала во многих случаях инстинктивно.

Я уцепился за рассказ таманцев о своем походе, так как, на мой взгляд, этот поход всесторонне отображал именно такое преображение крестьянства. По рассказу таманцев так и выходило: вначале это была анархическая масса, мелкобуржуазные хозяйчики, — потом ценой напряжения, страшной борьбы, слез, крови она перерабатывалась, революционно преображалась, и под конец похода это была уже та революционная масса, то революционное крестьянство, которое помогло рабочему классу.

Как раз то, что мне нужно было для «Железного потока».

Передо мною все явственнее, все осязательнее разворачивалась тема. Однако рассказов таманцев мне было мало; хотелось узнать как можно больше подробностей; хотелось возможно более объективного изложения. Я стал искать встреч с

другими участниками похода и вскоре отыскал еще одного из участников похода — рабочего, который шел рядовым бойцом. Он мне тоже много интересного рассказал.

Но когда слушаешь, всегда учитываешь, что рассказывающий о своей жизни неизбежно все освещает со своей особой точки зрения. Я разыскал поэтому еще других товарищей, которые участвовали в походе, и учинил им, так сказать, перекрестный допрос. Послушаю, что один расскажет, а потом переспрошу о том же другого, третьего, десятого. Затем мне удалось еще добыть дневник, — один рабочий вел записи во время этого похода, — и вот таким образом, сличая показания разных участников похода, я создал в своем воображении картину этого движения.

Надо заметить, что таманская масса дошла не только до пункта, где я их оставил в «Железном потоке», они двинулись и дальше, до Астрахани, но я прекратил повествование раньше. Почему? Да потому, что задача моя была окончена. Я взял анархическую массу, не подчинявшуюся, каждую минуту готовую посадить на штыки своих вожаков. И через страдания, через муки провел их до конца, до тех пор, пока они не почувствовали себя организованной силой Октябрьской революции. Для меня этого было достаточно. Моя задача выполнена.

Почему материал именно этого похода мне так приглянулся? Я хорошо знаю Кубань: она граничит с Донской областью, моей родиной. У них очень много общего: и в населении, и в природе, и в социальном укладе. У нас, на Дону, половина населения — украинцы. Правда, говорят они не на чистом украинском языке, как в Полтаве, а на жаргоне. На том же жаргоне в значительной сте-

пени говорит и Кубань. На Кубани я живал. Черноморье еще до войны избороздил на мотоцикле, хорошо знал и природу и людей. Поэтому, когда мне надо было дать характеристику, дать типичных представителей этого населения, вроде бабы Горпины и ее деда, мне это было не так трудно. Впрочем, я еще раз поехал к описываемым местам во время самой работы, чтобы восстановить в памяти обстановку края, пейзаж, людей.

Из каких же элементов сложился материал? Рассказы таманцев были положены мною в основу. Это был первый материал, — материал со слов. Затем я использовал еще материал записей, дневники и письма участников похода. Третий источник материала — печать, — правда, здесь я нашел немного.

Вот три источника получения материала.

Как же я работал над ним?

Начал я писать «Железный поток» в 1921 году, а в 1924 году он вышел из печати. Я, следовательно, писал его два с половиной года. Писал разбросанно, кусками. Не так, чтоб с начала, с первой главы начал — и до конца по порядку. Нет. Помню, прежде всего написал хвост, последнюю сцену митинга. Меня мучил этот конец — митинг. Стояла передо мной эта баба Горпина такой, какой она выросла. В заключительной сцене для меня сконцентрировался весь смысл вещи. Она, эта сцена, необыкновенно ярко горела у меня в мозгу.

Я ощущал конец, этот митинг в степи, когда таманская армия встретилась с Красной Армией, как заключительный аккорд, как разрешение всей темы. Я много раз его переделывал, так как здесь — я мыслил — сосредоточен главный пси-

хологический удар по читателю. Я считал, что если эта последняя часть произведет на читателя нужное мне впечатление, задача, поставленная при написании «Железного потока», с моей точки зрения, будет разрешена.

Сцену митинга я написал сразу, а потом почувствовал, что то тут, то там нет сосредоточенного удара, сжатости, ясного и сильного проявления отдельных героев, проявлений, которые характеризовали бы их внутренний строй, их внутреннюю переделку, как, например, у бабы Горпины. Мне пришлось очень много работать над каждым персонажем, например, над той же бабой Горпиной, стариком ее, а также и другими. Каждый отдельный момент заключительной картины я переворачивал так и сяк, подыскивал фразы и слова, при помощи которых получилась бы сжатая и в то же время сильная картина.

Нужно было как-то гармонично связать обстановку, пейзаж со сценой митинга. Над этим пришлось усиленно работать. Хотелось сделать так, чтобы пейзаж не стоял особняком от развертывающихся событий, а органически сливался с настроениями, с внутренним состоянием пришедшей армии, гармонировал бы с ними и помогал раскрывать замысел автора.

Вслед за концом я написал начало, которое также подверглось усиленной обработке. Начало и конец органически связаны. В первой главе начинается процесс, в последней этот процесс заканчивается психологическим напором на читателя. В конце и начале заключалась вся сущность вещи. И начало и конец, чтоб они получились согласованные, пришлось много раз переделывать, так как нужно было дать общую гармоничную картину настроения масс и отдельных лиц, а

также пейзаж, укладывающийся в рамки событий. Прежде чем я этого достиг, пришлось много и упорно поработать над каждым кусочком в отдельности.

Когда конец и начало были уже готовы, нужно было их соединить. Конец и начало ярко стояли в голове и легче мне дались, а середина далась гораздо труднее. Пришлось все время обдумывать, как создать самую ткань повествования. Середину я писал кусками: то одну сцену напишу, то другую, по мере того как они складывались в сознании. Несмотря на то, что в голове вся тема держалась полностью, почему-то не все сцены вставали с одинаковой яркостью: они не шли гуськом, вслед, в порядке друг за дружкой. Куски я потом постепенно склеивал и переклеивал, а когда склеил окончательно, то заново переписал весь роман сплошь. Переписал, потом по частям стал перерабатывать; возьмешь один кусок, переработаешь и вставишь. Мне все казалось — недостаточно четко, недостаточно выпукло. В голове все вырисовывалось, как мне казалось, чрезвычайно ярко, отчетливо: лица, движения, горы, море, а, глядишь, на бумаге выходит не то. Писал и перерабатывал произведение с напряженным трудом.

Мне хотелось дать повествование, возможно более близкое к живой действительности; поэтому я старался целиком брать материал из рассказов, из записей. Однако я предпочитал брать материал, дающий известное обобщение. В этих целях приходилось вносить элементы выдумки. Часто я принужден был жертвовать некоторыми рельефными чертами, характеризующими быт, отношения с близкими и т. д. Образ благодаря этому отходил от живой модели.

Это я делал умышленно, чтобы сосредоточить впечатление на определенной стороне характера героя. Я предпочитал отчетливо выявить одну наиболее важную сторону характера, а если бы я обрисовал героя со всех сторон, то эта наиболее характеризующая сторона его значительно ослабела бы. Например, баба Горпина: в ней я сосредоточил основную идею перерождения под влиянием революции крестьянской бедняцкой массы. Это — тип собирательный, сделанный на материале, который у меня был раньше. Для подлинного похода он выдуман и нарочито вплетен в ткань произведения, так как мне нужно было дать крестьянина и крестьянку, сначала индивидуалистов, собственников и потом показать их перерождение к концу похода. Именно эта черта Горпины была для меня самой важной. Ее я и выпятил.

Я ставил себе задачей — дать реальную правду, но правду, конечно, не фотографическую, а правду синтетическую, обобщенную. А раз так, то смазывать происходившее никак нельзя было, нельзя было разукрашивать людей: есть жестокость — жестокость, можно сказать, звериная, но эта жестокость — я старался это убедительно показать — оправдывается необходимостью, всей обстановкой, всем течением событий. Пусть звериное, но пусть таманцы будут такие, какие они были в жизни. Конечно, они вовсе не звери, но когда их поставили в положение, при котором они должны рвать клыками направо и налево — иначе им пропадать, — тогда и звериные инстинкты вырвутся.

Я, как художественный летописец, просто не считал себя вправе смягчать, вуалировать, прикрашивать.

Вывожу я, впрочем, за костром паренька мягонького, рыхлого. На него все и окрысились: идет смертельная классовая борьба, так третий не суй нос в дверь, а то оттяпаем. Эта сцена дает понять, что не потому таманцы жестоки, что они звери, а потому, что находятся в таком положении, а не в ином.

Надо учитывать, что я пытался в «Железном потоке» очертить синтез борьбы жесточайшей, борьбы небывалой, не на жизнь, а на смерть. Мать любит ребенка, а его шрапнель кладет на месте... Любовь тут глубоко схоронилась, но она неистребимо живет в человеке. Матери, например, бьют своих детей, чтоб они шли дальше, но ведь понятно — бьют из любви к детям. Потом, например, когда колонны проходят мимо пятерых повешенных, измученные люди сразу преображаются. В чем дело? Повешены их братья! Разве это не любовь? Любовь! Но я пуще всего боялся малейших оттенков сентиментальности. Эти пятеро повешенных так точно в действительности висели. Мне рассказывали, что командование нарочно повело таманцев мимо виселиц, чтобы они видели, что́ белогвардейцы делают с их братьями. И они ломились потом на врага стеной. Это и есть любовь: не толстовская, конечно, беспомощная, непротивленческая, а такая, какою она только и могла быть в революцию: любовь — не жаление, а любовь — подвиг, любовь — самоотверженность, любовь, зовущая идти бить своих классовых врагов.

Вообще же в «Железном потоке» у меня выдумки мало. События в большинстве случаев представлены так, как были. Отдельные эпизоды нарисованы с очень незначительными изменениями. Например, история с граммофоном. Она придумана для того, чтобы усилить впечатление. Пе-

ред перевалом через горы народ шел словно одержимый; страшно было смотреть. Я долго подыскивал такую художественную форму, которая бы наиболее полно выражала состояние умопомраченной массы. Написать просто: «Они были возбуждены, с блестящими глазами» и проч. мне не хотелось: уж очень это шаблонно и поэтому мало действует на читателя. Тут-то я и придумал историю с граммофоном. В отряде действительно имелся граммофон, и он в течение всего времени действовал. Но не было того потрясающего момента смеха, о котором я написал. Я это выдумал для того, чтобы нарисовать наиболее ярко и напряженно состояние обезумевших людей.

Еще о подлинных фактах и о выдумке. Возьмем сцену митинга — концовку произведения. Конечно, никакая баба Горпина не говорила именно так. Здесь опять-таки понадобилось подыскать такую форму резкого, ударного, впечатляющего рисунка, которая сделала бы ясным резкий перелом в психологии собственника-индивидуалиста, ставшего к концу похода сознательным борцом за новую жизнь.

Я настолько близко держался подлинности событий, что есть в «Железном потоке» места, которым читатель не всегда верит. Например, мордобой между казаками и солдатами. У тех и других есть оружие, а они не пускают его в ход: кинулись в кулаки. Я считал нужным изобразить сцену именно так, потому что между казаками и иногородними существовали очень сложные взаимоотношения. С одной стороны, это — враги. Вражда их выросла из того, что одни владели землей, другие же ее не имели. А с другой стороны, эти враги — соседи. Часто они — близкая родня, женятся друг на друге, учатся в одной школе,

ребятишками играют вместе, — у них самая кровная связь. Поэтому не удивительно, что и методы борьбы у них колеблются: то они расстреливают друг друга, то бьют друг другу морду. Эта сложность их прежних отношений и отражена в книге.

Отбор фактического материала я подчинял основной идее, основной линии, основной мысли, вокруг которых навивался весь художественный материал, — это реорганизация сознания массы. Материал, даже хороший, даже яркий, но не продвигавший каждый раз основную линию, основную мысль вперед, я отбрасывал. Требовалось быть очень экономным. Если бы я брал материал, исходя лишь из оценки его яркости, то основная мысль, основная идея потускнели бы, заслонились бы обилием материала. Несмотря на строгий отбор его, у меня в середине произведения есть все-таки некоторые длинноты, я не сумел их избежать.

Как композиционно я строил «Железный поток»? Как приводил в столкновение героев? Я стремился органически связать начало и конец, дать ряд событий, ряд действий, которые нарастали бы в ходе повествования и которые должны были последовательно-фабульно вести от начала к концу. По этому принципу и построена вся вещь.

Героев я приводил в столкновение постольку, поскольку в их психологии и в их настроениях, в их целях внутренне рождалась и зрела необходимость этих столкновений. Возьмем, например, Смолокурова. Этот герой «Железного потока» — славный парень, революционно настроенный, отличный митинговый оратор, но он расплывчатый человек, полная противоположность Кожуху.

Смолокуров не всегда знает, чего хочет. Идет иногда на поводу у других. Его столкновение с Кожухом построено на его внутренней неорганизованности. Между этими совершенно разными героями не может не родиться конфликт, — и это должен ясно уразуметь читатель. Точно так же и с Кожухом. Например, его столкновения с матросами. Эти столкновения, с одной стороны, рисуют внутреннюю структуру, психологию матросов, а с другой стороны — психологию Кожуха. Крепкий, твердый, не останавливающийся перед препятствиями, он уверенно ведет свою линию и этим влияет и на матросов.

...Сознательно ли я избрал формой «Железного потока» эпопею? В основном я себе более или менее отчетливо представлял, как должно пойти развитие действия. По мере работы над произведением форма его, конструкция, делалась для меня все яснее и яснее. Костяк был планово детально разработан заранее. Но, помимо основного материала, у каждого из нас, писателей, как на складе, где-то в подсознании хранятся накопленные опытом слова, фразы, которые в нужный момент вытаскиваешь и начинаешь разрабатывать. Я затрудняюсь сказать, с какого момента, как и почему «Железный поток» четко вырисовывался мне именно как эпопея.

Можно ли героические события нашей жизни укладывать в обычные формы повествования (роман, повесть, рассказ)? Я лично думаю, что не только можно, но и нужно. Это зависит, впрочем, от индивидуальности писателя. Мое произведение, конечно, выиграло бы, если бы я дал более широкое полотно, обрисовав и бытовые черты героев. В сущности говоря, персонажи «Железного потока» мало разработаны. У них оттенены

только ударные стороны. Если бы я дал большое полотно, разработал бы бытовые черты, показал человека со всех сторон, — вышло бы что-то вроде «Войны и мира» советского времени. Но мне, по-видимому, было не под силу справиться с такой широтой художественного охвата, и поэтому я отметал все, что в обстановке похода не служило основной цели яркого освещения коллективных стремлений и общих переживаний массы.

Всесторонне осветить тогдашнего борца за новый мир я не мог еще и потому, что писал по свежим следам событий на маленьком окраинном участке огромного фронта. Теперь, когда я оглядываюсь на гражданскую войну и охватываю ее значение во всей ее необъятной шири, она мне представляется иной, чем тогда. Я описывал отдельный поток, смутно лишь представляя себе, в какой бушующий океан вскоре сольются эти октябрьские потоки.

Мне хотелось бы остановиться на значении художественных деталей и на вопросе о том, какую роль они сыграли в произведении. Например, партизаны были одеты в отрепья: я беру эту деталь, и не один раз, а несколько раз. Чтобы хорошенько довести ее до читателя путем противопоставления, делаю ярче основную деталь. Желая оттенить, в каком положении были грузинские солдаты, погибавшие от холода, я описываю параллельно одежду грузинских офицеров, которая была совсем иной. Я стремлюсь выпуклить эти детали, чтобы они не только изображали факты, но и помогали раскрывать внутренний строй человека, взаимные отношения людей. Взять хотя бы тот факт, что грузинские офицеры были

накормлены, а солдаты голодны. Эти детали должны были характеризовать в известной мере и классовые отношения в тогдашней Грузии.

В «Железном потоке» есть одна частность. После боя с грузинами некоторые командиры таманской колонны внешне преобразились. Они оделись, воспользовавшись военной добычей. Думаю, что это следовало изобразить. Люди были раздеты и разуты, и такие детали больше характеризуют положение, чем отдельных людей.

Таким образом я пытался подчинить детали общей идее произведения и сделать так, чтобы не просто, произвольно приклеивать детали, а в меру возможности связывать их с внутренним состоянием людей, делать их дополнительным штрихом в характеристике создавшегося положения и умонастроения.

Мне хотелось еще дать какой-то юмор, свойственный данной массе украинцев, которые в самых тяжких условиях умеют находить в жизни юмористические моменты. Для этого я ввел эпизод с переодеванием в дамские панталоны. Это — тоже деталь, характеризующая массу. Тут не грабители, — ведь они сумели взять эти принадлежности туалета весело, со смешком. Я считал нужным ввести этот эпизод, несмотря на то, что по конструкции романа достаточно освещены теневые стороны массы.

К концу 1923 года я закончил «Железный поток». Отнес в одно издательство; поглядели: «Да, знаете, большая вещь... да нет, не возьмем, еще провалишься с ней». Так и не взяли. Тогда я отнес рукопись в альманах «Недра». Там ухватились. С того времени «Железный поток» понемножечку и пошел...

После выхода «Железного потока» мне не раз

приходилось встречаться с некоторыми участниками похода. Они рассказывали мне интересные вещи: большая часть партизан погибла в боях, а некоторые возвратились на Кубань и стали там хозяйствовать. Привезли туда несколько экземпляров «Железного потока». Участники похода прочитали и говорят: «А товарищ Серафимович в какой части у нас был?» Значит, правдиво написано...

Вскоре после появления его в печати покойный академик Лебедев-Полянский в «Красной нови» дал хороший, толковый отзыв. В общем, советская критика отнеслась к роману весьма положительно. Не могу не отметить глубокий и умный анализ «Железного потока», данный покойным писателем Д. Фурмановым. Некоторые критики, однако, указывали, что недостаточно даны пейзаж, природа. Другие, наоборот, говорили, что природа занимает слишком много места. Я же думаю, что природа дана в меру. Больше не следовало давать, потому что иначе это разжижало бы события, и меньше тоже нет.

Как встретила рабочая масса «Железный поток»?

В подавляющем большинстве случаев это произведение принималось рабочими хорошо. Я на собраниях в этом убедился, получая многочисленные записки и письма. Записки я собирал (для характеристики аудитории) в Москве, Ленинграде, Горьком, Туле, Сталинграде, Ворошиловграде (Донбасс), Свердловске, в Архангельске, Вологде и во многих других городах. Большинству нравится, увлекаются даже. Один рабочий писал: «Прочитал — и знаете, так кулаки и сжались. Черт их дери, белую свору! Буду их бить направо и налево».

Те, кто пережил гражданскую войну, высказы-

вались, что очень правдиво. Говорили: «Я был на гражданской войне, как раз оно — то самое».

Доступен «Железный поток» по форме, по рисунку, по языку.

Но были и другого характера отзывы, хотя в очень незначительном количестве. Так, например, в Ленинграде я выступал несколько раз на Кировском заводе. Там, кстати сказать, очень хорошо были организованы отзывы рабочих. Отзывы давались не экспромтом, не в момент чтения. Объявили культработники за месяц до моего приезда: «Вот-де, товарищи, берите книги Серафимовича, подготовьтесь хорошенько и, когда прочитаете, давайте отзывы». И вот писала работница двадцати пяти лет: «Скучная вещь, как-то мало понятно». Еще было в Ленинграде таких отзывов два-три. В Горьком тоже среди положительных отзывов мелькали и отрицательные. Выступает, например, рабочий, — длинный у него в руках манускрипт такой, — и говорит: такие вот и такие неправильности, несвязности. Заведующий библиотекой рабочего клуба тоже привел несколько отрицательных отзывов рабочих. Некоторые писали мне: «Скучно», некоторые: «Непонятно».

В целом, однако, «Железный поток», по-видимому, хорошо оценивается рабочим читателем. Один молодой рабочий в Ленинграде рассказывал так: «Знаете, мне все говорят: «Прочти да прочти «Железный поток». Ну, лезли ко мне... Как-то товарищ принес однажды книжку. Я не хотел ее читать, но потом начал. Так знаете, всю ночь не мог оторваться. Надо утром на работу идти, пришлось прервать. Потом, как кончил работу, выскочил из завода, полетел, опять засел читать, пока не кончил». Это рассказывал молодой комсомолец. Старики тоже хорошо отзывались.

Приезжавшие из разных стран товарищи рассказывали мне, что зарубежные рабочие читают «Железный поток» с интересом и говорят, что написано хорошо и что они почувствовали, как шла Октябрьская революция в Союзе Советских Социалистических Республик; газетные статьи не давали им такой живой картины нашей борьбы. В «Железном потоке» они почувствовали колоссальнейшую стихийную силу крестьянства, которую организует и направляет по своему пути пролетариат.

Очень любопытны также отзывы буржуазных газет.

Буржуазные читатели в первые годы появления «Железного потока» за рубежом страшно изумлялись: вот, мол, чудеса! Совершенно для них неожиданно оказывается — художники-коммунисты умеют художественно писать. Они, по-видимому, воображали, что мы ходим в лаптях, едим сальные свечи и т. д. — так в начале 20-х годов буржуазия писала о нашей культуре. В общем, книга имела явный успех и за границей.

Мне и в письмах и в записках во время моих выступлений на заводах, в воинских частях и пр. задавали много вопросов о «главном герое» моего произведения — Кожухе. Как я его лепил, что он собой выражает, какие идеи я воплотил в его образе.

Один из товарищей спрашивал, является ли Кожух главным героем, или, может быть, «Железный поток» — роман безгеройный, может быть, в нем нет главного героя?

На это я отвечал. Кожух — герой и не герой. Он не герой потому, что если бы его не сделала масса своим вожаком, если бы она не влила в него

свое содержание, то Кожух был бы самым обыкновенным человеком. Но в то же время он и герой, герой потому, что масса не только влила в него свое содержание, но и шла за ним и подчинялась ему, как командующему. Вспомним, например, каким обтрепанным и рваным он всегда ходил, ничего не позволяя себе взять, в то время как его командиры прекрасно оделись. Он постоянно чувствовал на себе взоры массы. Отнимите от него массу, и пропадет весь его ореол.

В другой записке меня спрашивали:

— Почему мало выявлена личность Кожуха?

До известной степени я, может быть, это сделал инстинктивно, а в некоторой мере и с расчетом: я не хотел дать штампованного, избитого героя, на коне ведущего вперед эти самые массы, а я хотел его дать простым, но деловым, умным и строгим командиром, сросшимся с массой.

А вот еще записка:

— Почему Кожуху придается такое большое значение?

Нет, где уж там... Если бы я придавал слишком большое значение Кожуху, так я бы сделал большую художественную ошибку. Это — неправда. По-моему, большого значения Кожуху в романе не придается, — наоборот, я именно и пытался показать, что в Кожуха вливает свое содержание масса, что без нее он самая заурядная фигура.

Один ленинградский товарищ спрашивал:

— Почему вожаком взят *офицер* Кожух? Как будто нельзя было взять героем кого-нибудь из крестьян?

Конечно, можно было бы, и такие примеры в жизни бывали. Простые солдаты, крестьяне во время гражданской войны в Сибири и в других местах чудеса делали. Но я все-таки остановился

именно на Кожухе, на офицере, потому, что мне показалась его роль очень характерной. Именно это самое офицерство, вернее, производство в офицеры выковало из Кожуха жесточайшего врага помещиков и их представителей — офицеров. Это было настолько характерно, что я остановился именно на этой интересной фигуре офицера из народной толщи.

Другой товарищ писал мне:

— А в «Железном потоке» вот какое противоречие: Кожух, мол, показан вами человеком, который не гоняется за славой; он, дескать, и собой жертвует, и как будто интересуется он не тем, чтобы его похвалили и чтобы славу себе создать, а чтобы освободить массу, — он действительно борется за идею. А тут же в «Железном потоке» есть рядом страницы, в которых говорится, что Кожух боялся, что его слава может померкнуть.

Нет, по-моему, противоречия тут нет никакого, ибо ведь людей нельзя представлять себе выкрашенными одной краской. Вы возьмите честнейшего, благороднейшего революционера, который отдает всю жизнь за революцию. Если вы мне скажете, что у него в душе нет ни зерна честолюбия и т. д., то я скажу вам, что это не верно. Есть это зерно, оно живет в каждом человеке! Весь вопрос только в размерах. У Кожуха на протяжении романа честолюбие постепенно сошло на нет, а готовность отдать себя революционной борьбе выросла в огромной степени. А бывает наоборот: честолюбие разрастается, а желание отдать себя понемногу суживается. Людей надо брать такими, какие они есть, со всеми их внутренними противоречиями. Тогда это будет правда и правда поучительная, особенно в художественном произведении.

Указывали мне еще и на другое противоречие: Кожух, мол, хотел пороть солдат, а своих офицеров он не тронул... Опять-таки противоречия тут нет, и я повторяю еще раз: плох тот художник, который рисует людей, как на лубочных картинках дореволюционного времени: солдаты все одинаково ноги поднимают, по ногам мазнули синей краской, по груди — красной, по лицу провели желтой краской — и все. Нельзя так — это не художественно.

Человек сложен и противоречив. Кожух хотел пороть солдат, а на своих помощников у него рука не поднималась: начни их драть, а они, может быть, и сковырнут его. Здесь он боится не только за свою шкуру, но и за все дело. Я вовсе не хотел изобразить Кожуха идеальным человеком. Таких людей нет на свете.

Две записки относительно матросов, показанных в «Железном потоке»:

— Почему матросы выведены контрреволюционерами?

— Матросы выведены как бандиты, — это неправильно.

На это необходимо ответить.

Из песни слова не выкинешь, а я, работая над «Железным потоком», больше всего боялся неправды, лакировки. Все мы отлично знаем, что в царской армии и флоте матросы были революционным элементом. Во время Октября они бесстрашно шли в революционную борьбу и погибали массами, а тут вдруг, — пишут мне, — «такая музыка». Но, видно, революция не идет по ровной дорожке, в революции масса всяких отклонений, внутренних противоречий. Это сказалось, в частности, и на матросах. Они отдались революции и клали головы без колебаний. Но вот когда в

Новороссийске матросы топили флот, который по Брестскому миру надо было передать немцам, они, по общему согласию, вынули из корабельных касс деньги, которых много было на каждом корабле, и поделили поровну между собою. Потом они закрутились, стали пить, гулять с девчатами; деньги у них сыпались, как из мешка, они как будто старались от них скорее отделаться. Это даром не прошло: матросы стали разлагаться, и, когда началось контрреволюционное восстание казаков и громадная масса беженцев стала уходить, матросы почуяли, что их всех до одного перережут кулаки. Часть матросов осталась в Новороссийске, и офицеры их живыми закапывали в землю; другая часть матросов влилась в таманскую колонну и стала разлагать ее, и это разложение, как смерть, все время ослабляло таманцев.

Эти матросы не были злонамеренными контрреволюционерами, но не было у них достаточного сознания, что Кожух поступает правильно, устанавливая железную дисциплину. Матросы стали бузить, разводить демагогию: Кожух, дескать, был офицером и пр. И матросы даже хотели убить Кожуха. И только под конец, когда они увидели, что были неправы, они всенародно покаялись.

Всегда надо иметь в виду, так сказать, «издержки революции». Ведь, бывало, и старые партийцы разлагались. И тут тоже целая прослойка действительно революционных матросов разложилась. У меня ведь дается обоснование: у них была масса денег, а главное, их портила безделье. Не было у них приложения сил, по крайней мере, в таком деле, в котором они оказались бы на месте. Вот когда раньше раздавался клич: «Дави, руби!», «На митинг!» — это их запол-

няло. Потом все схлынуло. Некуда было энергию девать.

Конечно, этого никак не скажешь про матросов Кронштадта: среди них выступали настоящие старые большевики. Мне, впрочем, рассказывали, что часть матросов стала потом в таманской колонне в строй. Вот эту здоровую часть действительно надо было отметить, выделить. Я этого в «Железном потоке» не сделал, и в этом моя ошибка...

Главным образом от представителей малых народностей Кавказа, а также из других мест Советского Союза я получил много писем, в которых читатели высказывают резкое недовольство моей обрисовкой роли грузин: я будто бы нарисовал их «трусами», «плохими вояками». Это, конечно, в корне неверно. Какие бы то ни было оттенки «шовинизма» и «великорусского зазнайства» мне всегда были чужды. Я в данном случае отобразил то, что происходило в действительности, без злого умысла.

Участники похода единодушно свидетельствуют, что казаки дрались упорнее, чем грузины. Грузины, действительно, сравнительно слабо сопротивлялись, но, конечно, не потому, что они «плохие вояки», а главным образом потому, что не знали, *за что,* собственно, дерутся. Кроме того, они хоть и глухо, все же слышали, что в Советской стране крестьяне получили землю. Это до Грузии смутно доходило, и поэтому у грузинских солдат в глубине сознания копошились сомнения: нужно ли воевать против Советов. Они еще были к тому же страшно голодны, подвоза не было. Черноморское побережье всегда питалось подвозом, а море было отрезано. И в то время как грузинские солдаты страшно голодали, хотя и были велико-

лепно экипированы союзниками, офицеры грузинские хорошо ели. Конечно, на боеспособность грузинской армии это оказывало влияние. Вот в чем кроется главная причина того, что они слабо дрались.

А что грузинский офицер улепетывал, то в его положении всякий бы улепетывал. Ведь и генерал Покровский в одной рубашке выскочил, высадив раму. У них положение такое создалось: или беги, или ложись сейчас под штыки.

Я не в том смысле хотел дать эту сцену, как она была истолкована некоторыми критиками и читателями. Я стремился показать, что грузины были ошеломлены неожиданностью нападения. Их загипнотизировало зрелище свалившихся на голову таманцев. Они считали свою позицию неприступной. В сущности говоря, шаг Кожуха был в известной мере авантюристичен. На него можно было решиться только с отчаяния. Не полезь таманцы, их бы всех перебили. Им некуда было деваться. А был ничтожный шанс ночью одним ударом сшибить врага, — и таманцы этого достигли.

Но я, видимо, недостаточно развил темпы движения и недостаточно нарисовал обстановку. Так ясно представлялось в голове, а до некоторых читателей не доходит или доходит не в том разрезе и не в том строе. У меня ведь указано, что, когда грузины стали отступать, около собора осталась их рота, которая героически умирала. Но тут получилась какая-то несоразмеренность, и потому некоторым читателям кажется, что грузины плохо сражались.

Мне еще много говорили насчет «крепких слов». Каюсь, я грешен. Помню, как в дореволюционное время в журнале «Русское богатство» один талантливый писатель дал рассказ из каза-

чьей жизни на Дону: казак ушел на службу, казачка, его жена, молодая, красивая, полюбила другого. Известно, чем это кончается: она забеременела и сделала аборт самыми ужасными средствами. Для того времени это было очень характерно. Однако «благородные» читатели и особенно читательницы «Русского богатства» возмутились. В редакцию посыпалась масса протестующих писем и даже отказов от подписки. Письма были примерно в таком роде: «У меня дочь восемнадцати лет, из журнала она может узнать, что на свете существует аборт и т. п.».

Ну, как вы думаете, эти читатели были правы? По-моему, они были неправы. Конечно, только восемнадцатилетние институтки не знали ничего об аборте, казачки же росли в других условиях. Что же, прикажете «по-благородному» жизнь давать или так, как она есть?

Нет! Жизни бояться нечего, и нечего бояться самых мерзких ее сторон. Надо поставить только одно условие: если писатель пускает «крепкое слово» или описывает какую-нибудь фривольную сцену только для того, чтобы нервы читательские пощекотать, то на это он не имеет никакого права. В этом случае читатель вправе бросить писателю самый горький упрек... Но если то или иное крепкое слово неразрывно связано со всей тканью художественного произведения, если оно подчеркивает ту или иную черту в изображаемых людях, тогда прав писатель.

От писателя надо требовать, чтобы он прежде всего был правдив, чтобы он не боялся жизни, а брал все, что в ней есть, но брал это не для того, чтобы пощекотать нервы или доставить нам минутное удовольствие, а для того, чтобы читатель самую жизнь прощупал, все ее язвы и гнойники.

Спрашивали меня во многих письмах и во время моих выступлений в разных городах, почему я ввел украинский язык? Некоторые говорят, что это делает «Железный поток» непонятным, неудобочитаемым.

Не так уж, по-моему, это непонятно. Я не ввожу чистого украинского языка, я даю тот говор, который держится в Донской области и на Кубани. Это очень своеобразный украинский язык, и я думаю, что он передает характер местности и, в общем, усиливает правдивость изображенной картины.

Скажешь по-украински, и как-то сразу чувствуется образ, который хотел показать. Однако мне кажется, что, несмотря на это, картина, показанная в «Железном потоке», является типичной для всего нашего крестьянства в начале Октября. Конечно, Союз наш так велик, что крестьянин Северного Кавказа, Кубани отличается, разумеется, от сибиряка или от крестьянина северодвинского или центральных губерний по говору, по обычаям и т. д., но внутренне — это один и тот же социальный тип.

Невзирая на то, что в «Железном потоке» диалог дается большей частью на украинском жаргоне, очень мало рабочих жаловались, что им непонятно. «Чего и не знаешь, — говорили они, — так догадаешься». Зато квалифицированные читатели из кругов советской интеллигенции говорили, что украинская речь придает роману большую колоритность. Из этих соображений я ее и оставил.

Самым трудным местом в построении «Железного потока» и вообще в моей литературной работе была недостаточная теоретическая подго-

товка. Я, пожалуй, больше других писателей, вышедших из рабочей и крестьянской среды, был подготовлен к литературной работе: и школа меня больше подготовила, и в окружении я был более культурном. Но организованно учиться, как строить литературное произведение, я научился очень поздно. Я ощупью к этому подходил. Я читал, скажем, классиков, как большинство читает. Читаешь и думаешь: «Как хорошо». С захватывающим интересом следишь, как развивается повествование, а как построено произведение, как подобраны, как обрисованы типы, как даются события, это все упускаешь.

Не было у меня систематической литературной учебы. А если и была, то случайная, неорганизованная, стихийная, — это мало приносит пользы. Надо учиться, так сказать, «технологии» литературного процесса, надо подходить к произведению, на котором хочешь учиться, так чтобы видеть, как оно построено, чтобы его блеск не затемнял процесса построения.

Бывает, подходишь к великолепному художественно оформленному зданию, и из-за лепки, из-за скульптуры, из-за внешнего оформления не видишь, как оно построено, как расположены части, как они связаны, какой взят материал. Вот такая точно история вышла у меня с классиками. Я не умел рассматривать и распознавать их построения. Читал, например, Толстого, и у меня ускользала из внимания книга как творческий процесс: я воспринимал у него только события. Скажем, в «Войне и мире» я слышу, как ходит Наташа, как вошла в комнату, как села за инструмент играть. Толстой с такой изумительной яркостью воспроизводит события, что творческий процесс создавания его произведений пропадает.

Наташа — живая, но как ее вылепил Толстой, этого не умеешь, это трудно открыть.

От такого восприятия литературных произведений надо отделаться, если хочешь учиться построению образа. Надо уметь, особенно писателям, за жизнью произведения видеть его структуру. Я постепенно этого наконец отчасти добился, но добился очень поздно. Я учился этой технологии всю жизнь, и, надо сказать, беспорядочно, потому что некому было мне рассказать, растолковать неясное.

Во время работы над «Железным потоком» я теоретически был все-таки уж лучше подготовлен, однако недостаточность литературной учебы я ощущал весьма осязательно и в этот период (и ощущаю и теперь). У меня всегда была груда материала, который я тщательно собирал. Но я не умел использовать весь этот материал, тонул в нем. Произведение получалось не плохое, но лепилось оно очень хаотическими приемами, материал использовался непропорционально. В данном случае в «Железном потоке» мне было страшно трудно совладать с пейзажем, чтобы выходило в меру, чтоб не переступить за грань строгой необходимости. Я боялся завалить пейзажем все повествование. Плацдарм «Железного потока» я изучил превосходно, — и я мог бы написать много страниц с описанием природы в горах. Я и написал немало, но потом безжалостно вычеркивал, чтобы ради «красивости» красок не загромождать. Брал из пейзажа только безусловно необходимое для хода событий, для пояснения и оправдания поведения людей.

Я строго выбирал материал соответственно задуманной вещи. И могу сказать — в «Железном потоке» соблюдены надлежащие пропорции. Пей-

заж взят лишь постольку, поскольку он органически входит в ткань произведения. В рассказах же, например, «На льдине» и в «Снежной пустыне» этого нет. Там навален пейзаж, и он самодовлеет, существует для какой-то собственной цели. Это свидетельствует о неумении использовать нужное, а остальное отставить.

Я, строго говоря, писатель-бытовик. Всегда во главу ставил быт. Проблемы мои возникают и разрешаются через быт. Но в «Железном потоке» я — впервые, может быть, за свою долголетнюю литературную деятельность — сознательно, намеренно игнорировал быт. Здесь я не считал обязательным для себя выявлять бытовые черты героев. Жизнь коллектива требовала других методов обрисовки, не укладывающихся в бытовые рамки.

В «Железном потоке» я рисую коллективный процесс борьбы, который стремился выявить возможно более сильно и экономно. Это — не эпизод из жизни отдельного героя или маленькой группки людей, где требуется показать как можно ярче человека, его положение, его жизненную обстановку, его специфическую работу, показать его и на людях и у него дома, его личные отношения.

Жизнь огромного коллектива в «Железном потоке» я считал необходимым рисовать в «крупном плане» и в убыстренном темпе: ведь в революцию месяц — за год. Мелочи быта затормозили бы и обеднили бы героическое движение и героические цели массы, главное, не дали бы убедительных черт ее облика. Ибо масса, хотя и однородна, но разнолика. Бытовые черты одного человека не могут совпадать с чертами многих других. Тут нужны другие мерила, другие критерии — чисто психологического, можно сказать, идеологического порядка.

Я старался поэтому с наибольшей силой выявить в «Железном потоке» основные мысли, основные идеи, основные задачи массы. И соблюдать огромную экономию — ничего лишнего: не только лишнего человека, но даже лишнего куска пейзажа, лишней фразы, даже лишнего слова, запятой, если они непосредственно не служат для продвижения всего повествования вперед. Это очень сложная работа, которая дается не сразу.

До «Железного потока» я писал в значительной степени стихийно. Меня тянул за собой материал, а не я располагал его. Да это было не только со мной. Леонид Андреев мне как-то рассказывал, что иногда он пишет — получается великолепный кусок. Чувствует писатель, что очень хорошо обрисовано, а потом оказывается, надо выбросить, потому что лишнее. Как это постигается? Это дается только опытом и выучкой, что мы называем писательским «чутьем».

В построении «Железного потока» я действовал не «интуитивно», а более или менее осмысленно анализируя свою работу. Два с лишним года я корпел над произведением в восемь печатных листов, и, сравнивая свои вещи, написанные раньше, и «Железный поток», я много раз убеждался, что в последнем достиг экономии в пользовании материалом и научился строить части целого целесообразно и стройно. Дом как можно построить? По-разному. Можно построить его кособоко или крышу набоку. Так и в художественном произведении: сделаешь здоровую шапку, а остальное скомкаешь, или часть какую выпятишь, удлинишь или сузишь, и в результате части повести и станут несоразмеримы одна с другой. Часто читатель чувствует, что в повести что-то неладно, в чем дело, разобраться не умеет, потому что не

умеет анализировать литературный процесс. Говорит: «Да, что-то не то». Непосредственное впечатление — какое-то разбитое, ощущается неудовлетворенность, потому что повесть построена неправильно. В «Железном потоке» я твердо знал, чего домогаюсь, что и как строю и что должно получиться. Выношен он был хорошо, зрело: обдуман, взвешен и полновесно отработан, местами, можно сказать, вычеканен.

Тех немногих героев «Железного потока», которых мне пришлось выделить из массы и выдвинуть на авансцену, я старался осветить с разных сторон; я их ставил в разные положения, в разные отношения с другими людьми, показал их в разных событиях, в разной обстановке, в столкновениях с разными людьми. И каждую «перемену декорации» делал необходимой произведению для движения его вперед. При этом я учитывал, что надо располагать весь материал по степени важности, чтобы важнейшей части больше места уделить, менее важной — меньше.

У меня при писании «Железного потока» был обдуманный и разработанный «рабочий план». Конечно, в точности по плану у меня все-таки не вышло. План в процессе работы мне пришлось в деталях несколько изменить, однако общие черты, основы плана остались те же. Некоторые, по-моему, хорошо написанные сцены, которые выпирали, я без колебаний выбрасывал, много переделывал. Я шел в данном случае за Толстым: Толстой всегда так делал. Андреев тоже мне рассказывал: «Иногда жалко выбрасывать, до такой степени сцена хорошо вытанцевалась, и люди яркие, — а в целом она не годится, в архитектонике, в плане построения не годится, и надо выбрасывать».

Этому умению я учился и у Чехова. Мне один из товарищей как-то указал: «Посмотри, как пишет Чехов». Ему нужно было дать жизнь в уездном городе. Мы бы с вами написали, что вот-де уездный город, немощеные, пыльные улицы, свиньи разгуливают и проч. Длинная история... А как Чехов пишет? «Из-за острога всходила луна...» А потом начинается рассказ. И перед вами — уездный город. Острог ведь бывает только в уездном городе. В деревне острога не бывает. В Москве, в этой громаде, его не увидишь, — в уездном же городе он выпирает. Или так: есть у Чехова одно место, где ему надо было дать лунную ночь. Так он написал: «От мельницы тянулась уродливая тень, а в венце плотины блестел осколок бутылки...» А мы бы написали: «Взошла луна, она лила голубоватый свет...» и т. д. ...

Чехов владел изумительной способностью в двух-трех словах дать целую картину. В «Железном потоке» я старался идти по его стопам и быть, как он, возможно более сжатым и точным.

Я, однако, внимательно следил, чтобы в погоне за сжатостью не выкинуть существенное. Тут уж подскажет художественное чутье, которое надо в себе выработать. Я выбирал такие черты, которые дают читателю живое представление, не расплывчаты и в то же время страшно экономны. Описывая, например, в «Железном потоке» море, я давал две-три черточки, но наиболее, на мой взгляд, характерные, чтобы читателю сразу запомнились.

И во все время писания «Железного потока» я непрестанно спрашивал себя, достаточно ли сжато я изобразил. Нет, еще недостаточно, казалось мне, — и я вычеркивал и вычеркивал; жалко было выкидывать то, над чем сидел, думал, что родил в

муках. Но ничего не поделаешь. Я был к себе беспощаден.

Я раньше, бывало, частенько заглядывал в хранилища толстовских рукописей, стараясь у старика учиться. Толстой — гениальный из гениальных. А как он работал? Я брал его корректуры и убеждался, что сколько раз ему ни давай корректуру, он все будет править. Жена его, Софья Андреевна, видя, что от бесчисленных корректур у него глаза лезут на лоб, бывало, возьмет да и отошлет корректурные листы в типографию, так как видела, что если ему двадцать раз принести их, он все будет править.

Так ведь Толстой писал легко, у него мысли и слова лились. Он иногда говорил: «Я сегодня за день написал лист». Но нужно сказать, что этому предшествовала громадная внутренне-невидимая работа. Вот Толстой ходит, разговаривает, прислушивается, а сам думает: «Ах, а вот Наташа, когда встретилась с Пьером неудачно, так она закрыла лицо руками». Толстой проснулся ночью, и вдруг ему вспомнилась Наташа, и он опять на разные лады стал перестраивать и ее и окружающих ее людей.

Я лично в корректурах сравнительно мало ломал, уж лишь в случае крайней необходимости — совесть не позволяла бесплодно расточать труд наборщика. Но в своей «лаборатории» я бороздил рукопись неисчислимыми вставками, вписками, вычеркиваниями, заменами, перестановками. Разукрашу так густо, что потом сам не разберу, и переписываю заново, и опять разукрашиваю до отказа.

Л. Андреев, — я видел у него на даче в Финляндии, — ходил по громадной комнате и диктовал машинистке так, что она не успевала за ним

писать. Со стороны могло показаться, что легко пишет человек (я, например, сижу с пером и медленно вывожу букву за буквой). Оказывается, Андреев предварительно проделывал громадную работу. Когда? Пойдет, бывало, гулять — думает. Поедет на велосипеде — думает. У разных авторов разные манеры обдумывать. Одни сидят над бумагой, другие думают во время прогулок. Я обдумывал «Железный поток», сидя с пером в руках часами, ночью и днем, над бумагой. Работа над «Железным потоком» протекала трудно. Порой работал до полного изнеможения: падал на диван от усталости и засыпал. Просыпался — и опять начинал грызть ручку, опять вставлять, переставлять, вычеркивать. Потому что, даже когда мне казалось, что произведение совсем готово, я вдруг наталкивался на какое-нибудь хорошее емкое словечко, или я решал что-нибудь добавить или выкинуть. Таким образом, до появления «Железного потока» в печати текст его сильно видоизменялся, однако не сплошь, а лишь отдельными кусками, которые я переписывал иногда по три, четыре, пять, семь раз.

С течением времени пришлось внести кое-какие поправки в первоначальную редакцию. У меня, например, вначале так и было, как мне рассказали таманцы, что Кожух выдрал партизан, но потом я эту сцену переделал. Дело было так. Пошел я прочитать свою вещь в кружок «Рабочая весна», собрались там рабочие и красноармейцы. Прочитал я им эту главу, вижу — кучка красноармейцев поднимается и уходит. Возмущены: «Как так — драли? Это оскорбительно». Я говорю им: «Милые товарищи, не забывайте, что это были партизаны в начале революции; дисциплина тогда только внедрялась, и установить ее было нелегко.

Случалось, что прибегали к строжайшим мерам, но все-таки боролись с грабежами и насилиями...» Однако же в конце концов я согласился с ними. Они были правы: художественно правдивее, вернее, если сцены порки не будет. Ведь что нужно было показать и в чем убедить? Что масса безропотно подчинялась дисциплине. Это — достигнуто. Я был очень благодарен красноармейцам. «Правильно, говорю, ребята. Изменить надо».

Чем же разнится последний текст «Железного потока» от первоначального? С тех пор как книга появилась впервые в печати, я ее в общем мало перерабатывал. Переработаны только отдельные места.

Почти четверть века, год за годом, издается и переиздается «Железный поток» в столичных и областных издательствах. За это время я мало работал над текстом этого произведения. Однако каждый раз, при каждом переиздании, не удержусь: кое-что да изменю, внесу поправку. За долгие годы этих поправок накопилось изрядно, и они несколько изменили первоначальный текст альманаха «Недра». Все же и в настоящее издание я, совместно с редактором этого собрания сочинений Г. Нерадовым, внес кой-какие поправки, которые показались нам необходимыми.

И еще — в заключение...

Меня спрашивали много раз, не нахожу ли я сам недостатков в «Железном потоке»? Да, нахожу. Я думаю, что людей, всю массу я изобразил, — поскольку мне судьбой отпущено, — сравнительно неплохо, местами довольно выпукло. Но все же в повести есть крупный недостаток, которого я бы не сделал, если бы мне пришлось писать «Железный поток» теперь. Дело в том, что я в этой вещи не показал прямо, как пролетариат

руководит крестьянством. У меня там это руководство, так сказать, молчаливо подразумевается, — ведь Кожух не из пальца же высосал то, что он говорил своим войскам о советской власти, о революции. Он откуда-то это взял. Откуда же он мог взять? Не от крестьян же, среди которых он находился. Взял он это от революционного пролетариата. В общем, руководство пролетариата чувствуется, но это нужно было бы гораздо ярче подчеркнуть живыми образами партийцев. Нужно было показать рабочих. Я допустил эту ошибку потому, что рабски следовал за конкретными событиями, а в них рабочие играли небольшую роль. Мне следовало показать рабочих в руководящей роли. Эта ошибка — крупная.

«Железный поток», по-моему, вообще нуждается в доработке, его бы расширить надо, углубить. Но дело в том, что я от него уже отошел, както потускнела для меня тема гражданской войны. Сейчас уж смотришь на другое, занимает другой материал — материал социалистического строительства...

1930

СОДЕРЖАНИЕ

Серафимович А. С.

С32 Железный поток: Роман; Рассказы. — М.: Худож. лит., 1983—492 с. (Классики и современники. Советская литература.)

В книгу включены: одно из наиболее известных произведений А. С. Серафимовича (1863—1949) роман «Железный поток» и рассказы «На льдине», «Месть», «Степные люди», «Бомбы», «У обрыва» и др.

С $\frac{4702010200\text{-}374}{028(01)\text{-}83}$ без объявл. **Р2**

КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ

Советская литература

Александр Серафимович
СЕРАФИМОВИЧ

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК

Роман

●

РАССКАЗЫ

Редактор
И. Парина
Художественный редактор
В. Серебряков
Технический редактор
Л. Вецкувене
Корректоры
Г. Калинина, Е. Павлова

ИБ № 3243

Подписано в печать с готовых диапозитивов 27.12.82. Формат 70×90 1/32. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,09. Усл. кр.-отт. 18,53. Уч.-изд. л. 19,55. Тираж 500 000 экз. Заказ 989. Цена 1 р. 60 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, 107882, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. г. Калинин, пр. Ленина, 5

В 1982 ГОДУ
В СЕРИИ «КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ»
ВЫШЛИ В СВЕТ:

С. Аксаков. Семейная хроника. Детские годы Багрова-внука
Н. Гоголь. Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород
А. Пушкин. Драматические произведения. Проза
М. Салтыков-Щедрин. История одного города. Сказки
А. Толстой. Драматическая трилогия. Стихотворения
Л. Толстой. Анна Каренина
А. Чехов. Пьесы
М. Горький. Мать
В. Кожевников. Полюшко-поле. Повести и рассказы
Л. Сейфуллина. Повести и рассказы
Т. Готье. Капитан Фракасс
Т. Драйзер. Дженни Герхардт
Г. Манн. Верноподданный
Г. де Мопассан. Новеллы
М. Сервантес. Назидательные новеллы
Стендаль. Пармская обитель
У. Шекспир. Отелло. Ромео и Джульетта

«Поэтическая библиотека»

Е. Баратынский. Стихотворения и поэмы
С. Есенин. Стихотворения и поэмы
А. Кольцов. Стихотворения
А. Прокофьев. Стихотворения и поэмы
А. Пушкин. Поэмы

В 1983 ГОДУ
В СЕРИИ «КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ»
ВЫХОДЯТ В СВЕТ:

Н. Гоголь. Повести. Драматичсские произведения
И. Гончаров. Обыкновенная история
Ф. Достоевский. Преступление и наказание
Н. Лесков. Очарованный странник. Повести и рассказы
А. Островский. Пьесы
Л. Толстой. Смерть Ивана Ильича. Рассказы
А. Чехов. Дом с мезонином. Рассказы
М. Горький. Рассказы
А. Платонов. Повести и рассказы
М. Шолохов. Рассказы
Ш. де Костер. Легенда об Уленшпигеле
Г. Уэллс. Машина времени. Война миров. Рассказы
У. Шекспир. Комедии

«Поэтическая библиотека»

А. Блок. Стихотворения и поэмы
И. Крылов. Басни
А. Пушкин. Стихотворения
Слово о полку Игореве
Н. Хикмет. Стихотворения и поэмы

1 р. 60 к.



Советская литература